

**БОРИС
ВАЙЛЬ**

**ОСОБО
ОПАСНЫЙ**



ВАЙЛЬ.Б.Б.
1939

ОСОБО ОПАСНЫЙ

**BORIS
WEIL**

**EXCEPTIONALLY
DANGEROUS CRIMINAL**

With an introduction
by Cornelia I. Gerstenmaier

Overseas Publications Interchange Ltd

БОРИС ВАЙЛЬ ОСОБО ОПАСНЫЙ

**Предисловие
Корнелии И. Герстенмайер**

Overseas Publications Interchange Ltd

Boris Weil: OSOBO OPASNYI

**First published in Russian in 1980
by Overseas Publications Interchange Ltd
40 Elsham Road, London W14 8HB, England**

© Boris Weil, 1980

© Russian edition (1980)

Overseas Publications Interchange Ltd

All rights reserved

**No part of this publication may be reproduced or translated,
in any form or by any means, without permission.**

ISBN 0 903868 23 7

**Printed in Great Britain
by A. Wheaton & Company Limited
Hennock Road, Marsh Barton Trading Estate, Exeter**

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
Глава первая КУРСК	11
Глава вторая ЛЕНИНГРАД	91
Глава третья АРЕСТ	175
Глава четвертая ДРУГАЯ РОССИЯ	219
Глава пятая СВОБОДА	313
Глава шестая ССЫЛКА	351
Глава седьмая СОВХОЗ „ВАСИЛЬЕВСКИЙ”	386

ПРЕДИСЛОВИЕ

Более ста восьмидесяти книг об архипелаге ГУЛag, записок и воспоминаний, часть из которых переведена на тридцать языков, издано было за последние сорок лет. Свидетельства эти едва ли способны были оказать влияние на большую мировую политику; в очень редких случаях могли они убедить утопистов в (еще) свободной части планеты, и все повторяющиеся изображения столь же ужасающих, как и логичных последствий „реального социализма” едва ли смогли ослабить притягательную силу социалистической утопии. С другой стороны, „буржуазный лагерь”, устав от постоянных сообщений о кошмарах нашего века, реагирует на картины из-за колючей проволоки пресыщенно, даже раздраженно. Потому-то и кажется понятным возражение, которое выдвинула Людмила Вайль, когда ее муж начал работу над этой книгой: „Мир охвачен информационным кризисом, — сказала она. — Не нужно увеличивать количество информации, ее и без того много. Что будет, если все начнут писать книги?”

И тем не менее Борис Вайль решил обратиться к воспоминаниям, которые повествуют, в основном, о годах несвободы, о жизни в „большой” и в „малой” зоне. И хорошо, что он это сделал: его книга — это самобытный „голос из хора”, из хора страдальцев и угнетенных, ставших вместе с тем и подвижниками.

Это уже третье поколение эзков, которые, в отличие от своих отцов, противостоя государственной мощи, знают, по крайней мере, за что они сидят. Именно благодаря мужеству женщин и мужчин, таких, в частности, как Борис Вайль, их непримиримости ко лжи и цинизму, к произволу властей и к унижительному террору против свободной мысли, благодаря их готовности к личным жертвам имеются сегодня в Советском Союзе хоть какие-то преграды на пути произвола и насилия.

Борис Вайль был не только участником открыто действовавшего правозащитного движения, возникшего в СССР в 60 и 70 годы; он участвовал и в подпольном движении 50-х годов, созданном, главным образом, студентами в больших городах под влиянием XX съезда партии и событий в Венгрии, в движении, которое боролось за демократические реформы, по меньшей мере за большую свободу в культурной жизни.

Тринадцать годами лишения свободы — девятью годами лагеря и четырьмя годами сибирской ссылки — заплатил Борис Вайль за свое участие в борьбе за „право на совесть”. Ему было 18, когда в 1957 году он был осужден в первый раз; а когда через восемь с половиной лет в 1965 году он вышел на свободу, он уже познал за это время на себе все степени ужесточения советской карательной

системы, в том числе лагерь особого режима, страшнейший вид лагерного заключения.

Когда в 1970 году Борис Вайль вторично предстал перед судом, на этот раз за распространение самиздата (в числе прочего ему было вменено распространение одной работы Милована Джиласа), он уже не был для Запада незнакомцем: пресса и радио сообщали о деле Бориса Вайля, тем более, что это был первый процесс, на котором присутствовал академик А. Д. Сахаров, допущенный туда в силу своего (тогда еще) высокого авторитета у властей.

После освобождения из ссылки Борису Вайлю, как имеющему политическую судимость, было отказано в праве на проживание в больших городах, которое и так-то получается в СССР с большими трудностями. Он и его жена нашли работу в одном из совхозов в Смоленской области, где они и жили со своим теперь четырнадцатилетним сыном до выезда на Запад. В октябре 1977 года они приехали в Вену, а позже перебрались в Копенгаген.

Книга Вайля содержит богатую информацию и о жизни в советской провинции; именно западный читатель вводится здесь в ту область советского быта, которая открывает много нового даже посвященному.

В этой книге ничего не выдуманно, ничего не преувеличено, это столь же непретенциозное, сколь лишенное сентиментальности изображение тяжелой жизни, перенесенной, однако, с большим достоинством и мужеством, рассказ о судьбе, которую познали миллионы соотечественников Бориса Вайля и которую разделяет и поныне множество людей.

Именно потому, что все изображенное в книге является для миллионов людей в СССР не прошлым, а мучительным настоящим, книга эта является для читателя чем-то обязывающим, обязывающим к активному действию и — поскольку то в его власти — к спасению, не в последнюю очередь самого себя.

Давая ценную информацию и знакомя читателя со столь дорого оплаченным социальным опытом, книга Вайля вместе с тем подкупает своей искренностью и дорботой.

Это свидетельства чистого и умного сердца, и им хочется пожелать широкой известности как на родине, так и на Западе.

Корнелия Ирина Герстенмайер

Когда я еще собирался писать эту книгу, то первым, кто возразил против нее, была моя жена. „Мир охвачен информационным кризисом, — сказала она. — Не нужно увеличивать количество информации, ее и без того много. Что будет, если все начнут писать книги?”

Но я не думаю, что движение за нулевой прирост продукции можно перенести и в область культуры. Человечество не может жить, не выражая себя — в литературе, в музыке, в кино... Философы пытаются осмыслить этот мир (или пытаются понять, можно ли и нужно ли делать это). Историки группируют события и дают им оценку. Социологи анализируют общества и классы. А свидетели и участники событий дают свои свидетельства, показания — материал для философов, социологов, историков. С этой точки зрения ценен не только, например, труд Солженицына, но и воспоминания любого заключенного ГУГага. Ибо если каждый человек — личность, то и видение мира каждым человеком — личное, неповторимое, свое. (Не случайно поэтому мы имеем четыре Евангелия, а не одно.)

Вот и я намерен рассказать о своем: что я пережил, передумал, перечувствовал. Как воспринимали мир люди, какой шкалы ценностей они придерживались; почему умирали одни человеческие цели и откуда появлялись другие; какие мифы распространялись стихийно в обществе и какие на-

саждались сверху, государством; почему, в конце концов, общество такое, какое оно есть, — об этом я хочу рассказать, об этом я хочу размышлять. Может быть, эти размышления послужат сырьем людям, занимающимся историей общества.

Две доминанты сформировали меня: провинция и лагерь. В отличие от большинства диссидентов, я родился, вырос и жил в провинции, в семье, которую, опять же в отличие от большинства диссидентских семей, интеллигентной не назовешь. Но, как и многие диссиденты, я большой кусок своей жизни оставил в лагере („лучшие годы”, как говорят). Лагеря тоже находятся в провинции, но они не являются духовной провинцией. Там проходит невидимая передовая...

В Советском Союзе жизнь в провинции резко отличается от жизни в столицах. Можно сказать, что это два разных мира. Мне кажется даже, что в царской России разница между столицами и провинцией была не столь яркой. Несмотря на отсталость тогдашних коммуникаций, провинция жила духовной жизнью (определенный слой интеллигенции). Журналы и книги из Парижа приходили даже в деревню. Некоторые провинциальные газеты имели за границей своих постоянных корреспондентов. И то, что многие деятели культуры родились и сформировались в провинции, говорит в пользу моего утверждения. (Тут невольно приходит в голову, что многие — а может, большинство? — нынешние руководители партии и правительства тоже родились и сформировались в провинции. Но в этом случае она не сделала их не только деятелями, а хотя бы ценителями культуры... Но это особый вопрос — о крестьянстве как классе, ставшем резервуаром советской правящей элиты.)

Ну, а если говорить о материальной стороне жизни, то, очевидно, мясо было одинаково легко купить как в Москве, так и в Ростове. Возможно, оно было в Ростове даже дешевле. А теперь в Ростове мясо едят только те, кто пользуется закрытым распределителем или знаком с проводниками поезда Ростов — Москва, которым удастся сделать закупки его в Москве.

1. КУРСК

Курск, моя провинция, — город в 500 км к югу от Москвы — был и остается типичным русским провинциальным городом. Как многие российские города, он не имеет своего собственного лица. По культурному уровню этот город стоял и стоит ниже Москвы, Ленинграда, Киева и даже соседнего Воронежа. Провинция — это умственный застой, это консерватизм, духовное прозябание.

Я отчетливо помню послевоенный Курск — сразу после того, как оттуда выбили немцев (во время войны наша семья: я, мать и бабушка — была эвакуирована на восток, и вернулись мы в 1944 году). Разрушенные здания, баррикады (именно так горожане называли заградительные сооружения, построенные в центре города немцами перед вступлением советских войск) на улицах...

Наш дом уцелел, хотя многие другие были разрушены как немецкими, так и советскими бомбами. Дом был двухэтажный (низ кирпичный, верх — деревянный) и принадлежал когда-то моему прадеду-купцу. Наша часть была на втором этаже. 22 квадратных метра, отопление печное (углем), уборная — как и во всех подобных домах — во дворе. Словом, это был обыкновенный дом, не хуже и не лучше других,

на обыкновенной улице обыкновенного, типичного русского города. Нужно сказать, что все-таки мы находились в лучших условиях, чем другие.

Во-первых, это был **наш** дом. Другим семьям приходилось арендовать углы и комнаты, а это всегда стоило дорого, и не только материально. Жить „на квартире” стоило большого и постоянного нервного напряжения. Жильцы вынуждены постоянно контактировать с хозяевами (они живут в соседних комнатах). Эти контакты почти всегда неприятны: хозяева постоянно недовольны жильцами. То эти жильцы снег не вовремя сгребают с дорожек, то свет в коридоре забывают выключить, то приходят очень поздно и нарушают хозяйский сон.

Во-вторых, 22 квадратных метра (две комнаты, хотя одна из них была приблизительно 6 квадратных метров — то, что датчане, например, называют камерой, а не комнатой) на двух взрослых и одного ребенка — это было совсем неплохо по тем временам. На такой жилплощади тогда жили и по шесть человек (мне самому пришлось жить в этих же двух комнатах, но вшестером — уже в 1966 году).

Наконец, люди жили и в землянках добрый десяток лет после войны.

Об отце. До 1947 года (родился я в 1939) я его никогда не видел, так как незадолго до моего рождения его арестовали за растрату казенных денег (он был завмагом, а завмаги часто „путают” свои деньги с казенными — словом, случай самый тривиальный). Он попал на Колыму и, хотя срок его кончился в 1943 году, не мог приехать „на материк” (так колымчане называют весь остальной Союз); его и ему подобных просто не выпускали оттуда. Так он оставался на положении ссыльного до 1947 года, пока ему не разрешили выехать оттуда.

Неясно, существовала ли какая-либо секретная инструкция, запрещающая выезд с Колымы людям, чей срок наказания уже кончился. Если она и существовала, то, конечно, шла в разрез с существовавшими законами. Но

ведь в те годы инструкции — писанные и неписанные — заменяли собою законы.

Случается это иногда и в наше время. Так, доктор В. Горбовой, отсидевший 25 лет (1945 — 1970) за участие в украинском национальном движении (а он еще в довоенной Польше был адвокатом Бандеры на суде), отправлен как бы в вечную ссылку в свою деревню на Западной Украине. Формально он свободен, но ему **объяснили**, что никуда из этой деревни уезжать ему нельзя.

В нашем доме, на первом этаже, жили немецкие офицеры, а в соседнем доме — в бывшей синагоге — размещалось гестапо.

В детстве я часто слышал рассказы о немцах — воспоминания о них были очень свежи у тех, кто жил в городе во время оккупации, — а на улицах видел вереницы угрюмых военнопленных. Иногда ребята постарше, которые в школе изучали немецкий язык, пытались разговаривать с ними, чаще же всего выкрикивали в их адрес бранные слова. Немцы молчали.

Многие из них использовались в то время на строительстве автодороги Москва — Симферополь — Ялта. Эта дорога эксплуатируется и по сей день, хотя, конечно, уже давно не соответствует современным требованиям. (Сейчас вспомнилась другая автодорога: Москва — Минск, у которой жил я в последнее время. Ее построили перед войной заключенные — не военные, но пленные...)

Мать моя занимала сравнительно высокое место в советском аппарате — она работала секретарем и заведующей отделом в райисполкоме (в городе было четыре таких райисполкома). Зарплата была у нее невысокая, но должность — престижная, и эта должность давала ей некоторые привилегии, недоступные простым гражданам. Например, тогда страна получала много продуктов и товаров из США. Распределением этих так называемых „американских подарков” ведали райисполкомы. Конечно, лучшее забирали себе эти женщины, работающие в райисполкомах. Во всяком случае, им было из чего выбирать.

Однажды моя мать провела в райисполкоме всю ночь — вместе со своими коллегами отпарывала пуговицы от американских платьев, и простые женщины получили эти „подарки” без пуговиц — слишком уж красивые, видимо, были эти пуговицы, если работницы райсовета не могли удержаться от искушения отпороть их.

Еще однажды мать повела меня — дело было в 1946 году — в закрытый распределитель. Я тысячу раз проходил и пробежал мимо этого дома на соседней улице. Но мне и в голову не приходило (уверен, что не только в мою детскую голову, но и в головы остальных простых смертных прохожих), что там запрятан магазинчик, но не обычный, а некий тайный, где отпускают товары по особым талонам (деньги, впрочем, тоже надо было платить).

1946 год — год голода на Украине и в России. Я помню, летом этого года в наш дом постучалась деревенская девочка-нищенка лет 12. Она просила хлеба.

— Откуда ты, девочка? — спросила ее моя тетя.

— Из Солнцевского района. Там люди мрут от голода. У меня все умерли.

Я потом не раз бывал в Солнцевском районе и всегда вспоминал эту девочку и это ее „люди мрут”.

Нищие вообще часто ходили по домам. Первые 5-6 лет их устраивали подаваемые хлеб и картошка (или даже картофельные очистки). Потом они стали просить денег.

Кирпичное двухэтажное здание по соседству с нашим домом (в прошлом синагога, гестапо) переоборудовали под хлебозавод. Здесь, под окнами хлебозавода, — на тротуаре, в канаве (канавка, точнее кювет, отделяла проезжую часть дороги от прохожей) всегда сидели и лежали голодные нищие. Они ждали, когда подъедут хлебные фургоны и по деревянным длинным лоткам из окон хлебозавода побегут в эти фургоны буханки и булочки — хлеб! Когда погрузка заканчивалась, между ними начиналась какая-то бесшумная потасовка за место под лотком. Дорвавшиеся к лотку трясли его, и крошки (иногда даже кусочки) сыпались в раскрытую ладонь или прямо в рот.

Просить хлеб у грузчиков, экспедиторов было бесполезно. Каждая буханка была у них на счету, и если уж они могли украсть несколько буханок, то не для того, чтобы отдать их нищим, они могли очень выгодно продать их.

Доходяги (они едва передвигали ноги) дневали и ночевали возле хлебозавода — в конце концов руководству это надоело, и оно огородило лицевую сторону здания колючей проволокой. Доходяг это не обескуражило, они порвали проволоку в том месте, где шла погрузка хлеба. Время от времени проволоку снова натягивали, а доходяг разгоняли, но вскоре все опять повторялось.

Это длилось до тех пор, пока хлебозавод не возвел вокруг себя кирпичную стену, а грузить хлеб в машины стал на своем внутреннем дворе.

Между нашим двором и двором хлебозавода был высокий забор, а над ним еще несколько рядов колючей проволоки. Забор и проволока остались от военных времен, когда во дворе гестапо был небольшой лагерь. Большинство арестантов в нем были курянами, и местным жителям иногда удавалось перекинуть им картофель или морковь.

После войны в обратном направлении — с территории хлебозавода на наш двор — стали бросать хлеб. Одна из работниц хлебозавода договорилась со своими знакомыми, которые в условленное время заходили в наш двор (обыкновенно ночью, хлебозавод работал ведь и по ночам). Она перекидывала им (высота забора была примерно 3 метра) одну-две буханки хлеба, они продавали этот хлеб (они, а не она — чтоб не было подозрений у ОБХСС), а деньги делились в определенной пропорции.

Конечно, ОБХСС — Отдел Борьбы с Хищениями Социалистической Собственности — не дремал, однажды их работник спрятался в нашем дворе, и все это было обнаружено. Работница эта была арестована и осуждена на 10 лет (это был 1947 год. Именно с этого года стали давать за хищения такие суровые сроки наказания). Судили почему-то ее одну: вроде бы сообщники ее предали и стали свидетелями обвинения — старая, как мир, история.

Много воды утекло с того времени, но до сих пор рядом с моим родным домом — хлебозавод, в каждую ночь (а иногда и днем) через этот забор перелетают пуды сахара, белой муки, килограммы масла, сотни яиц. Инспектора ОБХСС теперь, как правило, получают свою долю добра, поэтому и борются с воровством формально и не плодотворно.

Этот маленький хлебозавод очень типичен: на всех заводах во всей стране есть такие заборы и такие хищения.

Как смотреть на эту проблему теперь, когда нет голода и когда сахар и масло есть в магазинах? (Впрочем, не совсем так. В том же Курске масла не бывает месяцами, иногда исчезает и сахар.) Я знаю, что государство, присваивая большую часть создаваемой этими людьми прибавочной стоимости, обкрадывает их и, обкрадывая государство, они как бы возвращают себе обратно часть украденного у них. Но в целом это развращает народ, люмпенизирует его психологию. Все мы — советские люди — в разной степени заражены этим духом. Мы не можем не унести что-то с производства.

В деревне эти хищения легче оправдать. В 1975 году совхоз, в котором я жил и работал в это время, посеял огурцы. Мои коллеги рвали эти огурцы и уносили домой. Я отказывался воровать огурцы вместе с ними, и что же? Эти огурцы вовремя не собрали, их потоптали пасущиеся лошади. Ни один огурец не попал на стол, кроме тех, что сорвали мои коллеги.

Еще пример. Осенью каждый хозяин постарается привезти или принести с совхозного поля соломы для подстилки своим домашним животным. Люди берут ее с чистой совестью, они знают, что все равно состоговать эту солому не успеют, и она будет гнить на поле, пока не окажется помехой при вспашке и не будет сожжена. (А зимой у совхозных коров слюнки бы потекли, покажи им эту солому. Зимой коровы жестоко голодают.)

Любят советские газеты писать об уничтожении продуктов на Западе ради поддержания высокого уровня цен. Это подается читателям как следствие бесчеловечной конкуренции.

А следствием чего является гибель многих тысяч гектаров

не убранного вовремя картофеля в 1976 году? „Неблагоприятных погодных условий”, конечно. Морозы в том году, действительно, пришли необычно рано. И все-таки картошка померзла потому, что была государственной собственностью. А государственная собственность воспринимается как ничья. И руководители, и рядовые работники совхоза спокойно спали в те ночи, когда мороз сковывал картофельные поля. Душа ни у кого не болела — не мое. Моя картошка давно выкопана и засыпана в подполье.

Итак, один рвет с колхозного поля горох и варит его, хотя мог бы купить его в магазине. Другой ворует мясо с мясокомбината. Третий работает в магазине и обворовывает уже не только государство, но и покупателя. Потому что работать в советском магазине (продуктовом, прежде всего) и не воровать — невозможно. Если попадется такой честный продавец, то у него создадутся невыносимые отношения с коллективом, и через 1 — 2 месяца коллектив вытолкнет его, или он подаст заявление об увольнении по собственному желанию, или заведующий магазином найдет другую формулировку. В любом коллективе на человека, не желающего воровать с предприятия, и обманывать, смотрят подозрительно, как на потенциального предателя.

В каждом городе о продавцах вам расскажут конкретную историю, произошедшую будто бы именно в этом городе. Человек покупал сметану. Подал продавщице банку, но крышки у него не было. Пришлось продавщице закрыть банку первой попавшейся бумажкой. Дома человек разглядел, что это была записка: „Валя, не разбавляй — я разбавила”. Советскому читателю уже ясно, о чем речь. Какая-нибудь Нина, работавшая в магазине до обеда, „сдала смену” Вале таким образом.

Часто продавцы оправдывают свои действия тем, что у них низкая зарплата. Действительно, у продавцов в магазинах, так же как у рабочих пищевой и легкой промышленности, довольно низкая зарплата. Говорят даже, что правительство при назначении зарплаты этой категории лиц учитывает, что они будут воровать.

Как бы там ни было, но продавцы стали в СССР особым слоем или особой прослойкой. Они имеют побочный доход, часто превышающий их официальный. Они могут доставать дефицитные товары. Они имеют широкий круг связей („блат”), и благодаря этому их возможности выше, чем у рядового гражданина. Скажем, продавцу хорошего магазина легче устроить свою дочь в институт, чем простому рабочему (который может иметь зарплату, в три раза превышающую зарплату продавца).

Характерен в этом отношении следующий эпизод. Однажды на Тобольском вокзале я помог женщине поднести чемодан. Узнав, что она из Красноярска, где жили мои друзья, я спросил: „Как в Красноярске с продуктами, с мясом в частности?” (Вопрос, который первым задается каждому иногороднему.) „Не знаю, — ответила она, — я ведь работаю в буфете”.

У них и психология другая. Я думаю, они должны презирать остальных людей, которые не умеют „устроиться” и мясо едят несколько раз в месяц.

И вот когда на каждом шагу человека обманывают — начиная от недовешивания продуктов в магазинах (а еще продавцы могут взвесить вам правильно, но за мясо второй категории взять стоимость первой категории. Покупатель и не поймет, какая там категория — лишь бы мясо) и кончая присвоением государством прибавочной стоимости, созданной этим человеком, — то мудрено ли, что он, человек этот, тоже начинает обманывать как и кого может. Одни воруют, другие берут взятки, третьи берут на чай, вернее, на пиво или на красненькое. Известный советский писатель Шукшин, остро чувствовавший эту проблему, закончил один свой рассказ на эту тему (санитарка в больнице берет незаконно деньги с больных) драматическим возгласом: „До чего же мы дошли?”

Вернемся, однако, к послевоенной ситуации в Курске. Кажется, в 1946 году по предприятиям города прошла большая чистка: выгоняли с работы всех, кто работал в официа-

льных учреждениях при немцах. Не знаю, был ли принят специальный закон, на основании которого эти люди изгонялись с работы. Думаю, что нет. Скорее всего это опять-таки инструкция, неопубликованная. Официально это называлось „сокращением штатов”. Но сокращались именно эти люди. Куда они могли после этого устроиться, я не знаю.

Я отлично помню женщину, живущую в доме напротив нашего. Она была машинисткой до немцев, при немцах и после. Ее сократили, и она сошла с ума. При мне ее затолкали в санитарную машину и увезли. Она умерла вскоре там. Конечно, ее случай не типичен в том смысле, что не все уволенные до сумасшествия переживали потерю привычной для них работы. Через какое-то время они устраивались на другую, почти всегда тяжелую, физическую работу.

Все эти события: немцы, голод, „сокращение” — не коснулись моей семьи, и в моем восприятии мира, естественно, не было никакого драматизма. Часами гонял я с ровесниками мятую консервную банку (у нас это называлось „хоккей”), ловил в речке пескарей, подрывал немецкие гранаты. Мы сделали подкоп под один склад и таскали по ночам оттуда жмых. Долгое время нам казалось, что это лучшее из лакомств, сравнимое разве только с халвой.

Мать говорила, что скоро должен приехать отец. Отец был для меня весьма абстрактным понятием, хотя я иногда разглядывал его фотографию. Однажды, в солнечный сентябрьский день 1947 года, когда я оставался дома один, кто-то постучался в наши двери. Я выглянул со второго этажа в окно (жили мы на втором этаже, но имели отдельный ход снизу) и увидел человека, одетого во все серое (много лет спустя я понял, что на нем была типичная лагерная одежда).

— Боря, это ты? — спросил он.

— А ВЫ — мой папа? — спросил я. — Я сразу догадался!

Он поднялся наверх и... заплакал, но не от встречи со мной. Он увидел груды картошки под койками (у нас был небольшой участок, и после уборки мы ссыпали картошку в квартиру). На Колыме он много лет не видел ее, и вот

теперь он плакал от радости... Рассказывал, как собирал на помойках селедочные головки...

От него я услышал много новых слов, значения которых не понимал: „бытовик”, „пятьдесят восьмая”, „зона”, „командировка” (так долгое время именовались официально лагеря). Услышал таинственные названия: Магадан, Индигировка, Сеймчан, Сусуман, — от которых веяло полярным холодом.

Иногда к отцу заезжали друзья, с которыми он сидел в лагерях. Они пили, плакали, пели. Тут я впервые услышал знаменитую, ставшую классической песню о Магадане — „столице Колымского края”. Однако все это не предопределяло моего будущего. Я был ребенком, и все эти рассказы и воспоминания не задевали меня глубоко. Кроме того, в политическом отношении отец всегда был очень осторожен. Естественно, он боялся угодить в лагерь по политической статье. Он рассказывал, что на Колыме много сидит „пятьдесят восьмой” за анекдоты. (И это было так — за несколько политических анекдотов можно было угодить при Сталине на 10 лет.)

Несколько месяцев отец был без работы, и мы вчетвером жили на скромную зарплату матери. Потом его по знакомству устроили грузчиком. Здесь начинается его медленное социальное восхождение, и к концу своей жизни он, наконец, получает должность заведующего отделом в крупном (по курским масштабам) магазине. На этом его пути — от грузчика до зав. отделом — были и взлеты и падения. Одно время он стал даже начальником тарного цеха на крохотной кондитерской фабрике. В его подчинении было 5-6 рабочих, сколачивавших ящики для пряников. И вот однажды он пришел домой расстроенный. Оказалось, что на этой фабрике появился новый человек и его поставили на место отца, потому что он был партийный, а отец — нет.

Огорченные такой несправедливостью мои домашние (теперь у нас жили еще и родители отца) стали возмущаться: „Хорошую работу только партийным дают!”

Я слушал эти разговоры, и вдруг у меня сорвалось: „Ну

погодите, партийные!” — и поднял кулак.

Они все сразу зашикали на меня: „Ты что говоришь?! Нас всех посадят из-за тебя! Не смей так больше говорить!”

Мне было лет 9-10, и я вспомнил этот эпизод через много лет.

На самом же деле я рос, как и все, — под сильным давлением официальной пропаганды: был активным пионером, боготворил Сталина. (Отец, повторяю, из осторожности никогда не позволял себе даже в семейном кругу антисталинских высказываний.)

Работая на кондитерской фабрике, отец часто приносил домой пряники, конфеты, иногда масло. Это была, конечно, весомая прибавка к семейному бюджету. Но я-то понимал, что все это ворованное! Подвиг Павлика Морозова, донесшего на своего отца и ставшего пионерским героем, волновал меня, и совесть моя была беспокойна. Я мучался от раздвоения: с одной стороны, я ем эти пряники, с другой — я хотел бы пойти в милицию или на фабрику и заявить, что мой отец ворует.

Для взрослых, в том числе и для матери, здесь не было никакой проблемы: то, что „раздваивало” меня, для них было нормой. Все понимали, что на собраниях должны говорить одно, а в жизни все идет совсем по-другому. И об этом не надо говорить вслух.

Но в детском наивном сознании эти две параллельные пересекались. Я набрался храбрости и как-то спросил отца: „Папа, разве можно брать без денег пряники с фабрики?” Он посмотрел на меня своим тяжелым взглядом старого лагерника: „Ты что — дурак? Я же их для тебя ношу! Не вздумай сказать кому-нибудь!”

Несколько лет работал он на этой фабрике, и несколько лет я ел эти пряники. В основном, это был один сорт: светлорыжие, на патоке. Они мне так надоели, что я уже не мог съесть три пряника подряд. Однажды я поспорил с одним своим одноклассником: можно ли съесть десять пряников подряд. Я совершенно был уверен, что это невозможно. Он пришел ко мне домой и, к моему удивлению (и

к своему удовольствию), съел эти десять пряников. Сытый голодного не разумеет — вот почему я проиграл.

Приезд с Колымы отца не отразился на престиже моей матери. Все понимали, что он сидел за вполне нормальное, рядовое преступление. Каждый мог бы оказаться на его месте. Более того, был момент, когда отца приглашали вступать в партию. Это предложение ему весьма польстило. Он начал даже изучать сталинский *Краткий курс*, но эта премудрость оказалась ему не по силам.

Мать работала все там же, в райисполкоме, и, кроме закрытых распределителей, которые, впрочем, она могла посещать не часто — ведь она была на слишком низкой ступени советского аппарата, — она пользовалась некоторыми другими маленькими привилегиями. Например, все мы ходили в баню (ванные в квартирах были тогда разве что у десятка семей во всем Курске). Но в банях, кроме общих отделений, где моются из тазиков, есть еще „номера“, то есть душевые или ваннные комнаты. Туда трудно взять билет (если учесть, что на Курск — город с 200-тысячным тогда населением — было в конце 40-х годов только две бани). Моя мать обычно раз в неделю звонила директору бани: „Я Вайль, из Дзержинского райисполкома. Оставьте мне на завтра номер“. И мы втроем шли в душ.

Основой нашего питания тогда (как и потом, как и теперь во всей провинциальной России) была картошка. Картошку мы готовили во всех видах: жареную, вареную, толченую, „в мундирах“. Даже так: сначала пропускали ее через мясорубку, а потом жарили.

Покупали мы и селедку, и — гораздо реже — мясо (в основном, кости, которые шли на борщ). Из сладостей были вышеупомянутые пряники, сахар, а в начале 50-х годов — халва. Дети любили леденцы и ирис. Иногда для меня мать доставала и шоколад, но он был слишком дорог.

Мужчины носили в те годы гимнастерки, брюки галифе, кителя — солдатское и офицерское обмундирование. Я тоже носил вплоть до 1956 года перешитые, перелицованные гимнастерки. Такова была тогда мода, на всех уровнях, от

Маленкова до рядового колхозника.

Мои родители почти не читали книг, газет тоже не выписывали. Однако когда я стал пионером, то им пришлось подписаться на *Пионерскую правду*. Практика почти принудительной подписки на эту газету для пионеров сохранилась до сего дня. В 1977 году друг мой рассказывал о холодной войне, которую ведет его семья со школой: сын отказывается выписать *Пионерскую правду*, дочь отказывается вступить в комсомол. Учителя поминают этих детей (и их родителей) на каждом собрании, и детей и родителей вызывают в кабинет директора (это крайне строгая мера порицания) на беседы. Классный руководитель дочери, преподающий химию, на уроках вынужден был за хорошие ответы ставить хорошие оценки, но за четверть выставил тройку. „Почему мне три по химии?” — спрашивает девочка. „А почему ты не вступаешь в комсомол?” Нужно иметь много мужества, чтобы противостоять такому нажиму.

Как и в каждом доме, у нас было радио, по которому мы могли слушать Москву и Курск. Это был картонный черный рупор, висевший высоко на стене и никогда не выключавшийся. Только с 12 ночи до 6 утра не слышно было его — не было передач в эти часы. Все остальное время оно „говорило”. Люди и спали, и ели, и гостей принимали под говорящее радио.

Примерно раз в год мои родители ходили в театр и 1-2 раза в месяц — в кино. Советские фильмы, которые тогда можно было видеть, рассказывали, в основном, о войне. Но с начала 50-х годов в провинции появляется огромное количество трофейных фильмов (среди них и английские, и голливудские). Эти фильмы пользовались, конечно, несравненно большей популярностью, чем советские. В газетных объявлениях названия этих фильмов не указывались. И если писалось просто: „Художественный фильм”, то все знали, что этот фильм — трофейный.

Я уже сказал, что я, как и миллионы других детей и взрослых, боготворил Сталина. Однажды на уроке в первом классе я показал соседу по парте фотографию, где были

Ленин и Сталин, и спросил его: „Кого ты больше любишь?“ Сама постановка вопроса была, конечно, довольно кощунственна, если не нелепа. На этот вопрос невозможно было ответить: и того и другого мы любили безмерно.

Я, как и мой сын 30 лет спустя, искренне хотел, чтобы все страны поскорее вступили в наш Советский Союз, чтобы в нем было как можно больше республик и чтобы со временем он стал всемирным. Помню (уже в 1952 или 1953 году) я приставал к одному студенту: „Почему французы не уничтожат своих капиталистов и помещиков и не установят у себя советский строй? Ведь там много коммунистов“.

Жизненный уровень и мировосприятие моих одноклассников не отличались, в общем, от моих. Были семьи победнее, были побогаче. Но в целом это был средний городской уровень тех лет. У нескольких ребят родители работали в органах МГБ и МВД, и эти семьи были состоятельнее. И квартиры у них были, разумеется, лучше: с паровым отоплением, с туалетом. Некоторые из моих друзей были как раз из этих семей. Но, естественно, я хотя и слышал часто эти аббревиатуры, но понятия не имел, что они означают. В моем представлении все это были военные, офицеры. Офицерство же вообще окружено ореолом в глазах обыкновенного провинциала. Многие родители хотят, чтобы их сын стал офицером. А какая мамаша не мечтает, чтобы ее дочь стала женой офицера?! Жены офицеров, как правило, не работают, жалование у офицеров большое, одежда — бесплатная и красивая. А сколько всяких красивых и дорогих вещей привезли офицеры из Германии! Моя мать тоже хотела устроить меня в Суворовское училище (были у нее возможности такие), хотя в основном туда принимали детей, чьи отцы погибли на войне. Но тут решительно воспротивился отец: „Не хочу, чтобы мой сын был пушечным мясом!“ Почему его нежелание выразилось именно в этой бредовой фразе? Ведь офицер как раз в меньшей степени пушечное мясо, чем солдат, участи которого мне было бы не миновать. Может быть, он сказал первое, что пришло в голову (у нас это словосочетание во все годы часто мелькало в газетах и радиопередачах.

Говорилось, конечно, о западных армиях) и так выразил свою ненависть зэка к офицерской форме? Во всяком случае, матери пришлось уступить.

Времена американских подарков миновали. Начиналась холодная война, и едва возникавшая в народе симпатия к союзникам была быстро вытравлена. Теперь пропагандистская машина работала, во всю мощь поливая грязью страны Запада. Каждый человек мог сказать теперь, что Америка только и ждет момента, чтобы напасть на Советский Союз. Я слышал разговоры бывших фронтовиков, которые жаловались, что им не позволили после разгрома Германии уничтожить и американскую армию. (Впрочем, такие высказывания в частных беседах можно было слышать и много лет спустя.) Им не разрешили сбросить в море американцев и англичан — и вот результат: теперь надо ждать войны с Америкой. А у них есть бомба, маленькая бомба, вот как монета. Такую монету бросят на город — и нет города. Но русские все равно победят, русские всегда побеждают.

Мы, полуголодные и полураздетые, искренне верили, что живем в самой счастливой стране, а в Америке, Англии люди страдают от непосильной эксплуатации, умирают от голода. Об этом нам твердили по радио, в кино, каждый день в школе — на уроках и после уроков, на сборах и собраниях, об этом мы читали в книгах.

А как мы завидовали тем детям, которые 1 Мая или 7 ноября взбегали по ступеням Мавзолея и преподносили цветы товарищу Сталину! Казалось, такого счастья не может быть достоин обыкновенный ребенок.

Оглядываясь теперь назад, я думаю, что 1949 — 1952 годы — от 70-летия Сталина до девятнадцатого съезда партии — были годами полной зрелости и совершенства Советской империи, золотыми годами этого тоталитарного режима. В самом деле, в это время страны Восточной Европы окончательно попадают под власть Кремля. На Востоке появляется братский Китай. Отступничество Югославии, конечно, портит общую картину, но это — исключение, которое подтверждает правило. В самой стране — никакой оппозиции,

вооруженным национальным движениям в Прибалтике и на Западной Украине именно в эти годы приходит конец. Советский Союз был силен тогда не только объективно — своей новорожденной атомной бомбой, своими танками, мощной индустрией, — но он был силен еще и поддержкой народа, который любил своего вождя не только за страх, но и за совесть. (Я не имею здесь в виду миллионы заключенных тех лет, которые могли по-разному относиться к режиму, и немногочисленных „зрячих”, имевших иммунитет против мощной пропаганды и агитации и реально воспринимавших советскую действительность.)

К Сталину относились как к Богу, или, во всяком случае, как к полу-Богу. Я думаю, здесь нет никакой особой загадки, и русский народ не был исторически одинок в своем ослеплении. Разве не так же относились немцы к Гитлеру? Египтяне к фараонам?

В этой новой религии были и свои ветхозаветные пророки — Маркс и Энгельс, — которые якобы „предсказали” революцию и социализм в России. Бог небесный Ленин и исполняющий его волю на земле Сталин.

Один мой приятель метко заметил, что после 1956 года стало трудно верить тому, что каждый Генеральный Секретарь КПСС является непосредственно сыном Солнца. Но в Сталина верили.

Прочие элементы пропагандистской символики не сверкали таким ослепительным светом, как имя Вождя. Понятиям „государство”, „народ”, даже такому важному понятию, как „партия”, пришлось потесниться. Я думаю, что партия была вторым по значению пропагандным символом после Сталина.

Символика отражала реальное положение дел. По приказу Сталина любой партийный деятель мог быть уничтожен. Партия подчинялась своему вождю слепо и безоговорочно.

В послесталинские времена положение меняется. В пропаганде партия и ее Центральный комитет выдвигаются на первое место. Но структура партии такова, что в ней все решает не ЦК, а Политбюро, и даже не все Политбюро, а пра-

вящая группировка в нем (порой — один человек: Хрущев, Брежнев). Видимо, коллегиальное руководство, о котором так много говорится в периоды после падения или смерти очередного вождя, в принципе невозможно в партии „нового типа”. Но ни объективно, ни субъективно ни Хрущев, ни Брежнев не могли занимать того места, которое занимал Сталин — в стране и в душе рядового гражданина.

Рядовой гражданин РСФСР (в других республиках могло быть не совсем так или совсем не так) верил, что его сосед, арестованный ночью, действительно вредитель, что Горького и Кирова убили троцкисты, что Блюхер — японский шпион, что еврей-врачи (1952 год) хотели убить Сталина.

Конечно, если бы он, этот рядовой гражданин, захотел сопоставить некоторые факты, он должен был бы, по крайней мере, засомневаться в некоторых из этих утверждений. Но рядовой человек предпочитал (и сейчас, к сожалению, предпочитает) об этом не думать. Не сравнивать и не анализировать. Во-первых, для этого нужна определенная работа мысли, а к этому мы не приучены. Во-вторых, чтобы анализировать, нужно желание анализировать, а его-то как раз и нет. В-третьих, не думать — безопаснее.

Допустим, арестовали соседа по политической статье. Ты знал его как хорошего человека. Но ведь и органы знают, кого арестовывать. Не надо рассказывать никому об этом. Нужно думать о себе. Мы люди маленькие, политика — не нашего ума дело.

И советский человек идет каждый год на избирательный участок и отдает свой голос за „кандидатов блока коммунистов и беспартийных”. („Блок” коммунистов и беспартийных” — понятие, за которым ничего не стоит. Как и когда был придуман этот штамп? Это мертворожденное понятие, оно никогда не было реальностью: просто в списках заранее отобранных кандидатов есть не только коммунисты, но и беспартийные.) Он „отдает свой голос”, т. е. не избирает, а голосует. Эта комедия выборов, унижительная для каждого здравомыслящего человека, совсем не кажется таковой для большинства советских людей. Выборы без вы-

бора давно уже стали для них обычным ежегодным ритуалом. С декабря 1937 г. — с первых „всенародных” выборов в Верховный Совет СССР — каждые выборы объявляются праздником и проходят как праздник. Конечно, праздник этот официальный, но поскольку и населением он воспринимается как праздник (как и 7 ноября и 1 Мая), то он становится уже не только официальным, но и народным праздником. Более того, поскольку в день выборов власть обращается персонально к тебе (по имени и отчеству), персонально тебя она приглашает на выборы, то это личностное отношение вызывает у тебя ответное уважение к власти. Ты — безымянный винтик огромной машины — работаешь целый год и слова доброго не слышишь от начальства, и вот наступает день, когда тебя убедительно просят прийти и исполнить свой гражданский долг, а если ты заболел, то принесут тебе урну на дом, а если тебе не с кем оставить детей, то, пожалуйста, приводи или приноси их с собой — на избирательных участках на этот случай организуются специальные детские комнаты.

Там, на избирательных участках, все тебе улыбаются, все приветливо здороваются с тобой, а ведь там, в основном, начальство — партийное, профсоюзное, советское. Все это поднимает тебя в твоих собственных глазах, и ты чувствуешь себя не то что „хозяином страны”, но нужным человеком (нужным кому? — стране? или только данной избирательной комиссии, которая очень хочет, чтобы ты как можно раньше проголосовал: районные избирательные комиссии через каждые полчаса справляются о ходе выборов, торопят, потому что они, в свою очередь, должны отчитаться наверх. Быстрое окончание выборов считается показателем сознательности народных масс). В буфетах при избирательных участках можно купить дефицитные продукты (их специально привозят по случаю „праздника”) — понятие „дефицитности” меняется в зависимости от места и времени. Например, в 1977 году в одном месте это могла быть колбаса, в другом — апельсины, а у нас, в Васильевском Смоленской области, на выборы привозили пиво. (Это, конечно, не озна-

чало, что апельсины и колбаса не считались у нас дефицитными. Наоборот, это невообразимая роскошь.)

Буфет — один из двух стимулов „проявления сознательности”. Если хочешь купить там что-нибудь, чего месяцами не видишь, нужно прийти туда пораньше, лучше всего — к открытию. А открывается буфет одновременно с началом выборов, в 6 часов утра.

Второй стимул — проголосовать **первым**. Тогда о тебе напишут в газете, а может, даже сфотографируют. Это очень лестно. Сейчас этот стимул ослабел, но при Сталине так было на каждом избирательном участке. К 6 утра там собиралось много народу, и каждый старался первым получить и опустить в урну свой бюллетень. При этом совсем не важно было, чьи фамилии стояли в бюллетенях (Ежова? Берии?). Чаще всего люди не запоминают их, хотя в предвыборную кампанию множество агитаторов ходит из дома в дом и читает краткую биографию кандидата, показывает его фотографии. Но все их биографии и фотографии безлики.

В 1937 моя бабушка — мать отца — пришла на свой избирательный участок первой. Ее фото появилось в *Курской правде* с подписью: „Ударница Курской макаронной фабрики Евдокия Вайль пришла первой к избирательным урнам, чтобы отдать свой голос”, и т. д. и т. д. Бабушка всем показывала эту газету и очень гордилась. На следующий год опять были выборы, и, чтобы быть первой, она пришла на этот участок в 4 утра. К 6 утра перед дверьми собралась уже толпа. Пришел фотокорреспондент, но сфотографировал не бабушку, а какую-то комсомолку, которая голосовала в первый раз. Бабушка устроила там скандал, она упорно доказывала, что она, а не комсомолка пришла первой, еще ночью. Но все было напрасно: газета написала о комсомолке, а не о бабушке. С тех пор бабушка не спешила с голосованием — ходила на избирательный участок в 8-9 утра.

Для большинства не важно, что выборы носят сугубо формальный характер, что от того, как ты проголосуешь — за или против, — ничего не изменится и кандидат, которого ты вычеркнул (если это тебе пришлось в голову и если ты на-

столько смел), все равно станет депутатом. Важен факт самоутверждения, осознания себя как личности. Это делает день выборов необычным, не будничным днем. Кроме того, есть явный повод собраться в компанию и выпить. Для многих день кончается выпивкой и... вытрезвителем (как и 1 Мая, и 7 ноября).

Отказаться участвовать в этих псевдовыборах — это значит бросить вызов государству, это значит навлечь на себя всевозможные неприятности... Для этого нужен уже более высокий уровень гражданской и политической сознательности, чем был при Сталине. Сейчас все чаще встречаются такие мужественные одиночки, которые просто отказываются идти к избирательным урнам. Они есть и в крупных городах, и в провинции. Они, как правило, не связаны с „диссидентами“, но, отказываясь от „права“ участвовать в избирательной комедии, они борются за подлинные выборы и, тем самым, за права человека.

После смерти Сталина бывают случаи (об этом можно прочесть в *Известиях*), когда несколько кандидатов в разных округах не собирают нужного большинства и тогда там назначаются перевыборы. Но это происходит только на выборах в местные Советы (районные, сельские, поселковые), и никогда — в областной Совет и, тем более, в Верховный Совет.

Моя мать, в силу своей должности, ежегодно была членом районных избирательных комиссий. Я любил дни выборов, потому что в эти дни на избирательных участках показывали бесплатное кино, концерты, были там и танцы. Ну и народу же там набивалось — и детей, и взрослых!

В эти дни мать крутила, как белка в колесе: ездила по городу по избирательным участкам, выясняла, как идут дела, вычеркивала из списков тех, кто уже проголосовал, и спешила к тем, кто еще не проголосовал, — выяснять, в чем дело; везла к старикам и больным маленькие красные урны. И так до полуночи. В 12 часов ночи они вскрывали урны и порой до утра подсчитывали бюллетени. Часто на бюллетенях попадались надписи: „Голосую за товарища Ста-

лина!” (хотя выборы были всего лишь в местные Советы) или „Спасибо товарищу Сталину!”. Но иногда попадались и „антисоветские” надписи. Эти бюллетени, рассказывала мать, откладывали отдельно — потом, видимо, передавали их в ГБ.

В 1958 году в Чуне я встретил студента Германа К. Он был арестован за „изготовление антисоветской надписи на избирательном бюллетене”. Ему дали 6 или 7 лет. Заключенные возмущались его делом: хорошо же **тайное** голосование! Бюллетень с его надписью избирательная комиссия направила через обком партии в КГБ, те послали его на графологическую экспертизу, а экспертиза доказала, что это именно его почерк. Случай этот не единичен.

Он написал много жалоб, и, так как надпись была не очень серьезная, его реабилитировали. Просидел он „всего” около 3 лет. Сейчас он работает на хорошей работе, и лагерь вспоминается ему как кошмарный сон. И, конечно, он никому не рассказывает, где он был эти 3 года.

Рассказ об атмосфере на избирательных участках будет не полон, если не сказать о такой существенной детали, как расположение „кабин для тайного голосования” и избирательных урн. Обыкновенно, зайдя в избирательный участок, ты видишь слева или справа столы комиссии, где выдают бюллетени, а прямо перед собой, на центральном месте, — урны. Кабины же стоят где-то в стороне. Получив бюллетени, ты или идешь прямо к урне и бросаешь туда бюллетень, или же под взглядами членов комиссии (особенно внимательными в деревнях, где все друг друга знают и где мало людей) ты идешь сначала к кабине, а потом уже к урне. Психологически проще, конечно, бросить бюллетень в урну, не посмотрев даже, кто записан там (все равно он тебе не знаком). Зайти в кабину — это уже проявить некую дерзость. Каждый человек, получивший бюллетень и проследовавший в кабину, а не к урне, необычен. (А он, может, хочет написать там „Спасибо товарищу Сталину!”)

Однажды, в начале 50-х годов, я, пионер, был назначен дежурным на избирательном участке в своей школе. Я и еще

один мальчик застыли по обеим сторонам урны и отдавали пионерский салют каждому опускающему бюллетень. И я отлично помню, что очень немного людей заходило в кабины. И я тоже отлично помню, что в тот день было ощущение праздничности и торжества.

Люди в этот день ходили не спеша, гуляя. Каждый надевал свое лучшее платье, тщательно отглаженное. Разговаривали громче, оживленнее обычного: многие давно не встречались, и вот на участке или на пути к нему встретились. Да и „подвыпивших” с каждым часом становилось больше. И там и тут можно было видеть группки людей, решающих, к кому пойти в гости, где выпить. Возле избирательных участков — громкая, бодрящая музыка, красные транспаранты, флаги... Я тоже чувствовал себя празднично. Тем более, мне была оказана такая честь — салютовать у урны!

Мой дедушка в предвоенные годы — он умер вскоре после того, как я родился, — работал в Курской тюрьме НКВД старшиной: водил на прогулку заключенных и принимал передачи. В семье, разумеется, никогда не осуждали такого рода службу, а наоборот, гордились. А ведь это были годы террора... Свидетелем каких и скольких преступлений был дедушка?

Встретил ли он в своей тюрьме главного библиографа Курской областной библиотеки, который был арестован за то, что из каталогов библиотеки не были своевременно изъяты карточки на книги „врагов народа”, а карточки на книги Ленина и Сталина не были разнесены по всем отраслям науки и техники. Приказ о „недостатках” в работе Курской областной библиотеки был подписан самой Крупской, и его можно найти в журнале *Библиотекарь* за 1938 год. Этот приказ и обосновал изъятие из жизни не только главного библиографа, но и других руководителей библиотеки. Судьба их неизвестна, но, скорее всего, тривиальна: гибель в системе ГУГага.

Водил ли он на прогулку главного редактора *Курской правды*, которого арестовали в 1937 году и который так же бесследно исчез в недрах НКВД, но был посмертно реабилитирован в 1956.

Наверное. Но он был, вероятно, всего лишь равнодушным свидетелем. Во всяком случае в нашей семье не осталось воспоминаний о дедовой „работе”.

Мои бабушки и дедушки помнили царствование Николая Второго и всегда отзывались о царе с уважением. Они принадлежали к тому слою населения, весьма многочисленному, который поддерживал царский режим, как потом поддерживал советский. Эта масса никогда не имела демократических традиций. Она знала одно: что власти надо подчиняться, какая бы она ни была.

Народное сознание 60-70-х годов не далеко ушло от сознания людей 30-х. Правда, многие люди отбросили некоторые иллюзии. Например, все реже приходится услышать: „Если б Ленин встал да поглядел, что тут делается! Он бы им (современному руководству) показал!” В дни столетия со дня его рождения широко ходила серия анекдотов о якобы выпущенном мыле „Запах Ильича”, о лифчике „Ленинские Горки” и так далее. Вера в хорошего Ленина иссякает.

Интересно, что о Сталине таких анекдотов почти нет. Сталин тайно любим верхами и явно — низами. „При Сталине каждый год снижение цен было”, „Какая водка была дешевая при нем!” Непостижимо, что и крестьяне, которые, как рабочие лошади, вкалывали все эти годы на полях страны и получали за это только палочки (ими исчислялось количество труда в тетради бригадира), также позитивно относятся к Сталину. Когда возражаешь, что Сталин уничтожил несколько миллионов людей, цвет нации, то в ответ можешь услышать: „Но ведь он только коммунистов расстреливал!” (О миллионах „раскулаченных” народная память как-то забывает...)

Непреходяща уверенность русских людей, что они — старшие братья чуть ли не всех народов. Проявление неприязни к русским в Прибалтике, например, раздражает всех, от начальства до уборщицы или доярки. Как можно не любить русских! Народное негодование вызвал отвернувшийся Китай. Кормили — кормили его, а он!..

И с 1968 году только небольшая часть интеллигенции пе-

реживала за удушаемую Чехословакию. Массы же возмущались: „Отколоться от нас захотели! Мы им столько помогали, а они... Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит”.

Если бы это говорилось только людьми деревенскими, малограмотными, неинформированными, было бы не так обидно. Увы, это часто — vox populi.

Или распространенное мнение, что СССР кормит весь мир. Средний советский гражданин в городе или в деревне скажет вам, что в магазинах нет мяса и масла, потому что у нас „слишком много братьев”, „мы помогаем всем, а нам — никто не помогает”. Я часто говорил в подобных спорах о наших закупках зерна за границей, но этому или не верили, или не хотели принимать всерьез. И опять: „Сталин по заграницам не ездил. В Африку масло не отправлял”.

Когда в начале марта 1953 года радио сообщило о болезни Сталина, отец сказал с затаенным торжеством: „Теперь ему хана!”

Однако 5 марта (день, который запомнился всем современникам так же, как 22 июня 1941) надел траурную повязку и пошел на траурный митинг.

... Люди плакали на улицах и дома. Никто не скрывал своего горя. В Курске колонны людей, рыдая, шли с цветами и траурными лентами к Его памятнику в Первомайском саду. (Через три года, весенней ночью, на этот памятник накинута аркан из стального троса, и трактор „Сталинец-6” потащит Вождя в ров...)

Бог умер!.. Люди осиротели.

В этом нет насмешки: это было действительное восприятие большинства советских людей. Ведь пока он был жив, всякая мысль о его возможной смерти казалась кошунственной. Некоторые даже думали: „Правительство ни за что не сообщит о смерти Сталина. Как можно! На мавзолее будет появляться актер... Все будет идти по-прежнему...” Сталин не мог умереть.

Два молодых студента философского факультета Москов-

ского университета разговаривали в 1953 году. Один говорил: мне нравится девиз Маркса „сомневайся во всем”. Другой ответил: — Да, мне тоже. Но в одном нельзя сомневаться — в Сталине. Я понял это, когда был на Красной площади 7 ноября и видел Его на трибуне, и видел, как Его приветствовал народ. Во всем можно сомневаться, но не в этом.

Он говорил искренне и по-своему был прав.

Что это (отношение людей к Сталину и переживание его смерти), как не пример типичного **религиозного** сознания? Вера в Абсолют, в Высшего Заступника, в Высший — отчужденный — Разум, в предначертанные цели. Разве нет в этом чего-то иррационального?

И как все это далеко, как далеко от подлинной диалектики, от иронии и скептицизма, от „познай самого себя” и от „ни Бог, ни царь и ни герой”.

Герой-Царь-Бог умер, и люди стали спрашивать себя: как же дальше! Что же теперь будет? Как же без него? Так, должно быть, верующий человек ощущает пустоту, холод и бессмысленность бытия, если на минуту вдруг представит себе, что никакого Бога нет... Вопрос: как же мы теперь будем без Сталина? — был у всех на устах.

Простой человек жил в тяжелых условиях, видел вокруг себя произвол и несправедливость, но верил, что **в целом, в общем**, в некоей трансцендентности — совершается мудрое, справедливое, доброе...

Не этот ли мистицизм вдохновлял людей в подвалах ГПУ умирать с именем Сталина на устах? Не эта ли иррациональная вера заставила испытанных „вождей” играть позорную роль шпионов на „московских процессах”?

Вера в партию как церковь — характерна черта партийцев 20-30-х годов; мистическая вера в Сталина как Бога — черта народного сознания 30-40-50-х годов. Эта мистическая вера в непогрешимость народа, класса, партии, „коллектива”, вера в то, что „мы” всегда право перед „я”, — выгодна всякой тоталитарной системе и поощряется ею. Но было бы наивно считать эту веру результатом только умышленного

обмана и насилия. Элементы и гносеологические предпосылки этой государственной религии лжесоциализма можно усмотреть, например, в „богостроительских” идеях независимого от ленинской партии Максима Горького, которые подкрепляли его в часы тяжких сомнений. В годы нарастающих расправ над людьми мыслящими он прибегал к внерациональному обоснованию „передового учения”. Он писал: „Народ иногда устает, но никогда не ошибается... Славный у нас народ, из чугуна литой, на века...” Такому обожествлению „массы” — а на деле ее всемогущего повелителя — можно противопоставить концепцию самоценности и „первичности” личности. В. Турчин в своей *Инерции страха* именно так интерпретирует социализм и, вслед за Бердяевым, называет свою интерпретацию религиозной в позитивном смысле (по-видимому, в том же смысле, в каком Фейербах сводил религию к доброжелательности). Я только не уверен, что терминология В. Турчина во всем удачна и не дает повода к недоразумениям.

Потрясенный смертью Сталина, я стал писать стихи о нем. Я задумал поэму о том, как он является после смерти народу: солдату, крестьянину и рабочему — и учит их, как жить дальше. Поэма не вышла, но короткое и энергичное стихотворение я все же сочинил и послал в *Пионерскую правду*. Вот оно:

К сердцу кровь — холоднее стали,
Быть не может, что умер Сталин!
Сталин — умер?!
Это сон!
Нет, не умер!
Нет, не он!

Я просил напечатать это стихотворение. Из редакции я получил ответ: они разделяют со мной горе, постигшее все человечество, они получают в эти дни много стихов и поэм, но лучше всех боль всех людей выразил Николай Грибачев (далее цитировалось стихотворение Грибачева).

К тому времени мне исполнилось 14 лет, и я вступил в комсомол. Я пробовал вступить раньше, но возрастной ценз

для вступления довольно строг: подростку непременно должно быть 14 лет, и даже если одного дня не хватает до этого долгожданного рубежа, тебя в комсомол не примут. Мне не хватало 3-4 месяца, но я подал документы (заявление, заполненные анкеты и 2 рекомендации), пытаюсь скрыть месяц своего рождения.

Кроме обязательных 14 лет, подросток должен отвечать и другим требованиям: он должен хорошо учиться, интересоваться внешней политикой СССР и международным коммунистическим движением, хорошо знать Устав ВЛКСМ.

Поэтому ко вступлению специально готовят: заставляют читать газеты, каждому выдают маленькую книжечку с Уставом и заставляют зубрить его. С отстающими учениками (то есть теми, кто имеет двойки по каким-то предметам) занимаются индивидуально — чаще всего отличники из этого же класса.

Потом, когда ты будешь готов к вступлению, на очередном заседании общешкольного комитета комсомола последним вопросом повестки дня будет „прием в члены ВЛКСМ”. Обычно готовят и потом принимают целую группу ровесников.

И вот заседание началось. Пока там разбирают предыдущие вопросы повестки дня, у дверей этой комнаты маются „без пяти минут комсомольцы”. Волнение большое, не меньше, чем перед экзаменом. Каждый уткнулся в свою книжечку с Уставом (в сотый раз перечитать: что такое мудреный „демократический централизм”?) или в свои записи с фамилиями генеральных секретарей компартий всех стран, и зубрит, зубрит.

Прием начинается с зачитывания твоего заявления. Потом задают вопросы об успеваемости, а потом начинают „гонять” по Уставу и политике. Чаще других задаются вопросы: „Какими орденами (и когда, и за что) награжден комсомол?”, „Каковы права и обязанности члена ВЛКСМ?”, „Кто был первым комсомольцем?”

Как правило, принимают всех, кого готовят к этому. Только если ты учишься „посредственно”, а может, и двоечки

получаешь, дают тебе „первое комсомольское поручение” — исправить плохие оценки, „подтянуться”.

Вся эта процедура повторяется через неделю уже на более высоком уровне — в райкоме комсомола. Это называется „утверждение”, но каждый знает, что это уже чистая формальность.

Итак, я пришел на заседание комитета, и был вызван, и тут же был разоблачен... Конечно, это очень огорчило меня. Мне нравилась одна девочка из другой школы (мы встречались у моих родственников), и у нее давно уже был заветный значок с силуэтом Ленина, а у меня не было. И я как свою неполноценность переживал невозможность надеть этот символ причастности к „передовому отряду советской молодежи”. Я понимал, что это временная неполноценность, — но время шло так медленно... Неполноценность свою чувствовал я и тогда, когда 5-6 моих одноклассников, успевших стать 14-летними и вступивших в комсомол, собирались на свои комсомольские собрания. Пионеров туда не допускали. И, естественно, я очень завидовал им, и мечтал о комсомоле, и ждал долгожданного дня...

И вот, наконец, я — комсомолец (я гордился, что вступил в комсомол именно в **марте** того года, так я ответил на смерть Вождя). Я посещаю, наконец, эти собрания, куда меня раньше не пускали. Однако скоро я понял, что ничего особенно интересного там не происходит, те же разговоры о „дисциплине и успеваемости”, какие ведутся и с пионерами.

Пока я учился в школе, я занимал разные должности в комсомоле, а сначала был пионервожатым в младших классах.

В пионерской и комсомольской работе много формализма. Эти организации являются, как известно, коррелятами КПСС среди юношества и детей (как и в нацистской Германии, фашистской Италии). Главное назначение этих организаций — политическое. Комсомол является „помощником партии” и резервуаром ее кадров. Но в силу возрастной специфики там, кроме официальной промывки мозгов, есть и интересные моменты, присутствующие в любом детском

(скаутском) движении: спорт, игры, летние лагеря, романтика костров и походов...

Я, как и каждый нормальный городской ребенок, каждое лето ездил в пионерские лагеря. Эти лагеря создаются и субсидируются профсоюзами (а сейчас и крупными заводами). Скажем, профсоюз работников пищевой и легкой промышленности Курской области организует свой пионерский лагерь. Туда могут попасть только дети работающих в пищевой и легкой промышленности и являющихся членами этого профсоюза (число желающих может превышать число „посадочных” мест в данном лагере). Родители детей тоже платят за их пребывание в лагере небольшую сумму. Расположены лагеря в сельской местности, часто на берегах рек, в лесу. Это хороший отдых для детей, особенно если он хорошо организован. Разные профсоюзы по-разному относились к отдыху своих детей (в конечном счете это зависит от желания и умения профсоюзного начальства), ассигновали разные суммы на это, поэтому и пионерские лагеря всегда отличались во многом друг от друга: условиями быта и питания, оборудованием территории и спортплощадок, отношением к детям, наконец.

Работники райисполкома, где работала моя мать, относились к профсоюзу работников госучреждений. Кроме работников обл- и райсоветов, в этот профсоюз входят чиновники обкомов, горкомов и райкомов партии, судов, прокуратуры. МВД и КГБ не имеют своих профсоюзов и в то время посылали детей своих в пионерские лагеря этого же профсоюза. Теперь они организуют свои собственные пионерские лагеря, как и работники Обкомов партии.

Пионерские лагеря и создавались, и создаются городскими организациями и для городских детей. Для детей колхозников таких лагерей не существовало, и лишь в последнее время стали создаваться немногочисленные межколхозные пионерские лагеря, очень бедные, так как колхозы не могут себе позволить тратить много денег на такие „непроизводительные” цели.

Впрочем, дело было не только в деньгах. Часто в этих

ларерях так скучно, что дети полунаси́льно едут туда: учителя убеждают родителей, родители уговаривают детей. Детям скучно там потому, что тамошняя жизнь их мало отличается от повседневной деревенской жизни, а кормят, как правило, хуже, чем дома. Малообразованные воспитатели работают с детьми без огонька, равнодушно. Дети часто не выдерживают до конца своей смены и сбегают домой раньше.

Различное положение городских и деревенских детей свидетельствует о существующей противоположности между городом и деревней, о социальном неравенстве, о котором я еще буду говорить. Конечно, городские рабочие и мелкие чиновники жили во время моего детства очень бедно, но возможность отправить ребенка на отдых была у многих.

Попасть в пресловутый Артек в Крыму для всех нас было несбыточной мечтой. Я знал всего двух мальчиков в Курске, которые там побывали, — оба были детьми офицеров.

Что же касается детей колхозников, то они прежде всего должны были помогать на каникулах своему колхозу, то есть работать на полях. Кроме того, они должны были помогать своим родителям в личном хозяйстве (косить и сушить сено, ухаживать за животными и т. д.). Так что не каждый сельский житель, даже если бы он и мог, стал бы отправлять своего ребенка в лагерь.

Для нас, маленьких горожан, деревня, возле которой размещался наш лагерь, была другим, незнакомым нам и чуждым миром. Мы видели, как плохо по сравнению с нами одеты деревенские. Да их и сейчас можно отличить по лицу. Мы смотрели свысока на деревенских, передразнивали их манеру говорить. В Курске возле базара, в скверике (Пролетарском), часто можно было видеть сельских жителей. Они приезжали сюда за покупками и по другим делам и, сидя прямо на земле (лавочек не хватало), ели хамсу с хлебом (самый дешевый вид питания). В очередях за хлебом, за колбасой, за сахаром часто возникали скандалы: горожане обвиняли деревенских, что очереди возникают из-за них, из-за того, что они покупают слишком много, а горожанам не достается. В трамваях и автобусах горожане ругались, что

деревенские заставляют проходить своими мешками и корзинами (крестьяне покупали по 10-20 буханок хлеба в городе и везли в деревню в мешках). С тех пор прошло 25-30 лет. И почти ничего не изменилось. Все так же сельский житель делает закупки в магазинах городов (но далеко не все, что он хотел бы купить, он может найти в городе!). Все так же везет домой хлеб за 50 и более километров. Автобусы невообразимо переполнены. Их явно не хватает — не хватает шоферов. Зарплата у них небольшая, а работа трудная (дороги тоже ведь не автострасы Западной Европы!). Поэтому они предпочитают сесть за руль какой-нибудь другой машины.

Посадка в рейсовый автобус в провинции напоминает атаки на поезда во времена гражданской войны и разрухи. Люди сбиваются в кучу перед дверьми и давят друг на друга, одновременно локтями оттесняя „боковых” желающих: всем хочется захватить сидячие места, и в этой схватке побеждает, по всем законам дарвиновской теории, сильнейший, т. е. прежде всего наглый. В этот момент бесполезно звать к совести „граждан”: совесть — слишком абстрактное понятие по сравнению с вполне конкретной возможностью на протяжении часа тряской езды стоять на одной ноге (вторую поставить некуда) сдавленным со всех сторон, судорожно сжимая в руках сетки с городскими покупками. Нет, лучше забыть в этот момент о совести, об уважении к „слабому” полу. Где уж там „человек человеку — друг, товарищ и брат”!

Те, кто проповедует нам этот лозунг, не нуждаются в этом пыльном и грязном автобусе, у них есть свои собственные „Волги” и „Жигули”, или, на худой конец, они всегда могут использовать служебные машины — ведь эти машины вместе с услужливыми шоферами в их полном распоряжении. Они и за сто километров за пивом поедут на казенном газике.

Мы же, их „братья”, будем расталкивать друг друга, злясь не на них, наших благодетелей, а на своего соседа по автобусу.

Однако, „лучше плохо ехать, чем хорошо идти”. (Интересно, есть ли аналогичные пословицы у других народов?)

Идти пешком придется, если вдруг узнаешь, что „автобус не ходит”. Чаще всего это бывает из-за плохой дороги: большинство дорог не асфальтировано, поэтому весной из-за таяния снега и осенью из-за дождей они становятся непроходимыми для машин. Люди, надев высокие резиновые сапоги, пройдут). То вдруг начинают ремонтировать мосты, и автобусное сообщение прерывается, хотя легковые машины ходят в объезд. Зимой такие перебои с автобусами бывают в дни гололеда или заносов. Тогда придется идти пешком, перекинув сумки через плечо — одна спереди, другая сзади (сейчас, правда, рюкзаки пришли в деревню и стали вытеснять сетки и сумки. В Сибири же носят за спиной высокие деревянные коробки). Идти и вслушиваться с надеждой: не гудит ли сзади попутная машина?

В городе этот сельский житель перекусывает теперь уже не хамсой, а хеком (ничего другого в столовых Курска и других городов он, как правило, не найдет. А если и будут котлеты, то ведь они мясные только по названию: туда добавляют до 50% хлеба. Это делается не по рецепту, а из „необходимости” — каждой поварихе и официантке ведь „надо” принести домой или кусок мяса, или кулек фарша). Как и много лет назад, горожанин ворчит на деревенского (он забывает, что хлеб-то выращен деревенским жителем!)

Городской житель в свой уик-энд едет за продуктами в Москву (500 км — не расстояние!) и там выслушивает упреки от москвичей: приезжие-де все разбирают, а москвичам — не остается (поэтому продуктовые магазины, наверное, и не работают теперь по воскресеньям — ведь мы, провинциалы, только на воскресенье и можем в Москву приехать!). Из-за приезжих — и очереди в Москве и т. д. Но я был и в Севастополе, где местные жители обижаются и на москвичей, и вообще на всех приезжих: в их городе из-за этих курортников летом всегда не хватает мяса, хлеба, яиц. Я старался в магазинах Севастополя не выказывать своей иногородности, иначе услышишь грубость и раздражение.

Все это, разумеется, не затрагивает правящую элиту, для которой, как и для иностранцев, существует своя особая система снабжения.

И власти, и горожане упрекали и упрекают деревенских жителей (и в частных разговорах, и со страниц печати) в том, что те скармливают печеный хлеб скоту. Колхозники-де приезжают в город, закупают хлеб, оставляя без него горожан, и отдают его скоту. В хрущевские времена в уголовное законодательство была введена статья о „разбазаривании хлеба и хлебопродуктов” (имелись в виду макароны, вермишель и т. д.), где прямо говорилось, что виновные в скармливании хлеба (и макарон) скоту и домашней птице будут нести уголовную ответственность.

Сейчас власти смотрят на это сквозь пальцы. Дело в том, что надо понять и колхозников: а чем же им кормить скот, если кормов вечно не хватает? Комбикорм или просто ржаную муку практически невозможно достать, а хлеб, макароны — можно (хотя часто и с трудом, и в ограниченных количествах) и по довольно низкой цене. Кормовая база — главная проблема в советском животноводстве, и ни Сталину, ни Хрущеву с его пресловутым интересом к заграничному опыту в сельском хозяйстве, ни брежнево-косыгинскому руководству с его псевдонаучным подходом — никому эту проблему решить не удалось.

Почему в стране не хватает мяса? Потому что „отстает” животноводство. А почему „отстает” животноводство? Потому, что нет кормов. А почему нет кормов?

Ответ на этот вопрос может быть ответом на все предыдущие. Хлеба, мяса, кормов в стране не хватает потому, что система сельского хозяйства не эффективна. Колхозно-совхозная система не способна обеспечить высокую производительность труда. Нужно менять саму структуру собственности, структуру производственных отношений в деревне — это понимают сейчас даже сами руководители хозяйств. Но режим не может проявить гибкость и открыть простор, скажем, частной инициативе. Видя, однако, катастрофическое „отставание” сельского хозяйства и предупреждая возможные волнения народа из-за нехватки продуктов, брежневское руководство решило стимулировать производство продуктов на приусадебных участках. И вот

лозунг о постепенном „отмирании” приусадебных участков, лозунг, который вошел в действующую программу КПСС как некая принципиальная установка, этот лозунг (временно?) снят. Напротив, в новой Конституции СССР приусадебные участки узаконены.

Значит, режим еще способен маневрировать, хотя решиться на более смелые шаги в области экономики он, кажется, не может.

В годы моего детства знакомство мое с деревней было очень поверхностным. Конечно, тогда я ужаснулся бы, если бы мне сказали, что мне предстоит жить на селе. Ни один горожанин по доброй воле в деревню не поедет. Всякий предпочитает ютиться вшестером в двух комнатках в городе, нежели получить отдельный дом в деревне. В деревню едут люди в крайнем случае, когда **абсолютно негде** жить в городе, например, люди, освободившиеся из лагерей. Иногда таким людям и **нельзя** жить в их родном городе, и они ищут жилище в деревне неподалеку от этого города.

Немного ближе я узнал среднерусскую деревню в 1955 году, когда близко сошелся с одной деревенской девушкой, учившейся в городе. Я не раз ездил к ней домой в Солнцевский район (я сразу вспомнил ту девчущку из своего детства!), и меня поразило, что в избе, где жили ее родители, был земляной пол. Изба состояла из сеней и одной комнаты с русской печью в центре. Жило в ней 5 человек. С потолка свисала на толстой веревке деревянная колыбель — в ней спал младший член этого семейства. Кроме того, в углу хрюкал маленький поросенок. Кроватей было только две, и кому-то приходилось спать на полу (впрочем на полу — но не земляном — спали и у нас дома).

От этой девушки я услышал пословицу (а она слышала ее от односельчан): „Хороша советская власть, да долго тянется”. Впрочем, ни она, ни ее родители политикой не интересовались. А свое бедственное и бесправное положение они, как и все другие советские люди, воспринимали как норму. Пословица же эта, допуская, досталась им по наследству от крестьян времен коллективизации и антиколхозных мятежей.

После смерти Сталина с крестьянства был снят тяжелый налоговый пресс. Они могли теперь держать немного более скота, чем раньше (а то ведь налог был с **каждой курицы...**). Очень медленно, но неуклонно стал повышаться жизненный уровень. Медленно улучшались и жилищные условия. Все же деревня 1955 года еще мало отличалась от деревни 1947 года. Некоторый качественный сдвиг происходит лишь в 60-е годы.

Разоблачение Берия и объявление его врагом народа никого особенно не удивило. А ведь именно он вместе с Молотовым и Маленковым всего несколько месяцев назад выступал на похоронах Сталина. Их выступление было реминисценцией клятвы Сталина над гробом Ленина.

Помню, я шел с базара (там пролетал мой путь домой на Сосновскую), и один мужик спрашивал другого:

— Про кого-то по радио передавали? (На базаре был громкоговоритель.)

— Да про Берля какого-то. Жид, видно.

И, как обычно, когда „разоблачался” высокопоставленный партиец, говорили: „И чего только ему не хватало!”

Я часто слышал эту фразу. Она подразумевает, что вот человек „хорошо живет, все имеет”, а поди ж ты — стал врагом народа, шпионом, вредителем. Зачем ему это нужно было? И так ведь как сыр в масле катался. (Допускаю, что и про Сахарова в разгар официальной травли могли говорить наши провинциалы: „Академик ведь! И чего только ему не хватало!”)

О, святая простота!

Но и в застойной, удушливой атмосфере провинции после смерти Сталина начинают появляться новые мысли, новые настроения...

Новые руководители страны еще клянутся Сталиным, и всюду его портреты, и статуи, но уже входит в жизнь что-то новое. И вдруг появляется статья „Об искренности в литературе” (*Новый мир*, декабрь 1953), и автор ее — Померанцев — говорит о неслыханных вещах: что литература должна быть искренней. Мы привыкли к словосочетаниям:

„партийность литературы”, „народность литературы”, но никак не „искренность литературы”. Мы привыкли, что литература — это одно, а жизнь — совсем, совсем другое.

Конечно, мало кто в Курске прочитал эту статью, разве что десяток-другой интеллигентов, и все же это была ласточка — предвестница весны.

Я сам прочитал эту статью случайно, но я уже к тому времени задумывался о подобных вещах.

К 1954 году относится мое знакомство с одним странным и необычным человеком. Я назову здесь его С. В.

Он был старше меня на 2 года, стало быть, ему было тогда 17 лет. „Есть тут один парень, — сказали мне о нем, — очень увлекается Францией. Сам изучил французский язык. В комсомол не вступает — не хочет”.

Это ни в какие мои представления не укладывалось.

В те годы случаи отказа вступать в комсомол были чрезвычайно редки. Иногда в комсомол не принимали — как недостойного. Но чтобы человек сам не хотел и заявлял об этом — это было что-то из ряда вон выходящее. И опять же — самостоятельно учить иностранный язык, тогда как нам насильно на уроках вдабливали правила грамматики и произношения английского. Все это, конечно, было удивительно и экзотично.

Я тоже был равнодушен к Франции: по семейным преданиям, мой предок с отцовской стороны пришел в Россию с Наполеоном, попал здесь в плен и остался в России.

Мы говорили с С. В. о Франции. Я показывал ему открытки с видами Парижа, он читал мне надписи на этих открытках. Он утверждал, что нет прекраснее французского языка.

В это время с ним приключилась такая история: его класс писал сочинение на тему: „Мой любимый герой в романе Толстого *Война и мир*”. Предполагалось, что любимыми героями будут Андрей Болконский, Пьер Безухов, Николай Ростов — школьники-мальчишки всегда писали о мужских персонажах (наша школа была мужской, совместное обучение было введено в 1955 году).

И вот С. В. написал о Наполеоне! Это всех потрясло, прежде всего — учителей. Парадокс был в том, что в его сочинении не было ни одной грамматической ошибки (я сам видел его тетрадь, без красных пометок учителя). Но все-таки ему была поставлена двойка — за ошибочность его позиции. Не может же, в самом деле, такое чудовище, как Наполеон, быть образцом для советского школьника! Это сочинение обсуждалось и на педсовете школы. Там было признано, что двойка поставлена правильно.

Мне было интересно бывать у С. В. дома. Он жил с матерью и сестрой (отец от них ушел, дядя его сидел в тюрьме) в собственном домике в нищенских условиях. Его мать работала уборщицей в школе, значит, ее зарплата была тогда где-то около 300 рублей. Никаких других доходов не было. Этих денег им хватало только на хлеб и картошку. И вот в сугубо пролетарских, даже пауперских условиях вырос человек тонкого вкуса, ценитель прекрасного, в 16 лет стоявший по духовному развитию на несколько уровней выше своих учителей.

Мы любили с ним ходить вечерами по сонным окраинным улочкам Курска.

А по главной улице, улице Ленина, в эти же вечерние часы гуляли наши одноклассники. Годом позже гулял там и я. Это был ритуал: как только начинало темнеть, каждый из нас надевал свои лучшие брюки и куртку (вычищенные, отглаженные) и шел на Ленинскую. Там сразу же встречались друзья, мы объединялись по 3-4 человека и, взявшись под руки, медленно ходили из конца улицы в другой. Между нами шла веселая пустая болтовня, ею мы пытались скрыть свои истинные цели пребывания здесь: встретить хорошеньких девочек и понравиться им. Девочки ходили впереди нас и навстречу нам такими же стайками, такие же веселые и исподтишка внимательные. Часто две стайки, наша и девчачья, начинали щебетать вместе. Говорили опять-таки ни о чем, но между слов быстро выяснялись симпатии или антипатии, и в зависимости от этого мы до ночи ходили вместе или снова рассыпались.

Но у С. В. было плохо с одеждой. В школу он ходил в телогрейке — это была его единственная верхняя одежда. Но гулять в ней по центральным улицам он стеснялся. Поэтому мы и ходили с ним по предместьям. Да и темам разговоров наших больше соответствовали пустынные, полутемные улочки.

После бесед с С. В. какими же убогими казались мне разговоры у нас дома, у других моих родственников — о дровах, о тряпках, о покупках...

Какие низменные интересы... Бессмысленность и рутина каждодневной суеты окружала меня дома, а с ним я как будто стоял у окна в прекрасный мир поэзии, истории, Франции!

Но все же меня терзал вопрос: почему С. В. не вступает в комсомол? Я был лоялен на 100%, и его позиция меня смущала. Я спросил его об этом почти сразу же после того, как нас познакомили. Сначала он говорил что-то о том, что считает себя „недостойным” (эта формулировка была типичной для тех, кто хочет избежать комсомола или партии, но и не быть обвиненным в нелояльности). Я понимал, что это всего лишь отговорка, и продолжал добиваться истины.

„Видишь ли, — сказал он однажды, — я верю в Бога. Поэтому я не могу вступать в комсомол. Но есть еще одна причина, я тебе скажу о ней позже”.

Я не настаивал: с меня было довольно. Я был ошарашен его первым признанием. В те годы у нас активно велась атеистическая пропаганда — и в школах, и среди населения. Члены химического кружка организовывали бригады и ездили по деревням. Там перед старухами они демонстрировали химические опыты, разоблачающие церковь, доказывающие, что Бога — нет. Встретить в те годы верующего (не старого человека, которого, естественно, сразу же хотелось разубедить), а своего ровесника — это было потрясюще, как услышать гром среди ясного неба.

Прошло еще какое-то время, заполненное нашими беседами. Его вера в Бога несколько уронила его в моих глазах, но я не потерял к нему интереса.

Однажды он „взял быка за рога”.

„Борис, — сказал он, — признаешь ли ты, что наше государство — фашистское? Что здесь нет свободы слова, свободы печати?”

Я, конечно, горячо вступился за государство, за партию, за Сталина. Я говорил о том, что здесь все — наше, все принадлежит народу.

„За одно слово человека могут посадить в тюрьму, — гнул он свое. — Какая уж тут свобода? Какая демократия? Кто хозяева страны?”

В ответ я говорил ему, что мы строим коммунизм. А враги нам мешают. Поэтому нужно от них защищаться. А при всемирном коммунизме не будет тюрем, как не будет и денег. А пока...

Словом, моя апология режима сводилась к стандартному набору аргументов, которым и сейчас пользуется советская пропаганда (обманывая не только детей, но и вполне взрослых людей на Западе).

После мы каждый раз возвращались к этой теме, и я чувствовал, насколько слаба моя аргументация. Я знал, что я прав, я был уверен, что СССР — самое лучшее государство на свете и наш народ — самый счастливый, и вот, однако, не мог отразить его ударов. Он ведь работал головой, пытался сопоставлять и сравнивать, а меня научили не думать, а повторять готовые ответы.

— Почему у нас только одна партия?

— Потому что она самая лучшая и других нам не надо.

— Почему нельзя критиковать партию, правительство, Сталина?

— Потому что их не за что критиковать, они все делают правильно.

— Почему за критику можно попасть в тюрьму?

— Потому что мы среди врагов.

Поразительно, что С. В., который родился и вырос в бедной семье, почти совсем не касался проблем экономических. Все его вопросы носили сугубо политический характер: свобода, демократия, диктатура, фашизм...

Понимая недостаточность моей аргументации, ее уязвимость перед лицом столь хорошо вооруженного противника, я решил прибегнуть к помощи со стороны.

Я хотел прийти в райком комсомола и рассказать о взглядах С. В., не называя его по имени. Есть, дескать, один человек, и он говорит так-то и так-то, помогите мне в спорах с ним, вооружите меня аргументами.

Ну, а если, — думал я, — они спросят фамилию? как быть тогда? Говорить или нет? Придется сказать, мой долг сказать — ведь это **чуждый** нам человек, **несоветский** человек. Но ведь он мне интересен, я узнаю от него много нового. Не будет ли это предательством? Нет, это не предательство, каждый комсомолец должен идти в райком в таких случаях и делиться своими трудностями. И если я назову его фамилию им, то ведь это может остаться в тайне, и он об этом не узнает.

Мой долг идти и рассказать о человеке, который слушает по ночам „Голос Америки” и Би-Би-Си (он сам говорил мне об этом), радиостанции, слушать которые запрещено. На самом деле, это никогда не было запрещено в СССР.* Однако, в силу бесправия и юридической безграмотности многие считали тогда (а некоторые и сейчас), что слушать иностранные передачи запрещено. За пересказ **другим** того, что услышал, судили тогда и могут судить и сейчас (это ведь **распространение!**).

Так раздумывал я, не в силах принять окончательного решения. Труднее всего было решить, называть мне его фамилию или скрывать. Я допускал, что со стороны райкома я могу подвергнуться нажиму, если буду утаивать его фамилию. Я не был уверен, что выдержу этот нажим.

Но ведь в мои планы не входило доносить на него! Мне нужна была идеологическая помощь.

Я совершенно не думал о возможных последствиях моего визита. Я не предполагал, что С. В. могут исключить из шко-

* В нашей стране вообще нет законодательной процедуры запрещения — книг ли, радиопередач или песен.

лы или, тем более, арестовать. (Впрочем, думаю, что ни того, ни другого с ним не сделали бы — на дворе стоял 1954 год, — но на заметку в КГБ он попал бы и, возможно, был бы вызван на... беседу и надолго запуган...)

Я раздумывал и колебался, но продолжал почти каждый вечер встречаться с С. В. и понемногу сдавал свои позиции.

Прошло, может быть, полгода, и я стал, после споров и размышлений, разделять его взгляды (а сначала я был уверен, что перевоспитаю его!). Произошло это как-то постепенно, без особых скачков, во всяком случае я не помню никаких „озарений”.

Но относительно веры в Бога он не смог меня переубедить, да, впрочем, и не прилагал особых усилий. Желание же идти в райком у меня совершенно пропало.

Могут ли быть убеждения у человека в 15 лет? Я полагаю, его можно легко склонить в ту или другую сторону, и, попадись нам в ту пору опытный советский идеолог, может быть, ему удалось бы переубедить нас (тем более, что многое от нас было тогда скрыто — Архипелаг ГУЛаг, например, или целые периоды советской истории). Но полностью нельзя устранить сомнение из человеческого разума, раз уж это сомнение зародилось. Как ни хитры и как ни изворотливы апологеты этого режима, они, в принципе, беспомощны перед человеческим разумом, способным спрашивать и сомневаться, сопоставлять и критиковать...

Еще в конце 1952 года я стал вхож в редакцию областной газеты *Молодая Гвардия*. Здесь был создан литературный кружок, куда молодые авторы приносили свои стихи, рассказы, пьесы. Я был там самый молодой, и однажды редактор этой газеты напророчил мне большое будущее (увы, не сбывшееся!). Я сблизился с молодыми журналистами и молодыми поэтами Курска. Конечно, в те годы в провинции уровень творчества местных литераторов был чрезвычайно низок. Стихи, рассказы, басни писались в основном как иллюстрации к тем или иным политическим кампаниям: к 7 ноября, против „поджигателей войны” и т. д. Впрочем, и сейчас очень много подобной „паралитературы”. Но,

помню, в 1955 году один молодой журналист из *Курской правды* говорил мне, просматривая газеты:

— „Слава КПСС”, „Еще теснее сплотимся вокруг родной и любимой партии” — знаешь, эти лозунги уже не могут восприниматься всерьез! Так и кажется, что здесь заключена ирония.

Однако не надо думать, будто, понимая фальшь и обман официальной идеологии, этот журналист стал бороться за правду или стал диссидентом (хотя такие случаи бывали, есть и будут). Он продолжал работать в органе обкома КПСС, продолжал лгать, понимая, что он лжет.

Давным-давно оказался у нас дома в гостях председатель Курского областного комитета по радиовещанию Чиликин, и, подвыпив, он сказал с горечью слова, поразившие меня: „Наше дело — не думать и гнуть спину перед начальством!” Поразили эти слова меня и потому, что я его самого считал большим начальством. Кстати, кроме Радиокomiteта, он возглавлял еще „Курский областной комитет сторонников мира”.

За рюмкой водки, в компании двух-трех товарищей по перу, журналист выскажет тебе все, что думает об этой партии и ее политике. Его профессия — это участие в огромном аппарате лжи и дезинформации, и только циник может выжить так духовно. Циник, которому на все плевать, кроме собственного материального интереса.

„Цинизм — спутник фашизма”.

Советские журналисты знают несколько больше, чем „простые советские люди”: доступ к источникам информации облегчает им познание истины.

Несмотря на то, что я с малых лет был близок к журналистам, я только в лагере узнал о существовании „черного” и „белого” ТАССа: в один поступает вся информация со всего мира, из другого — выходит процеженная и отфильтрованная для советских граждан.

Уровень информированности журналиста зависит от значимости его газеты. Но дезинформацией они занимаются на всех уровнях.

„Хочешь жить — умей вертеться” — вот популярная современная пословица, выразившая мораль целых слоев нашего народа. Один оправдывает ею свои мелкие хищения в магазине, где он работает, другой — свою работу на фабрике-кухне лжи.

До седых волос проработал в газете тот молодой журналист, что говорил мне об иронии, заключенной в дежурных призывах КПСС (партия призывает любить ее! верить ей! — такой призыв не может не вызвать улыбки, даже если это самая распрекрасная партия в мире...), и каждый день он профессионально продавался. Продавался, когда в начале своей карьеры восхвалял будто бы возникающие „агро-города”, когда потом призывал курских колхозников разводить кок-сагыз, а через несколько лет — кукурузу; продается и сейчас, когда с вдохновением требует экономно расходовать корма. Только так он и может существовать, только так он может зарабатывать себе на хлеб.

„Хочешь жить — умей вертеться”.

... Молодая доярка идет по лугу и, срывая ромашки, гадает... нет, не „любит? — не любит?”, а: добьется ли она высокого надоя и выйдет ли в передовики соцсоревнования? — Так писал в 1966 г. в одном своем очерке корреспондент *Курской правды* по восточным районам области Юрий Махрин. Вероятно, вышестоящие товарищи по достоинству оценили его талант: сейчас он работает специальным корреспондентом центральной *Правды*. Конечно, он понимает, что лжет, даже старается лгать красиво. Такая ложь имеет спрос у руководства, она вполне вписывается в стиль нынешней пропаганды. Поэтому: так держать! Так лгать! Имея такую философию, он выбился в люди, в главнейшую газету страны, оставив своих неудачливых коллег тлеть в провинции.

Один из таких менее пробивных газетчиков, писавший, в основном, о службе быта, а не о передовых доярках, гадающих на ромашках, поместил однажды (1968 год) вполне заурядный очерк о некоем курском настройщике роялей. Настройщик этот, писалось в этом очерке в *Курской правде*, был настолько известен, что даже столичные пиа-

нисты, прежде чем ехать с концертом в Курск, интересуются, кто там будет настраивать фортепиано, и, узнав, что именно он, с удовлетворением соглашаются туда ехать. В очерке, как и полагается, фигурировали красоты типа: „и вот льется чудесная музыка Чайковского” и т. д.

Курское УКГБ, внимательно прочитав очерк, выяснило, однако, что данный настройщик роялей в свое время отсидел десять лет за сотрудничество с немцами во время войны. Казалось бы, какое отношение имеет его нынешняя мирная профессия к прошлым грехам? Но УКГБ не было против настройщика. Оно выразило гнев против газеты и журналиста, осмелившегося хвалить военного преступника. Но ведь журналист не знал прошлого своего героя! Тем хуже для журналиста! По неписанным правилам, если ты пишешь о ком-то, необходимо узнать в отделе кадров или у директора главные сведения о будущем персонаже. В данном случае этого сделано не было. Виновник должен поплатиться. Из УКГБ в обком КПСС пришла докладная записка. Не знаю, какие там были рекомендации. Но машина завертелась. Редакция газеты *Курская правда* собирает партийное собрание (автор очерка — член партии уже 32 года!), и от обкома КПСС туда приходит инструктор по идеологии. Инструктор сказал в частности: „Товарищи! Такой-то пишет в вашей газете: „льется чудесная музыка Чайковского”. Нет, товарищи, это не чудесная музыка льется, а кровь советских людей. Ведь настройщик НН сотрудничал с фашистами, а журналист КК хвалит его в газете”. Инструктор предложил исключить беднягу из партии. И вот человека, состоявшего в этой партии столько лет, сколько всего было инструктору, отдавшего всю жизнь этой партийной газете, — исключают абсолютным большинством из партии, что автоматически означает изгнание с работы. Голосование было тайным, и тем не менее никто не осмелился в присутствии инструктора обкома проголосовать против исключения. Все боялись! Все подписали этот приговор своему товарищу. А ведь какие друзья все они были! Сколько бутылок „Столичной” вместе опорожнили! Какие только анекдоты друг другу не рас-

сказывали! И вот после позорного голосования где-нибудь на улице или тишком в коридоре редакции подходили и говорили: „Прости, Петя, но ведь я не мог иначе, сам понимаешь...” И Петя — понимал, все прекрасно понимал. Да он и сам на их месте поступил бы точно так же. Хотя не 37-й год, а работу никому не хочется терять.

Сам же он был безработным с полгода, безо всякой материальной помощи, пока московское начальство разбирало его апелляции. Кажется, помог и Константин Симонов, который знал потерпевшего еще со времен Курской дуги. В партии его восстановили, но в *Курскую правду* он больше не вернулся.

В далеком сибирском лагере журналист Имантс Жигурс показывал мне свою опубликованную в Латвии пьесу, где был такой диалог:

„Мать (встречая сына): — Сыночек, почему ты такой радостный?

Сын: — Понимаешь, мама, сегодня мы вывезли 600 центнеров навоза на колхозные поля! Как же мне не радоваться!”

Жигурс говорил, что он писал так сознательно, т. е. хотел, чтобы люди обратили внимание на всю ложь соцреализма. Я склонен сомневаться в этом — это кажется мне простым и легким объяснением, оправданием задним числом. Этак и Ю. Махрин, может, когда-нибудь скажет, что своими очерками он хотел дискредитировать *Курскую правду* и *Правду*.

Объективно же все они (за немногими исключениями в центральной и специальной печати) программируют тот механизм промывки мозгов, к которому подключен каждый советский гражданин.

Начинает просыпаться человеческая совесть в после-сталинские годы в другой категории пишущих людей — в писателях. Хотя их положение весьма близко журналистскому, но все же они обладают некоторой — очень небольшой — самостоятельностью. Ведь если журналист находится на службе у государства (партии), то писатель пока еще — пред-

ставитель „свободных профессий” (если вообще можно говорить о существовании таковых в СССР).

Курску повезло: в те рубежные годы сюда приехал Валентин Овечкин. Он уже имел имя в литературе, и его *Районные будни* были новым словом, искренним и заинтересованным. Какова бы ни была его политическая позиция (а она была очень наивной. Он, например, упрямо верил, что система в стране хорошая и только руководители плохие, а от руководителя, считал он, все зависит), он говорил то, что думал, он хотел, чтобы крестьянин жил в достатке, а не в неизбывной нищете. В своих записных книжках он цитирует Некрасова:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит Отчизны своей.

Ближе всего его позиция была к взглядам Твардовского.

Хотя его произведения были не на высоком художественном уровне (и он страдал, сознавая это), но сама постановка проблем была свежа, и отказ от казенного трафарета и призыв к борьбе с „бюрократизмом”, с „борзовщиной” (Борзов — персонаж *Районных будней*) привлекал читателей разных возрастов и социальных слоев. (Следует учесть, однако, что персонажами его произведений были не рядовые колхозники, а руководители. Ведь он, считавший, что все зависит от руководителя, и хотел сконструировать тип идеального председателя колхоза или секретаря райкома. Следует не забывать и того парадоксального факта, что его произведения о деревне находили читателя не в деревне, а в городе. Даже низовое начальство (районного масштаба), постоянно фигурировавшее в его очерках, этих очерков не читало. Что уж говорить о рядовых колхозниках... Так было и с другим „деревенщиком” — Шукшиным. Он писал о деревне, но любят и знают его горожане.)

Овечкин полагал, что его всесоюзная (и заграничная) известность дает ему возможность не бояться местных, курских вождей. В 60-е годы он стал критиковать первого секретаря Курского обкома партии Монашева за то, что тот строил себе роскошный особняк, чуть ли не с плавательным

бассейном. Улица Микояна, на которой шло это строительство, была в центре, но не была тогда заасфальтирована. И вот по приказу Монашева ее асфальтируют, но только до его дома, то есть всего лишь несколько сот метров. Овечкин вступил в единоборство с Монашевым (думаю, что никто из курской писательской и журналистской братии не поддержал его. Иначе не остались бы они все на своих местах, на своих постах. Хотя все прекрасно понимали правоту Овечкина, да ведь критиковать первого секретаря — себе дороже!). Однако каждый первый секретарь обкома — член или кандидат ЦК КПСС. В этой конфронтации победила партия в лице Монашева, а выступивший против партийных привилегий Овечкин был духовно сломлен. Он пытался покончить самоубийством, но только тяжело ранил себя и выжил.

В 1968 году появились в печати его отрывки *Из записной книжки*. Вот один отрывок, похожий на автобиографию.

„Есть характеры — не гнутся, а сразу ломаются. Человек не меняется, не приспосабливается к жизни, не подличает, идет напрямик своей дорогой, и это стоит большой борьбы, большой затраты сил. И вдруг остановится, оглядится — шел, шел, а все то же вокруг, — и сразу сломится. И это уже конец, и духовно, и физически”.

Естественно, после этой истории ему нельзя было оставаться в Курске, и он уехал в Среднюю Азию. Из его опубликованных писем и дневников видно, что его материальное положение было незавидное, и порой ему не хватало денег на билет в Москву. Но его наивная вера в хороших руководителей осталась неистребима, он их продолжал искать и в Средней Азии.

Когда я в 1965 году приехал после лагеря в Курск, то в журналистских кругах еще говорили об этом скандале, но, конечно, в узком кругу.

Монашев был у власти и при брежневском руководстве, но все-таки через несколько лет его перевели в Москву на должность замминистра. Это было расценено как понижение. Особняк его курские власти собирались превратить в детский сад. Но асфальтированную дорогу в то время так и не

удлиннили — разве что сейчас.

Неудавшееся самоубийство Овечкина наводит на мысль, что такова извечная судьба честных поэтов и писателей России — самоубийство, или тюрьма, или изгнание...

Кажется, в 1954 году Курская областная библиотека организовала встречу с ним. Была так называемая „читательская конференция”. И вот когда его спросили, кого он считает своими учителями в литературе, он сказал: „Глеба Успенского и Бунина”. Это меня и других присутствующих удивило. Я, например, впервые слышал имя Бунина. В школе мы такого „не проходили”. Нужна была определенная смелость, чтобы провозгласить этого „злобного эмигранта” своим учителем. (Зачтется и Эренбургу за то, что в 1956 году он воскресил для нас Марину Цветаеву и был ошельмован за это в партийной печати.)

Мы углубленно изучали русскую и советскую литературу в 8, 9 и 10 классах. Но в нашем учебнике не нашлось места ни Бунину, ни Достоевскому. Достоевский, имя которого приходит первым на ум современным людям Запада и Востока, когда речь заходит о русской литературе (или шире — о русской душе!). Достоевскому — классику мировой литературы — в нашем учебнике отводилась одна страничка мелкого текста, то есть этот материал был „необязательным” — учитель не объяснял его и не спрашивал, — и такие странички, как правило, никто из нас не читал. Несколько таких же мелких строчек отводилось Писареву. Почти ничего о Есенине. (Его произведения, как и романы Достоевского, начинают издаваться только через несколько лет после смерти Сталина.) Ну а Набокова, Замятина, Ремизова мы узнаем только теперь, и то вынуждены читать их книги тайком, потому что на любом обыске их могут забрать: нельзя! книги изданы не в СССР!

Поэтому на обысках тщательно смотрят не только на автора и название, но и на издательские данные.

Так проходили мы литературу в урезанном и искаленном виде: без Писарева, Достоевского, Бунина, Блока. Но и то, что оставалось, а оставалось многое, было так препариро-

ровано и засушено, что раз и навсегда отбивало охоту к великой русской литературе. После объяснения учителя о значении *Евгения Онегина* читать его не хотелось.

Помню разговор 1955 или 1956 года в очереди у кино. Мой ровесник спросил меня, почему мы не изучаем западных писателей, ну, например, Мопассана или Золя. Стоявший в очереди пожилой человек фыркнул: Мопассан у нас считался символом неприличия. Я ответил, что, вероятно, времени не хватает учить советских писателей (мы, действительно, почему-то совсем не изучали писателей-современников), где уж там французских! На это приятель возразил мне, что можно было бы без особого ущерба выбросить из программы Джамбула Джабаева или Сулеймана Стальского, а вместо них вставить Мопассана. Пожилой человек был крайне рассержен нашей дерзостью, но мы каким-то внутренним чутьем понимали, что время говорить такие крамольные вещи без опаски (хотя и не на собрании, а просто в порядке товарищеского обмена мнениями) — такое время пришло.

В те же годы в Курске поселяется — ненадолго, к сожалению, — молодой писатель Фазиль Искандер. Но у него тоже начинаются нелады с курскими руководителями, и он уезжает от нас в Москву. И только из столицы, а не из нашего захолустья, он выходит в литературу, находит выход к читателю и получает его признание. До сих пор в редакциях обеих курских газет (*Курской правды* и *Молодой Гвардии*) вспоминают с теплотой об Искандере и о том оживлении, какое он внес в их жизнь. Спорят, кого из курских деятелей он высмеял в *Созвездии Козлотура*.

Приезжает и молодой, никому почти неизвестный Евгений Носов и оседает в Курске. Лет через 10 его имя войдет в „первую десятку” писателей-деревенщиков: Шукшин, Тендряков, Солоухин, Е. Носов...

Приезд в Курск Овечкина, Искандера, Носова способствовал некоторому оживлению культурной и литературной жизни. Но сфера их общения, радиус их действия были невелики. Они все шли как бы в общей волне „оттепели”, но — по большому счету — разве могли они принести какие-то

идеи? Повести куда-нибудь за собой? Даже если бы у них и были какие-то нетривиальные мысли, власть не позволила бы им высказать их. Тем более в провинции и тем более в те первые послесталинские годы.

Тем временем мы с С. В. все ходили по окраинным улицам Курска, сами названия которых говорили об их провинциальности и идилличности: Чумаковская, Полевая, Выгонная, слобода Казацкая, слобода Стрелецкая, — и вдруг как внезапный наплыв из прошлого — который, впрочем, никем не осознан! — красивое и необычное сочетание — отзвук февраля 1917: „Улица Свободных Граждан”. Конечно, такое сомнительное название (слово „свобода” не в чести!) только случайно продержалось до середины 50-х годов: улицу Свободных Граждан переименовали, неизвестно почему, в улицу Ломоносова. Так спокойнее.

И вот ходим мы — вдоль одноэтажных неказистых домишек, часто построенных еще в начале века, отгороженных длинными деревянными заборами, в тишине, прерываемой лишь лаем собак, по деревенской немощеной улице слободы Казацкой, и беседуем, как некие древние греки, на ходу — дома мешают нам разговаривать родные — его и мои, — и я все более и более склоняюсь к его точке зрения на СССР, и это происходит постепенно, незаметно для меня. Юношеское сознание не объемно, оно не знает полутонов: где был плюс, там ставится минус, и наоборот. Социализм (вообще) — плох, капитализм — хорош, из всех стран на Земле самая прекрасная — Франция.

„Я ненавижу Гитлера, — говорит С. В., — потому что он хотел уничтожить Францию. Почитай-ка, что он говорил о французах! Черчилль тоже не хочет считать, что Франция — великая держава, он хотел бы видеть Францию униженной”. И он напевает: „Аллонз анфан де ля патри...”

В один прекрасный день он объявил, что не хотел меня до времени знакомить с еще одним нашим единомышленником, а теперь вот, считая меня своим, познакомит. И он свел меня с Г. Д. — парнем, который бросил школу после 7 классов:

его семье не хватало денег, и в 15 лет он вынужден был пойти на работу — на железную дорогу.

Г. Д. произвел на меня приятное впечатление: был он на три года старше меня и, хоть и бросил учиться в школе, тем не менее, на месте не стоял — читал книги, слушал иностранное радио... Мы с ним сдружились, даже более чем с С. В. Вскоре мы даже подтрунивали над чрезмерным франкофильством С. В. (хотя тоже любили Францию), над некоторыми его странностями, над крайней его осторожностью.

Опережая на десяток лет свое время, он боялся подслушивающих аппаратов, случайных (даже пьяных) прохожих: „Это агенты, они только притворяются пьяными”. Конечно, все эти страхи были тогда напрасны, Курскому УКГБ и во сне присниться не могло, что по этим тихим улицам ходят молодые потрясатели основ. Узнай это, они быстро прибрали бы нас к рукам.

Когда это все-таки случилось (через 2 года и не в Курске), они пытались объяснить наши „враждебные” взгляды „дурным” влиянием Запада. В Россию „крамола” всегда приходит с Запада. И сто лет назад власти так же объясняли взгляды народников-демократов и социалистов. Всегда „гнилой” Запад развращал передовую русскую молодежь. И опять же — эмиграция, „окопавшаяся” на Западе: в прошлом веке могли судить за распространение герценовской литературы, а сейчас непременно будут судить за распространение литературы Фонда имени Герцена в Амстердаме (а еще суровее — за издание „Посева”, „Хроники-Пресс”). Влияние Запада на нас троих, конечно, было. Каждый заключенный в тюрьме думает о воле, в этом смысле он находится под влиянием „воли”. По отрывочным сведениям из книг, кино и радио мы имели некоторое представление о Западе как об ином мире — мире изобилия и свободы, в то время как с детских лет нам вбивали в голову, что там — нищета и произвол.

Советская пропаганда после Сталина уже не утверждала, что у нас изобилие. Говорилось, что мы — на пути к изобилию, всегда в преддверии коммунизма. Но, по крайней мере, здесь

все наше: земля, фабрики, колхозы, каналы, — а „там” все принадлежит капиталистам, миллионерам и миллиардерам.

Во взглядах на Запад и на Россию мы, в общем, были близки к истине. Разве только Запад мы несколько идеализировали, а о Советском Союзе знали слишком мало, может быть, даже меньше, чем о Западе, как ни странно это звучит. Рядом с нами был страшный мир лагерей и тюрем, а мы ничего о нем не знали. Мы читали Гюго и Диккенса, но никогда не держали в руках Достоевского и Есенина. Мы знали имена всех маршалов Наполеона, но понятия не имели о Власове или о Бандере.

В нашей любви к Франции выразился, я думаю, отчасти и протест против советского режима.

Молодые люди часто нуждаются в кумирах. Для нас это были Сталин и Наполеон, для многих на Западе сейчас — Мао и Че Гевара или Элвис Пресли.

Однажды в коридоре Курского пединститута в 1955 году (я учился тогда в 9 классе, но в институт заходил часто: у меня были знакомые студенты, и вообще мне нравилось бывать там) я увидел студента, листавшего книгу на английском языке. Это уже показатель неординарности. Мы разговорились (я тоже изучал в школе английский), и через несколько минут он спросил меня, хочу ли я читать о Наполеоне. Выяснилось, что он тоже увлекается Наполеоном и этой эпохой, хоть и учится на отделении английского языка.

Этот студент был, как мне стало ясно позднее, тоже оппозиционно настроен, но мои попытки сблизить его с нашей тройкой были неуспешны: он боялся неприятностей.

Такая линия поведения (быть в оппозиции, но в одиночку, избегая выражения своей оппозиционности, сознательно не сближаясь с „так же мыслящими”) характерна для многих умных людей в СССР. Они намеренно осторожны, потому что не хотят потерять работу, попасть в тюрьму. И это им удастся. Они, как правило, имеют любимую работу и находятся вне подозрений КГБ. Но как им удастся молчать, когда хочется кричать и каким образом выдать себя, — мне неясно. Думаю, они неизбежно перерождаются в приспособ-

ленцев и конформистов.

У него дома было много книг. Там я впервые в жизни увидел дореволюционные издания Шопенгауэра и Ницше и взялся читать их. По молодости, я не понял ни того, ни другого, но помню чувство затаенной гордости от сознания того, что читаю запретную, проклинаемую литературу. Был у него еще журнал конца прошлого века с запомнившейся мне статьей „О гнилых идолах социализма”. В ней говорилось, что если социалисты придут к власти, то они станут эксплуататорами, и будет хуже, чем до этого. (Таким образом, Шафаревич имел единомышленников еще сто лет назад.)

Сдвиг в сознании советского человека от конформизма к критическому мышлению совершается не вдруг, не сразу, не как мгновенное религиозное озарение, но медленно, путем освобождения мысли от липкой паутины официальной идеологии. Только такой сильный толчок, каким был XX съезд, мог значительно ускорить процесс духовного освобождения среди некоторой части населения. Но прошло всего лишь несколько лет, и инерция этого толчка ослабла, и новое поколение уже не могло пережить этого плодотворного шока.

Я не могу с точностью назвать месяц и год своего „открытия мира”. Должно быть, это все-таки конец 1954 — начало 1955 года.

В это время раздвигается понемногу железный занавес, и в СССР начинают больше узнавать о внешнем мире. Люди начинают слушать западные радиопередачи на русском языке, в основном, по ночам, так как только ночью хорошая слышимость и „неслышимость”: ты слышишь больше, чем днем, а тебя слышат (слышат, что ты слушаешь) меньше — люди спят. Никто не знает, то ли это запрещено, то ли только не рекомендуется.

Вдруг выясняется, что можно писать письма за границу. Но разве это когда-нибудь запрещалось? Просто при Сталине твое письмо не шло дальше ближайшего УКГБ. При Хрущеве твое письмо, пожалуй, может дойти и в Лондон, и в Нью-Йорк, но в УКГБ все равно заведут на тебя досье — „связь

с заграницей". Но не каждое письмо дойдет и не каждое придет оттуда.

В эти же годы у нас стали появляться такие журналы, как *В защиту мира*, *Всемирные студенческие новости*. Это была узенькая щелочка в железном занавесе, через которую мы заглядывали на Запад. Я регулярно ходил в читальный зал Курской областной библиотеки, чтобы читать их. Конечно, интерес к такого рода периодике характерен для провинции. В столицах были большие возможности. Но у нас было только заглушаемое радио и эти прокоммунистические журнальчики.

И вот однажды я увидел во *Всемирных студенческих новостях* адреса для переписки. Я был заинтересован. Я выбрал итальянца Леонардо Маттиоли (как экзотично звучало это имя в Курске!) и написал ему. Он знал русский язык. Через 2-3 дня на мое имя пришло официальное письмо с местным штампом. По ошибке его вскрыл отец (у нас с ним совпадали имя, отчество и фамилия) и накинулся на меня чуть ли не с кулаками:

— Ты что, идиот, делаешь? Хочешь, чтобы меня из-за тебя посадили?

— Да в чем дело? — не понял я. — Что случилось?

— Ты зачем в Италию писал? На хрена она тебе? В лагерь захотел? — Теперь вот вызывают! — и он бросил мне то распечатанное официальное письмо.

Я прочитал: „Уважаемый тов. Вайль! По поводу Вашего письма в Италию просьба зайти ул. Ленина, 16, к начальнику отдела сортировки". Я стал вспоминать, что там — на улице Ленина, в доме 16. „Так ведь это же почтамт! — сказал я отцу. — Ничего страшного". Он немного успокоился, хотя и продолжал ворчать.

На другой день я пошел туда, и очень вежливый начальник отдела сортировки показал мне мое письмо в Италию: „Конверт немного грязноватый. Видите, здесь отпечатки пальцев. Мы должны отправлять за границу только чистые конверты. Вот вам марки, переклейте, пожалуйста". Я переложил письмо в новый конверт, надписал адрес, и письмо ушло.

Я получил на него ответ, и у меня завязалась переписка с Брежневой. Все письма доходили (политических вопросов мы не касались). Позже я завязал переписку с ровесником из Генуи, с парижским студентом, с неким индусом...

Однажды сидел у нас в гостях мой дед. Я в какой-то связи сказал ему, что получил письмо из Италии. Он уставился на меня:

— Как из Италии? С заграницей переписываться нельзя.

— Почему нельзя? Можно.

— Нельзя, — упрямо повторял он. — Это запрещено.

— Нет, можно, — сказал я и подал ему несколько писем в непривычно ярких конвертах с экзотическими марками.

Он долго вертел их в руках и рассматривал. И удивлению его не было конца.

Мнение о том, что за границу писать нельзя, существует в народе и в наши дни. В сентябре 1977 года в нашей деревне узнали о предстоящем отъезде нашей семьи из СССР. Приходили женщины, прощались с нами. И одна доярка, плача, сказала, обращаясь к моей жене:

„Говорят, Алексеевна, твоя сестра должна будет отказаться от тебя. И переписываться вам нельзя будет”.

Такова наша страна контрастов: один, живя в Москве, может напечатать свою статью в *Нью-Йорк таймс*, другой, живя в деревне, считает, что за границу к сестре нельзя послать письмо.

В последние годы власти, в общем, даже поощряли переписку среди школьников, но только со странами советского блока, предпочтительно Болгария, ГДР, Чехословакия (до 1968 года, конечно). Уже с Югославией переписка была не очень желательна.

Казалось бы, если следовать официальным лозунгам „Миру — мир” и „Дружба народов всех стран”, то международная переписка должна была бы всемерно поддерживаться. За границей больше становилось бы друзей Советского Союза и т. д. Но нет. Власти бояться не утечки правдивой информации из СССР (ее в письмах наших не было — кто захочет в тюрьму?), а непрофильтрованной информации

из-за границы и вообще влияния Запада и его идей на советских граждан.

В 1956 году девушка, сидевшая со мной в школе за одной партой (мы кончали 10-й класс), показала мне письма от молодого человека из Израиля, венгерского еврея. Он писал ей (по-русски), что не хочет служить в израильской армии, любит СССР и каждый день слушает передачи Москвы по-английски.

„Теперь представь себе, — сказал я ей, — что я напишу кому-нибудь за границу, что я не хочу служить в Советской Армии и каждый день слушаю „Голос Америки“. Что со мной будет?”

Полагаю, что ей самой такой вопрос не приходил в голову. Не каждый, кто голосует на митинге в защиту чилийских политзаключенных, задается вопросом: „А есть ли они дома, в СССР?”

Мы трое считали себя изолированным островом, т. е. мы не верили, что есть еще люди в Курске или в каком-нибудь другом городе, которые разделяют наши взгляды. Мы считали, что раз мы пробились к истине, то теперь наш долг открывать глаза и другим.

Однажды, когда мы прогуливались уже втроем, С. В. сказал:

— Пора. Мы создадим партию. Но сначала надо создать Центральный Комитет. Борис, — обратился ко мне, сколько человек в ЦК КПСС?

— Человек сто, я думаю, — ответил я.

— Ну, и у нас будет сто. А возглавлять ЦК будет пятерка: вот нас трое и еще двоих надо будет подыскать. Итого в ЦК будет сто пять человек.

Мы с Г. Д. отнеслись к плану создания партии скептически: уж слишком нереальное это было дело. Не потому, что нас всех быстренько пересажали бы — как раз об этом мы и не думали, — а потому, что где взять сто человек? А ведь для партии нужно больше! Но мы и не протестовали: возможно, нам льстило его предложение быть членами ЦК.

— Но само ЦК, — продолжал развивать свою мысль С. В., — не должно знать о существовании руководящей пятерки. ЦК руководит, но в самом ЦК руководит пятерка. Борис, сколько процентов евреев у нас в стране?

— Пять, — неуверенно ответил я.

— Ну вот, и у нас в ЦК должно быть не более пяти человек евреев. А в руководящей пятерке — ни одного еврея.

— А я? — спросил я. — Ты же сказал, что я в этой пятерке...

— Ну, ты — другое дело, — засмеялся С. В. — Какой ты еврей? Ты русский.

Таким образом, с организационным вопросом было покончено (а попутно был решен и „еврейский вопрос”), оставалось немного: найти двух человек (не-евреев) для пятерки и еще сто человек для ЦК. Сколько будет членов партии вообще — этот вопрос не возникал.

(Справедливости ради надо сказать, что разговор о партии был только один раз и больше мы к нему не возвращались. Но он по-своему симптоматичен.)

Но вот перейти от слов к конкретному делу нам давно хотелось. Какое же может быть конкретное дело у подпольной группы? Из всей прочитанной нами историко-революционной литературы (в основном — о подпольщиках-большевиках) явствовало: листовки.

Но как изготовить листовки? Пишущей машинки у нас не было и купить ее было невозможно — в Курске, насколько мы знали, частным лицам их тогда не продавали. Пишущих машинок и сейчас в Союзе неизмеримо меньше, чем на Западе, и все они зарегистрированы, т. е. каждая машинка имеет свой номер и шрифт, отличающийся от других. Так что, когда крамольная машинопись попадает в руки КГБ, им нетрудно найти машинку, на которой была изготовлена эта машинопись, и, таким образом, найти следы. Я вспоминаю, как, живя в Тобольске, мы имели молодого соседа а ля интеллигент. Однажды он попросил у нас машинку, чтобы помочь своей сестре напечатать „роман Шекспира”. Нам не удалось понять, какой именно роман и какого Шекспира. Мы и раньше подозревали его в равнодушии к нашей

жизни: слишком подробно расспрашивал он нашего 7-летнего сына о наших занятиях, друзьях и дарил ему шоколадки. И теперь мы догадались, что Тобольскому ГБ надо проверить шрифт нашей машинки. Возможно, ГБ изыало какой-нибудь самиздат, и они подозревали нас. Он отдал ее молча через несколько дней, о „романе Шекспира” больше не говорил.

А в Васильевском Смоленской области (1976 г.) к нам домой пришел председатель сельского Совета т. Шведов и прямо объявил, что райисполком (но райисполком ли?) требует снять образец якобы каждой машинки в районе.

В обоих этих случаях мы могли, конечно, отказаться и машинку не давать. Но поскольку мы действительно на этой машинке не печатали ничего „нецензурного”, то охотно давали ее любому. Тем не менее, я ругал жену за то, что она предоставила т. Шведову образец, — этого не надо было делать по принципиальным соображениям.

Госбезопасность потому периодически проверяет шрифты наших машинок, что мы ведь имеем возможность заменить полностью или частично эти шрифты.

В исторической литературе мы читали о подпольных типографиях, но это было не под силу нам в 1955 в Курске. Но в популярной книге о юном С. М. Кирове (*Мальчик из Уржума* А. Голубевой, много разных советских изданий), мы прочитали о гектографе, о том, что его просто изготовить (глицерин и желатин) и что с его помощью можно получить несколько сот копий. Но как мы ни вчитывались в эту книгу, мы не могли найти конкретных деталей: каково соотношение глицерина и желатина? Из чело делаются гектографические чернила?

Я пошел в областную библиотеку и взял несколько энциклопедий на „Г” и „М” (множительные аппараты). В Большой и Малой Советских Энциклопедиях всех изданий конкретные описания гектографов (а также мимеографов и шапирографов) отсутствовали. Зато в дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Эфрона все было расписано подробно! Хорошо было Кировым! Но они были не дураки —

научившись по энциклопедиям изготовлению листовок и придя к власти, они закрыли эту информацию, могущую теперь обернуться против них.

Итак: нужно было огромное количество глицерина. Купить глицерин можно в аптеке. И сразу мы оказывались перед той же проблемой, с которой столкнулся за 50 лет до этого „мальчик из Уржума”: как закупить в небольшом городе много глицерина, не вызывая подозрений со стороны продавцов? Действовали по книге Голубевой, по „методу Кирова”: ходили в аптеку, чередуясь, брали по 2-3 пузырька и за месяц-полтора накопили достаточно.

А текст листовки у нас уже был! Мы сочинили его однажды вечером в убогой каморке С. В. Я запомнил наизусть первые две фразы:

„Когда в октябре 1917 года международный авантюрист Владимир Ленин совершил государственный переворот, то к власти пришли большевики. Братская помощь иностранных держав была объявлена интервенцией...”

Безусловно, это больше похоже на сообщение исторического характера, чем на листовку. Информационная ценность первой фразы равна нулю: каждый знает, что большевики пришли к власти в 1917 г. Мы, значит, только переименовали революцию в переворот, а Ленина как бы походя уничтожали.

Вторая фраза также не несет никакой информации. Интервенцию предлагалось именовать „братской помощью” (как именуют большевики свою интервенцию в Польшу в 1939, в Венгрию 1956 и т. д.). Тут, конечно, сыграла свою роль и наша любовь к la belle France.

Не помню, что там было дальше, но, думаю, все в том же духе.

Мы долго обсуждали, где безопаснее распространять листовки. Я предложил оригинальную идею: накануне „родительской” разложить листовки на кладбище. Утром множество людей придут поминать родных (в этот день на кладбищах всегда многолюдно) и найдут на могилах листовки. Не помню, согласились ли со мной мои товарищи, но этот

вариант был наиболее безопасным. Ведь если даже по ночам опускать листовки в почтовые ящики, то легко можно столкнуться с кем-нибудь. На кладбище же ночью никого не бывает.

Конечно, мы не осознавали в полной мере, какую опасную игру мы затеяли. Госбезопасность не посчиталась бы с нашим возрастом, мы оказались бы в тюрьме. А какой эффект имела бы эта листовка для читателей? Теперь я полагаю, что никакой: слишком неактуальны и слишком неожиданны для жителя Курска 1955 года и „международный авантюрист” Ленин, и „братская помощь” Антанты.

Мы полагали, что госбезопасности ни за что не удастся найти нас. (А что вообще мы о ней знали?) Мы даже не представляли себе, что в 200-тысячном городе можно по почерку найти, в принципе, любого человека. Разве знали мы, что огромная карательно-сыскная машина имеет неограниченные денежные и технические средства и высококвалифицированных специалистов — в том числе и графологических экспертов? Ведь главное, с чем они боролись и борются, — это слово. Вот и научились они всем видам тайного подслушивания, анализу почерка, анализу машинописных шрифтов, перлюстрации писем... И поскольку они борются со взглядами и убеждениями, то и разработали (частично унаследовали из прошлого) целую систему психологического воздействия и „промывки мозгов”, цель которой — сломать человека духовно и нравственно, уничтожить его как личность.

Нам повезло, что мы не попали в тюрьму тогда, в 1955. Все обошлось благополучно, потому что С. В. вдруг стал проявлять некоторый страх (он и раньше был не свободен от него) и подозрительность. Однажды он попросил уничтожить листовку (я хранил ее у себя), а гектограф еще не был готов), опасаясь, что его якобы найдут „по стилю”.

„Я все свои сочинения в школе начинаю со слова „когда”, — сказал он. — И здесь вот тоже: Когда в октябре 1917 года...”

Я, однако, не сразу уничтожил текст, а только после неудачи с гектографом.

После того, как закуплено было достаточное количество глицерина и желатина, мы по всем правилам Брокгауза и Эфрона сварили гектографическую массу, но то ли чернила были неподходящие (о чернилах в энциклопедии мало говорилось вообще), то ли еще что, но хороших оттисков не получилось, и мы с Г. Д. оставили эту затею. С болью я наблюдал, как Г. Д. отдает гектограф своей собаке и та жадно пожирает сладкую массу.

Мы решили, что рано или поздно мы обязательно достанем машинку. У нас расширялся круг единомышленников, и соответственно расширялись наши возможности. Нас было уже не трое, хотя никакой „партии” не существовало. Был тот студент, который давал мне Ницше и Шопенгауэра. Была одна студентка, у которой я брал читать дореволюционное издание Бунина (после того как услышал его имя от Овечкина). Этим двум студентам мы о листовках не рассказывали, считая их еще не достаточно близкими.

Машинку мы так и не достали, а листовки — другие листовки! — распространили в Курске, независимо от нас, другие молодые люди — через 5 лет после описываемых событий. Им тоже было 18-19 лет. Их листовки (я еще расскажу о них) были машинописные, и разбросали они их не на кладбище, а в городском кинотеатре „Комсомолец” во время сеанса.

Мои друзья-студенты были, конечно, и старше, и умнее меня. Студентка спрашивала меня:

„Ну, хорошо. Вот ты все время хвалишь капитализм. Но как же быть с прогрессивными писателями? Я читала и Синклера Льюиса, и Драйзера, и других. Что же они все — врут? Почему там забастовки, например?”

Я пытался ускользнуть: забастовки, мол, доказывают только, что там есть демократия. (Ответ хотя и верный, но не полный. Она ведь спрашивала не об этом. Но я, конечно, не был готов отвечать на такие вопросы.)

Я не знакомил ее с С. В., но рассказывал ему о моих беседах с ней. Он захотел увидеть ее, и однажды он прошел мимо нас на улице (мы заранее условились с ним об этом). Потом он сказал мне:

— По-моему, она еврейка.

— Что ты! Я знаю ее отца и мать, их зовут Михаил Васильевич и Анна Ивановна.

— Нет, — возражал мне он, — я видел ее нос.

Поразительно, что тогда подобные высказывания не вызвали во мне ни протеста, ни ярости. Это потому, что сам-то я не был гоним. Позже, когда за своей спиной я услышу шипение „Жид! Жид!”, я действительно почувствую себя не только русским, но и евреем.

А однажды мы втроем открыли свое лицо перед секретарем комитета комсомола нашей школы! Он учился в одном классе с С. В., и мы его хорошо знали. Считая его вполне честным человеком, мы решили попытаться привлечь его на свою сторону. Мы были уверены, что если он и не будет согласен с нами, то, по крайней мере, и не выдаст нас. (Так и было.)

Мы пришли к нему домой и 3-4 часа беседовали с ним. Он был поражен! Он сказал, что подобные антикоммунистические мнения слышал иногда из передач радиостанции „Освобождение”, но чтобы в нашей школе, в его классе... Как ни была хорошо подготовлена наша атака (а мы к ней действительно хорошо подготовились, заранее учитывая возможные аргументы противника), секретарь остался верен официальным позициям. На прощание он сказал нам драматическим тоном:

„Хорошо. Я никому не расскажу о нашей беседе. Но запомните: в решающий момент я с оружием в руках буду против вас”.

Отношения у нас с ним оставались приятельские, но к этому разговору, естественно, больше не возвращались. Жалко, что во время XX съезда, когда я учился в 10-м классе, он уже уехал в институт в другой город и мы не могли скрестить шпаги на новом уровне.

Но именно в это время я сблизился с учеником параллельного класса Валерием Р. Оказалось, что он тоже близок к нам по взглядам. Его дядя в это время был реабилитирован и только что вернулся из лагеря, где провел 20 лет. Был он,

по словам Валерия, бундистом. Так на квартире Валерия я впервые в жизни (мельком, правда) увидел реабилитированного, да еще и бундиста (пришлось смотреть в словарях, что это такое — бундист). Валерий гордился своим дядей, повторял некоторые его изречения и не без его влияния сказал мне однажды с гордостью: „Я — социалист”.

Это меня удивило и озадачило. С. В., например, сказал однажды о себе: „Я — христианский демократ”. А этот говорит, что он — социалист. Социалисты, правда, это что-то близкое к коммунистам, но ведь это же хорошо, что они с нами! Я пытался склонить Валерия к активной позиции, к „борьбе”, но вся его оппозиционность не шла дальше общих разговоров. Постепенно наши пути разошлись. Я встретил его через 10 лет, он стал видным курским художником, писал портреты партработников, был в фаворе, имел даже машину. Он знал, что я только что из лагеря, и, видимо, очень боялся, что я стану вспоминать прошлое. Поэтому с места в карьер он забормотал, что вот, мол, мы ошибались в юности. Надо найти свое место в жизни, отказаться от заблуждений и так далее.

Так же себя повел и еще один приятель тех лет, Слава З., ставший начальником цеха. Пытаясь оправдаться то ли передо мной, то ли перед самими собой, они в то же время судорожно отрешивались от меня, как от чумного, разве что не убегая от меня на улицах Курска в 1965 году. Но не все были такими трусами.

Итак, круг наших единомышленников, хотя бы и столь широкого спектра — от демохристиан до социалистов, — в 1955-56 годах расширился. Подспудная мысль об организации всех этих людей не покидала нашу тройку. И все же заговаривать об этом с ними мы не решались. Хотя этот возраст — 16-18 лет — наиболее подходит для тайных организаций, клятв, уставов и конспирации. А потом — тюрьма, давление на неустойчивую юношескую психику, надлом, и — все тайное становится явным, и рассказывают даже о том, чего не мог знать никто... Сколько раз было так в русской истории и даже не только с юношами? Справедливости ради

скажем, что до 1917 года все-таки легче было перенести тюрьму и сохранить достоинство, никого не выдать, чем после Октября. Во всяком случае, на Ленина и его товарищей не оказывалось никакого психологического нажима на следствии (я уже не говорю о комфортабельных с советской точки зрения условиях заключения). Они могли отрицать обвинения, могли и отказываться от дачи показаний.

А мы даже и не знали, что у нас, обвиняемых, есть **право** молчать, право не отвечать на вопросы. В ряде западных стран следователь (или судья, или шериф) разъясняет обвиняемому (арестованному), что тот может, если хочет, не отвечать на вопросы. От нас же следователи требовали одного: „Говори как было! Говори правду!” или: „Чистосердечное признание влечет за собой смягчение наказания” (или даже освобождение!).

Одна из конкретных побед правозащитного движения в СССР состоит в том, что люди узнали о своем праве отказываться давать показания и стали это право реализовывать. И они отказываются помогать следствию не только в качестве обвиняемых, но и будучи свидетелями. Первым, насколько мне известно, отказался от дачи показаний Голомшток на процессе Синявского и Даниэля. Но до этого разъяснил юридическую сторону такого поведения Есенин-Вольпин. И власти, пока только в столицах, начинают привыкать к этому.

Но что мы могли знать о таких вещах в 1955-1956 годах? Мы и Кодекса уголовного не видели и в руках не держали, очень смутно представляли себе, что такое КГБ и чем оно занимается. Того реабилитированного бундовца я видел лишь однажды, а он, наверное, о многом мог бы рассказать... Как тут не вспомнить самиздатского стихотворения Ольги Берггольц тех лет:

О дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Тоски людской не исчерпали
В беззвездных топях Колымы...
... И молча, только тайно плача

Зачем-то жили мы опять.
Затем, что не могли иначе
Не жить, не плакать, не молчать.
Но если жгучего преданья
Дойдет до вас холодный дым —
Ну что ж, встречайте нас молчаньем,
Как мы встречая вас, молчим...

Когда через несколько лет власти захотят объяснить причину политического брожения 1956-57 годов, они свалят все на реабилитированных, на людей, отсидевших 10-20 лет в лагерях и в 1955-56 освободившихся. Реабilitированным власти никогда до конца не верили.

Люди, вернувшиеся с Архипелага и даже получившие назад партбилет, все равно были запятнаны в глазах госбезопасности и властей. На самом деле эти люди не оказали большого влияния на наше поколение, за некоторыми исключениями (Костерин, Якир, Копелев и др. относятся к последующему периоду). Их влияние было скорее косвенным. Во всяком случае, не будь их, движение 1956 года все равно существовало бы.

Наш интерес к политике возник спонтанно. Знаменательно, что еще в 9-м классе я и два моих одноклассника (никак не связанные с нашей подпольной тройкой; один из них был сыном майора МГБ) решили путем „провокационных вопросов” на уроках разоблачить ложь учителя истории СССР и учебников этой истории. Мы к каждому уроку готовили такой вопрос и распределяли, кто будет его задавать.

Помню несколько таких диспутов. Шла речь о завоеваниях Ивана Грозного. Вставал сын майора МГБ и спрашивал:

„В учебнике говорится, что выход России к Балтийскому морю был жизненно важен. Я не пойму: выходит, каждое государство имеет право захватывать чужую территорию, чтобы иметь выход к морю?”

Учитель, недавний выпускник Курского пединститута, молодой еще человек, начинал разъяснять, что Русское государство было молодое, ему, чтобы развиваться, нужен был выход к морю и т. д.

Тогда сын майора говорил, что он ставит себя на место народов Прибалтики и не может согласиться с тем, что они захвачены Россией.

Учитель в ответ объясняет, что для этих народов было благом оказаться под владычеством России, а не под властью „псов-рыцарей” и т. д.

На одном из следующих уроков вставал уже я и спрашивал, не является ли Богдан Хмельницкий предателем украинского народа.

Учитель аж вскакивал со стула и спрашивал, откуда я это взял.

Я доставал бумажку и зачитывал соответствующую цитату из довоенной энциклопедии.

— Это школа Покровского! — кричал учитель. — Эти взгляды осуждены советской наукой.

Класс любил эти диспуты: всегда ведь интересно, когда учитель бывает посрамлен школьниками.

На уроке литературы я спросил учительницу:

— Почему мы не проходим Достоевского?

— Достоевский — реакционер.

— А Писарев — тоже реакционер?

— Писарев? Нет, Писарев — не реакционер, но, понимаете ли, его взгляды и т. д. и т. д., — и она, бедняжка, выкручивалась как могла.

Мы ее любили, а к учителю истории испытывали смешанное чувство. Я думаю, если бы он откровенно сказал нам, что вынужден защищать, по долгу службы, официальные взгляды, то мы прекратили бы нашу травлю. Но, искренне или нет, он продолжал жевать жвачку учебника. В 10-м классе был курс советской истории (а в 8-9 — досоветской). Помню, я вызвал его на очередной бой:

„Вот вы сказали, что мы вынуждены были ввести наши войска в Прибалтику (речь шла о 1940 г.), чтобы обезопасить свои границы. Да, но после этого у нас появились новые границы, и, очевидно, нам надо было обезопасить и их? Почему же мы не пошли дальше?”

Не помню, что он отвечал, но я продолжал:

„Значит, любое государство, стоит ему захотеть обезопасить свои границы, может вводить войска в соседние страны?”

Как же это можно приравнять СССР в / „любим” государствам? Учитель был взбешен. Я думаю, что Михаил Абрамович Фенигштейн не хуже нас должен был понимать историю СССР. Или он только казался нам интеллектуалом, а на самом деле это была пустышка?

Третий участник нашей тройки по кличке Филя побывал на каникулах в Эстонии и привез оттуда массу впечатлений.

Он встал однажды и сказал учителю:

— Вот я был в Эстонии. Там люди живут — хорошо! Там нищих нету. Почему? И в магазинах продуктов много...

Фенигштейн нахмурился.

— Что за обывательские разговоры!

— Почему же обывательские? — возразил я ему с места.
— Мне кажется, в конце концов, все революции совершались для того, чтобы люди жили лучше.

— Это кулацкая философия! — завопил Фенигштейн. — Это философия сытого брюха!

Если уж Эстония казалась другой страной, отличной от России, то что говорить о настоящей загранице? У нас был в школе преподаватель Конституции СССР (был в те годы такой предмет в 7-х классах), веселый человек. 14-летним подросткам с трудом давалось понимание государственного устройства СССР, структура органов власти и их функции. Учащиеся безо всякого умысла перевирали и искажали букву и дух советских законов.

Помню, как он вызвал к доске моего одноклассника по теме „Указы Президиума Верховного Совета СССР”. Тот никак не мог объяснить, что такое „указ”.

Тогда Евгений Иванович предложил ему:

— Приведи пример Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Ученик полминуты мучительно думал и потом выпалил:

— Указ о смерти Сталина!

Или — спрашивает Евгений Иванович у другого ученика:

— Кому присягали советские воины во время Великой Отечественной войны?

Тот, не понимая значения слова „присягать”, отвечает:

— Немцам!

Евгений Иванович в таких случаях кричал:

— Еще один антисоветский выпад, и я удалю тебя из класса!

В 1954 году он исчез, и мы узнали вскоре, что он в Германии, преподает историю СССР детям офицеров советских оккупационных войск. Через год-два я шел с приятелем по Ленинской и столкнулся с Евгением Ивановичем. Оказывается, он приехал в отпуск. Тут же на улице он стал нам рассказывать о ГДР, и это интервью затянулось на 3 часа. Чувствовалось, что он был потрясен увиденным: культурой и уровнем жизни. Я думаю, теперь никакая пропаганда не смогла бы убедить его в том, что советская страна — самая процветающая (а он ведь сам был рупором этой пропаганды). Он теперь мог сравнивать, а рядовой житель нищего Курска — не мог: ему не с чем было сравнивать. Но, конечно, у милейшего Евгения Ивановича не зародилось и тени сомнения в том, что присутствие советских войск необходимо в ГДР.

Наша кампания острых вопросов к учителям достигла пика в марте 1956 года.

Что это был за год! И, как всегда, исторические события подкрадываются внезапно: кто мог, поднимая тост 31 декабря 1955 года, предсказать, чем ознаменуется 1956? Не так ли было и в конце 1916? Я сопоставляю эти две даты не без умысла. Не было в СССР в 1956 году ни переворота, ни революции, и если спросить рядового советского гражданина сейчас, 20 лет спустя, чем был знаменит 1956 год, то не каждый и вспомнит. И, тем не менее, была в 1956 году революция (или переворот, как угодно). Это была революция в сознании. Все в жизни осталось по-старому, ничего внешне не изменилось, даже Сталин продолжал лежать в Мавзолее. Но власть заставила (сама того, конечно, не желая) людей думать. Вчера она до небес вознесла Сталина, сегодня — при-

открыла завесу над преступлениями режима, который он возглавлял. И раньше бывало такое, что почитаемый, заслуженный руководитель оказывался вдруг бандитом, шпионом, врагом народа. Но Человекобог... „Имя-знамя"... Многие чувствовали себя одураченными. После такого открытия не хотелось верить будущим вождям. В наши дни встречаются партийные чиновники, которые рассуждают так: Сталин действительно был преступник. Но Хрущев сделал большую ошибку, что сказал об этом во всеуслышание. Не надо было будоражить народ. А теперь вот у людей каша в голове... Простые же люди сейчас бранят Хрущева: „За чем он обосрал Сталина?" (я уже писал о ностальгии по Сталину...).

Дискредитация Сталина означала и дискредитацию партии, строя, государства. Такого рода обобщения могли возникнуть в мыслящей среде. Но и в сознании любого простого человека, даже годами дежурившего у избирательных участков, чтобы проголосовать первым, неминуемо возникал комплекс вопросов, и первый вопрос был всегда и везде: „А где же были вы, сегодняшние руководители страны, где вы были раньше? Почему у вас хватило смелости критиковать Сталина только через три года после его смерти?" И этот кризис сознания рядового человека был началом процесса духовного раскрепощения, долгого, очень долгого процесса.

Толчок ему был дан сверху, XX съездом. Таким образом, это был „переворот сверху" (мой товарищ Р. П. сказал весной 1956: „Правительство идет впереди народа" — это было преувеличение, т. к. правительство сделало первый шаг и тут же ужаснулось его возможным последствиям). Если верна формула Ленина о революционных ситуациях („верхи не могут, низы не хотят"), то весной 1956, после съезда, имеем, грубо говоря, только половину ситуации: верхи не могут управлять по-старому. Частично удаляются старые кадры из органов госбезопасности, на свободу выходят сотни тысяч политзаключенных, несколько месяцев почти никого не арестовывают по знаменитой статье 58-10;

печатаются относительно смелые литературные произведения — однако в сфере экономики, к примеру, ничего не меняется (было постановление о запрещении труда женщин на подземных работах в шахтах, но оно совершенно не выполнялось). Но „верхи” вскоре смогли оправиться от растерянности и вернуться к старым испытанным способам и во внешней и во внутренней политике (Венгерские события, репрессии внутри страны). Однако никакие изгибы „генеральной линии” партии, никакие противоречивые заявления Хрущева уже не могли остановить начавшийся процесс критического осмысления режима в сознании людей. Никакие передачи „Голоса Америки”, никакие листовки групп, подобной нашей, не могли сделать того, что сделал Хрущев на XX съезде. Саморазоблачения всегда убедительнее, чем обличения со стороны.

После смерти Сталина ЦК КПСС начинает широко использовать прямую форму общения ко всем рядовым членам: это так называемые „закрытые письма ЦК КПСС”. ЦК рассылает их в обкомы партии, а те — в райкомы. Это документы, информирующие рядовых членов партии о каком-нибудь важном событии или о положении дел в какой-то отрасли экономики (чаще всего — в сельском хозяйстве), о международном положении. Первым таким „письмом” был документ, рассказывающий более подробно, чем в газетах, о „преступлениях Л. Берия”. Такие „письма” не публикуются, они предназначены только для партийцев. Такие „письма” зачитываются на закрытых партийных собраниях, иногда с последующим голосованием, одобряющим данный документ. В последние 10 лет эти „письма” в большой степени утратили свою „секретность”: многие факты и цифры из этих „писем” используются затем пропагандистами-лекторами на всех уровнях в их лекциях и докладах (такова сложившаяся практика, а не инициатива лекторов). Именно поэтому эти лекции партийных пропагандистов всегда интереснее и богаче фактами, чем любой, даже специальный журнал. Однако и здесь нет гарантии точности и правдивости информации: именно на таких лекциях можно услышать,

например, что Сахаров — еврей, или еще что-нибудь. Партия пользуется этим каналом связи с населением, чтобы „запускать” в народ определенные слухи, какие ей невозможно было бы внедрить через газеты.

Как видим, связь ЦК с партией через институт „закрытых писем” носит односторонний характер. И/естественно, что документ, принятый „вверху”, должен одобряться внизу. В 1956 я услышал, что какая-то парторганизация в Москве не одобрила решения XX съезда (не потому что была про-сталинской, а потому, что выразила недоверие Хрущеву как соучастнику сталинских преступлений). Об этой парт-организации какого-то института тогда рассказывали, что она была распущена и часть членов принималась в партию вновь. В 1977 я догадался, что речь шла о том научно-исследовательском институте, где тогда работал Юрий Орлов.

Само существование института секретных „закрытых” писем, как и понятия „партийная тайна”, которое фигурирует и сейчас, — противоречит программному тезису, что КПСС — „партия всего народа”. Официально предполагается, что народ еще не „дозрел” до той степени „сознательности”, которую-де имеют члены партии, и поэтому не может получать всю ту информацию, которую получают члены партии.

Штамп „секретно” стоял на том „закрытом письме” (т. е. „закрытом” докладе Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС), как и на всех последующих „письмах”. Означает ли это, что, ознакомившись с ним, партиец не имеет права рассказать о нем дома — беспартийной жене? Каковы вообще уровни и степени секретности?

Так или иначе, кое-какие отрывочные сведения из этих „писем” распространяются вопреки грифу „секретно”.

Итак, в марте 1956 года во всех парторганизациях зачитывается „письмо Хрущева” (как оно называлось в народе). По Курску только и шли разговоры, что об „этом письме”.

На партийных собраниях, где зачитывалось письмо, видимо, не предполагалось его обсуждение, и если оно все-таки обсуждалось, то стихийно.

В нашей школе на партсобрании завуч Прасковья Ива-

новна — строгая женщина, которую боялись не только ученики, но и учителя, — сказала о „письме“:

„Все это неправда. Я не верю Хрущеву. Я верю Сталину. Я крестьян в колхоз загоняла — пистолетом. Я голосую против“.

Очевидно, этот инцидент не дошел до вышестоящих инстанций, во всяком случае, Прасковья Ивановна осталась на своем месте.

Людей, защищавших Сталина „от Хрущева“, мне потом встречалось множество (даже и в лагерях), особенно в последние годы и особенно среди простых людей. Ругают Хрущева, ругают Брежнева и хвалят Сталина — в поездах, в очередях, в закусочных. Все чаще можно увидеть портреты Сталина у шоферов автомашин и автобусов — не в Грузии, а в глуши Смоленской губернии. Власти чувствуют, что такая позиция хотя вроде бы и оппозиционна, но по существу близка им. В этом сталинизме есть и патриотизм, и приверженность строю. В антисталинизме (даже медведевском) власти видят потрясение основ.

В марте 1956 года, по ночам, в Курске (как во всех городах и селах страны) свержались памятники Вождю. По ночам — чтобы не будоражить публику. Однажды вы приходили на наш огромный помпезный железнодорожный вокзал и в зале ожидания вдруг видели пустой постамент. А какой-нибудь скульптор-конъюнктурщик спешно изготовлял в это время Ленина — с вечно вытянутой рукой, — которого и водружали на вакантный пьедестал, тоже без излишнего шума и без разрезания красных ленточек.

В целом настроение людей было в пользу новых перемен, и наша Прасковья Ивановна была исключением. Но люди в тысячу первый раз задавали в частных разговорах и на собраниях все тот же наивный вопрос: — Почему только теперь?

Наша школьная тройка получила теперь карты в руки, причем козырные, хотя текст доклада нам был известен только отрывочно и в пересказах не из первых рук. И мы, вооруженные новыми данными, начали торпедировать всех

преподавателей. Они выкручивались кто как мог.

Помню, в один день я вел себя особенно активно. После урока истории, где мы наслаждались уже подобным поведением историка, я спросил преподавателя логики:

„Если у нас существовала диктатура Сталина, то логично ли говорить, что у нас была диктатура пролетариата?“

Он тоже ничего членораздельного ответить мне не смог.

Однако после уроков меня вызвали к директору школы. Я ожидал разноса.

Директор наш занимал несколько лет назад должность зампреда облисполкома, впал в немилость и был разжалован в директора школы (частый случай для провинившихся партийных лидеров областного масштаба). Говорили, разжаловали его „за превышение власти“. Он заулыбался, увидев меня:

— Говорят, вы спрашиваете насчет Сталина? Почему не разоблачили культ личности раньше?

— Да, — ответил я.

— Понимаете, — говорил этот седовласый человек, наставник юношества, — партия не могла пойти на это при Сталине. Необходимо было сохранить партийные кадры. Ведь что стало бы с тем, кто посмел бы тогда выступить против Сталина? Но партия **должна была** сохранить ценные партийные кадры. Сами понимаете, их уничтожили бы.

Он считал, что втолковал мне все необходимое. Он не укорял меня за мои вопросы. Но он, видимо, полагал, что теперь я перестану их задавать, раз уж я все понял. Я рассказал своим друзьям о беседе с директором, и мы продолжали, уже опираясь на высказывания директора, досаждать Фенигштейну.

Однажды — кажется, в апреле — по Би-Би-Си я услышал сообщение, что экзамен на аттестат зрелости по истории СССР в данном, 1956 году будет отменен. Это было естественно, так как сшибка разных толкований истории была не под силу не только школьникам, но и взрослым. Я сообщил об этом учителю на уроке (ведь это касалось именно нас, выпускников, и все одноклассники были в восторге!),

скрыв источник своей информации. Фенигштейн был крайне удивлен и отрицал саму возможность этого.

„История СССР — важнейший предмет, — заявил он, — по нему непременно должны экзаменовать!”

Через несколько дней он сказал, что был в РОНО и что там ничего не знают об этом.

Прошло еще дней десять, и он пришел на урок возбужденный: „Экзамен отменяется!”

Так впервые я понял, что на Западе знают об СССР больше, чем мы сами. Даже о таких мелочах, как экзамен по истории СССР. И что эта информация с Запада в основном надежна.

Незадолго до окончания 10-го класса у меня состоялся последний поединок с учителем истории. Я не помню, что я спросил в этот раз, но помню, что он мне отвечал (дело происходило на уроке, все внимательно слушали). Он говорил:

„Послушайте, Вайль, что я вам скажу. В 1947 году я учился в Курском пединституте на историческом факультете. И вот один студент спросил преподавателя: „В 1937 году Карл Радек был приговорен к 10 годам заключения. Сейчас 1947 год. Где сейчас Карл Радек?” Знаете, Вайль, что было с этим студентом? Его исключили из института. Так вот, я говорю вам: прекратите ваши вопросы! Неужели вы не понимаете, что ваши вопросы могут привести вас только в тюрьму?”

Его пророчество вскоре сбылось (не прошло и года).

В середине марта 1956 года мой друг, работавший на железной дороге, сказал мне, что из Грузии пришел поезд с разбитыми окнами, что там — восстание!

Мы, естественно, не знали никаких подробностей, советская печать и радио, естественно, ни словом ни обмолвились об этом. Только из передач радио „Освобождение” и „Голос Америки” мы узнали, что там все началось с демонстрации студентов против свержения памятников Сталину.

Географическое положение Курска таково, что через него проходят почти все поезда из Грузии и Армении в Москву. И вот примерно 10-12 дней эта коммуникация оказалась

блокированной: во второй половине марта поезда не ходили в Закавказье.

Я специально позвонил в справочное бюро станции Курск и сказал, что хочу, дескать, ехать в Ереван. Каким поездом мне ехать? Я отлично знал, каким поездом мне ехать. Я знал, что существует прямой поезд Москва — Ереван через Тбилиси. Более того, я уже ездил им. Однако неуверенный женский голос предложил мне ехать в Ереван через... Баку (как если бы из Берлина в Париж через Рим). Других возможностей пока нет, сказали в справочном бюро.

Что на самом деле произошло в Грузии? Почему было нарушено железнодорожное сообщение? Почему войска, стоявшие в Армении, были переброшены в Грузию? Не знаю, когда мы узнаем об этих событиях во всех подробностях.

Позже через Курск проследовал эшелон с арестованными грузинами. Их везли в „телячьих вагонах”. В железнодорожных документах значилось: станция отправления Тбилиси, станция назначения — Воркута. Полагают, что там могло быть до тысячи человек. Видимо, попали они все в уголовные лагеря. Но, когда мы говорим, что до осени 1956 года „почти” никого не судили по политическим мотивам, мы должны иметь в виду и этих людей: они-то ведь не уголовники. Так что это „почти” должно значить тысячи?!

Я думаю, что национальное движение в Грузии приняло тогда фантастическую просталинскую форму из-за своей незрелости. Позже в лагерях я встретил молодых грузинских интеллигентов: их уже не прельщала фигура мертвого диктатора, они мыслили европейскими категориями...

Между тем я оканчивал школу и надо было решать, кем быть. Еще в 4-м классе я услышал магическое название: Институт международных отношений. Институт, который готовит дипломатов! И я мечтал о нем 7 лет. Я не знал, не понимал, что это один из закрытых привилегированных вузов, где учатся, в основном, дети партийной элиты. Что туда мне заказана дорога уже только по одному тому, что моя фамилия — Вайль (а не Иванов). Что в этот институт

вообще не принимают, а **направляют**.

Позже я узнал, что выпускники этого института далеко не всегда становятся дипломатами (тем более, есть ведь еще Высшая дипломатическая школа МИД СССР). Некоторые из них работают переводчиками на Московском Радио, вещающем на разных языках, и довольны этим, т. к. это еще не худшее.

Сдав экзамены на аттестат зрелости и получив серебряную медаль, исполненный самых радужных надежд, я поехал в Москву.

Москва всегда ошарашивает провинциалов. Я бывал там и раньше, туда ездили иногда мои родственники, и все всегда отзывались о Москве как о шумном бестолковом городе, где всегда могут обокрасть и надуть, где люди вечно бегут и на ходу читают газеты и жуют пирожки и никто тебе никогда не покажет, как пройти к нужной тебе улице. Но мне нравилась Москва — многолюдьем, чистотой на улицах по сравнению с грязным Курском, величию памятников и соборов и особенно своим метро. В метро я готов был кататься целыми днями.

В 1956 я узнал, что московский Кремль открыт для публики. Я был там, но в Мавзолей не попал — не захотел стоять в длинной очереди.

Между прочим, меня как и всех других провинциалов, мучала в Москве проблема уборных. В те годы (да и сейчас) в Москве было очень мало общественных туалетов. Москвичи, очевидно, знали, где они находятся, а приезжие часто мучительно мыкались по улицам столицы в поисках укромного местечка, и вот уже никакие красоты тебя не радуют, ты бегаешь по Москве из двора в двор, из улицы в улицу, и со всех сторон на тебя смотрят окна домов, и нет самой захудалой дощатой уборной, какую в Курске можно найти за любым домом. (Так наши провинциальные недостатки превращаются в наши преимущества.) У них же в Москве уборные — в домах. И что же делать приезжему?

Я в таких случаях вспоминал, что есть общественная

уборная недалеко от Мавзолея, почти что под Кремлевской стеной. И вот останавливаю такси: „На Красную площадь!” Вот и площадь, вот и долгожданное облегчение... (Можно еще бежать в ГУМ, но там надо искать — по стрелкам-указателям.)

И вот я нахожу Крымский мост и возле него — улицу Метростроевскую, а там заветный ИМО — Институт международных отношений (несколько лет твердил я этот адрес: Метростроевская 34). Вахтер в форме сидит за столиком у дверей, требует документы. Показываю паспорт, говорю: „Хочу поступать в этот институт”. Забирает паспорт, пропускает. Ищу приемную комиссию. Мне разъясняют, что экзамены уже кончились.

— Как кончились? Они же в других вузах еще не начались?

— А у нас уже кончились!

— Да, но мне, возможно, не надо сдавать экзаменов, я ведь медалист.

— И медалистов набрали. И вообще — у вас есть направление-характеристика?

— Какое направление?

— Направление райкома партии или райкома комсомола.

— Но я об этом не знал.

— Ну, вот видите. Да, кстати, у вас все в порядке?

— В каком смысле?

— Учтите, у нас тут все данные проверяются. У вас никто из родственников не сидел в тюрьме?

— У меня сидел отец. Но он сидел по „бытовой” статье, знаете, за халатность, и по амнистии 1953 года у него судимость снята.

— О вашей учебе здесь не может быть и речи, я вам откровенно говорю.

— Но ведь это уголовная статья, а не политическая.

— Это не имеет значения. Я вам прямо говорю: вас не примут.

Я вышел из ИМО пришибленный. Первый раз меня хорошенько стукнули по голове. Наивность, оправдываемая только возрастом: говорить о фашизме, а самому надеяться — имея отца, в прошлом судимого — поступить в институт,

где готовят дипломатов.

Я шел по Москве и думал: как же это? Во-первых, они уже не принимают, во-вторых, принимают только с направлениями, в-третьих — не принимают родственников судимых... А ведь отец говорил мне при прощании: „Будут спрашивать, где я был во время войны (такой вопрос был во всех анкетах), говори: был на ДВК (Дальне-Восточный Край), говори, что был там вольнонаемным, никогда заключенным не был — тем более, я теперь действительно как бы и не судим, смотри”, — и он показывал мне вырезку из газеты с текстом амнистии 1953 года.

Но соответствующие органы можно ввести в заблуждение ненадолго. То, что ты, абитуриент, скажешь или напишешь в автобиографии, будет тщательно проверяться. И снятие судимости судимость не зачеркивает — об этой юридической диалектике я узнал позже.

Был в Москве еще один интересный институт — брат ИМО — Институт внешней торговли. Я не пошел туда, т. к. узнал, что туда тоже необходимо направление райкома. Как это невинно звучит: внешняя торговля! Но не будем забывать, что советские таможенники — эти расчетливые садисты, послушные подручные КГБ — относятся к ведомству внешней торговли и заканчивают, вероятно, этот институт.

У меня свежо в памяти, как целые сутки заставили они нас сидеть в Шереметьево (октябрь 1977) в ожидании „досмотра” своих чемоданов. А наши товарищи по несчастью — прибалтийские немцы, вылетающие навсегда в ФРГ, — всей семьей, вчетвером, ждали этого часа несколько суток. Ведь без „досмотра” нельзя улететь.

И еще один эпизод этого дня, похожий на кошмарный сон: при „досмотре” личного багажа одной женщины, летящей в Израиль через Вену, не нашлось документа „на право провоза” долларов, полученных перед этим в советском банке в обмен на рубли. На этом основании таможенники конфисковали доллары у этой женщины. (А у эмигранта нет ничего, кроме этих несчастных зеленых бумажек.) Как она плакала, как металась! До отлета остаются минуты,

она твердо знает, что бумажка где-то здесь, и снова и снова просит таможенников пересмотреть свои и ее документы. Наконец, бумажка нашлась. Она действительно смешалась с деловыми бумагами таможенников. Вся в слезах женщина спешит к самолету.

Какие страсти разгораются сегодня в Шереметьево, Чопе, Бресте?

И я решил ехать из Москвы в город, где я никогда до этого не был, о котором много слышал, в город, окутанный романтической дымкой, — в Ленинград.

Трудно объяснить, почему в Ленинград, а не в Воронеж, где и конкурс, наверное, был меньше, и к дому ближе. Но я ведь знал, что в Ленинградском университете есть отделение испанского языка. И почему-то я решил заранее: не поступлю в ИМО — поеду в ЛГУ, на испанское отделение. Во-первых, тянуло на что-то романтическое. Во-вторых, кто-то из взрослых сказал: „Сейчас начинают развиваться отношения с Латинской Америкой. Скоро потребуется много знатоков испанского”. Нам, абитуриентам, не приходилось тогда задумываться, что мы будем делать после окончания университета с нашим испанским или с французским. Теоретически мы уже знали, что большинство выпускников этих отделений идут простыми учителями в школу, притом преподают там не испанский или французский, а немецкий или английский. Но мы-то надеялись, что станем если уж не дипломатами, то хотя бы переводчиками. Побываем за границей: в Испании, в Латинской Америке... Конечно же, мы и отдаленно не представляли себе, какие фильтры надо пройти для такого рода работы.

А насчет ИМО позже я узнал, как там производится набор кандидатов в студенты: представитель этого института ездит по областным центрам (был и в Курске), заходит в обком комсомола и спрашивает там, кого они могут откомендовать из „лучших” комсомольцев. Ну, а в обкоме всегда знают, кто „лучше”: сыночек какого-нибудь босса. Затем эти „рекомендованные” приезжают сдавать экзамены.

2. ЛЕНИНГРАД

С первого взгляда Ленинград мне не понравился. Я шел возле университета по набережной, смотрел на Неву, на мачты кораблей, на дымящиеся трубы, и какая-то тоска брала меня. „Что они нашли хорошего в этом городе? — думал я. — Все его хвалят, восхищаются им, а тут пронзительные гудки, чадно, работают краны... ничего сказочного, все буднично”.

Меня поселили в общежитии университета на Васильевском острове, где жили и абитуриенты, и студенты физического факультета. В первый же день вечером я пошел гулять, и вдруг какое-то необъяснимое чувство охватило меня. Я совершенно не мог понять, какое это было время дня. Мне сказали, что уже десять. „Белые ночи” — вот в чем была загадка этого фантастического освещения, этого внезапного выпадения из времени. И со своими коллегами по общежитию, тоже провинциалами, я все ночи напролет гулял по светлому ночному городу, впитывая в себя этот странный призрачный свет и влюбляясь все больше и больше в этот таинственный город, который только с первого взгляда казался таким простым и обыденным.

В этом общежитии каждую ночь были танцы. Делалось

это тайком от коменданта, ибо, конечно, нарушало все существующие законы и предписания. Начинались танцы в 12, а то и в час ночи и кончились под утро, часов в 5, т. е. танцевали мы как раз в то время, когда комендант спал. Там была радиола, были пластинки: танго, фокстроты, вальсы (рок-н-ролла там еще не было, но уже слышали о нем). Для нас день и ночь поменялись местами. Утром ложились, вставали днем. Не раз комендант общежития, появляясь в наших комнатах днем, недоумевал, почему это мы в постелях. И, конечно, какая там подготовка в экзаменам: только старый багаж знаний мог выручить. На испанское отделение сказали мне, конкурс большой, и медалистам необходимо было сдавать русский письменный (сочинение) и иностранный язык (а тем, у кого не было медали, надо было сдавать пять экзаменов).

Но, вырвавшись из-под родительской опеки на волю, в город белых ночей и ночных (но целомудренных!) танцев, будешь ли думать о сочинении, о пресловутых „образах молодогвардейцев” или о Чичикове — „подлеце-приобретателе”?

Идти куда глаза глядят по набережным, одни названия которых звучат как музыка (Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова), видеть, как колышется багровый закат в темной воде, наблюдать, как разводят мосты, голодному и усталому прийти в общежитие и попасть здесь на танцы, а где-то под утро распахнуть двери балкона и увидеть на востоке огромное алое солнце — разве в 17 лет не переживаются такие дни и ночи как счастье?

Но — нет, это потом, вспоминая все это в каменном мешке, в бессоннице и отчаянии тюрьмы, понимаешь, что вот когда оно было — счастье... А ты и не сознавал тогда, не ценил эту прекрасную жизнь, эту возможность ходить куда хочешь, видеть закаты и восходы, танцевать, обнимать девушку... (Но пройдет еще 30-40 лет, и ты, быть может, эту жизнь в удушливом каменном мешке будешь вспоминать как нечто притягательное — ты был молод, полон сил и надежд, рядом, в соседней камере, были надежные друзья, за

которых ты был готов отдать жизнь... Так всегда относительно наше понятие счастья, и таковы аберрации памяти.)

Познакомившись с Достоевским уже в тюрьме (по до-революционным изданиям), я поразился, как глубоко и тонко чувствовал этот человек обаяние Петербурга. Или Блок:

В те ночи светлые, пустые,
Когда в Неву глядят мосты...

Но в тюрьме все мои воспоминания о любимом городе, естественно, обострились и рафинировались.

А тут, наяву, надо было идти на экзамен. И вот наступил день, сочинение написано, потом прихожу узнать: „удовлетворительно” (т. е. тройка). Это известие сразило меня. „Удовлетворительно” — это значит прости-прощай университет (и Латинская Америка). Ведь только пятерки по обоим экзаменам открывали нам двери в университет. Но я никогда не писал сочинений на тройку! Я достаточно грамотно пишу, я не верю, что у меня могли быть ошибки! Я иду в приемную комиссию и прошу показать мне мое сочинение, чтобы я мог знать, какие я допустил ошибки. Но они отказываются. Они „не практикуют этого”. Все обстояло так, что им необходимо было **отобрать** несколько человек из нескольких десятков. На испанское отделение в тот год принимали человек 12, из них для медалистов резервировалось 3-4 места, а нас было очень много. Так что приемная комиссия могла ставить тройки кому хотела... И — без контроля. Я не уверен, что фамилия моя сыграла роковую роль, но, может быть, и так. Ибо и в те годы (но и позже) существовала негласная инструкция ограничивать прием евреев в вузы (а в некоторые — совсем не принимать...). Но поскольку в экзаменационном листке, в отличие от паспорта, национальность не указывается, то приемная комиссия должна ориентироваться на фамилию, на имя, на внешность...

Я забрал свои документы и стал размышлять: куда же теперь. У меня было время: приемные экзамены для медалистов еще шли, а на общих основаниях — еще и не начались.

Какой-то черт дернул меня пойти в здание неподалеку от

университета — Академию Художеств. Здесь, в институте им. Репина, был факультет истории и теории искусств. И я пошел туда и узнал, что мне как медалисту экзаменов держать не надо, но будет собеседование, и очень строгое. Будут проверять твои познания в области живописи, скульптуры и архитектуры. Будут спрашивать, какие книги по искусству ты читал. Экзаменаторы — сами авторы многих книг и статей и хотят, чтобы абитуриенты называли именно их работы.

Времени на подготовку у меня было очень мало. Хотя я мог продолжать жить в университетском общежитии (скрыв тот факт, что забрал документы из университета), все же я решил перейти в общежитие института им. Репина, чтобы общение с художниками и искусствоведами помогало мне. Я перебрался в общежитие на набережной лейтенанта Шмидта — в какой-то бывший генеральский дом, где были лепные каминные в комнатах, лабиринты узких коридоров и где без конца я слушал споры о Брюллове, Врубеле, Грабаре... И эти дни мне многое дали. Я ходил в Эрмитаж, я просматривал брошюры и солидные труды — но в целом разве мог я ответить на вопрос: почему я хочу сюда? Мы ведь привыкли к тому, что в институт надо поступать. В какой — это менее важно. Да и родители моих сверстников гордились, если их дети поступали в вуз, особенно столичный. Непоступление в институт рассматривалось (да и сейчас оценивается) как некая неполноценность.

Опытные ребята поясняют мне: экзаменаторы будут интересоваться, из какого города я приехал. А так как они знают картинные галереи во всех крупных городах, то они обязательно будут расспрашивать о них. Какие художники? Какие картины? Или вот, например, знаю ли я, кто изваял Медного Всадника? А кто построил Казанский собор? Все это будут спрашивать.

Будут также показывать открытки с репродукциями картин, и нужно будет назвать автора и картину.

Главного экзаменатора фамилия Твелькмейер, его помощницы — Каганович, и это вроде бы дочь Лазаря Кагано-

вича. Вот где бы достать и почитать их труды, чтобы завоевать их расположение?

И вот я вхожу в один из залов Академии Художеств. Передо мной за несколькими сдвинутыми столами группа мужчин и женщин — экзаменаторы. Высокий лысый в очках приглашает меня садиться. Это и есть Твелькмейер. Спрашивает, давно ли я в Ленинграде. Что мне здесь нравится? Какие здания? Я знаю, что тут надо держать ухо востро: надо называть те здания, стиль архитектуры которых можешь определить, а архитекторов назвать. Я перечисляю: Казанский собор, Адмиралтейство, Исаакиевский собор... Про Исаакиевский собор тут же уточняю, что он мне нравится, несмотря на то, что в одной книге его стиль назван упадочническим. Они переглядываются, спрашивают, книгу какого искусствоведа я имею в виду. Я не помню фамилию.

Твелькмейер кладет передо мной открытку с бюстом Ленина. Спрашивает, кто автор. Я смотрю на сахар белого мрамора и не могу ответить. Мало ли было, этих бюстов: в каждом городе, в каждом музее.

— Не помните? — спрашивает Твелькмейер ласково. — Совсем не помните?

Я потираю лоб и молчу.

— А ведь это Андреев! — торжествует он. — Теперь вспомнили?

— Конечно, вспомнил! — восклицаю я. — Как же это я мог забыть?

Он кладет передо мной открытку с „Бурлаками”.

— Это „Бурлаки на Волге” Репина, — говорю я и радуюсь простоте задачи.

— Да, — говорит Твелькмейер, — вот и расскажите нам, что вы видите на этой картине.

— Как что? — недоумеваю я. — Бурлаки тянут баржу по Волге.

— Так, — говорит экзаменатор. — Дальше...

— Ну, вот они тянут баржу... Им тяжело...

— Так, дальше.

- Усталые люди...
- Дальше.
- Измученные люди...

— Неужели вы, кроме измученных людей, ничего на картине не видите? — негодует симпатичная брюнетка, видимо, она и есть дочь Кагановича. (Чего они от меня хотели? Услышать о вере бурлаков в „светлое будущее“?)

— Нет, — отвечаю я, — вижу. Вот, например, на переднем плане — молодой человек. Он впервые в этой упряжке. Видно, что он еще не так согнулся, как другие. (Память подсказывает мне карикатуру из *Крокодила* трехлетней давности: лакеи буржуазии тянут баржу с надписью „американский империализм“, а Тито — как раз этот молодой человек, новичок в этом деле.)

Видимо, они поняли, что о „Бурлаках“ я не смогу рассказать им что-нибудь интересное, и стали показывать другие репродукции. Одни я угадывал, другие — нет. Через полчаса я вышел оттуда и в тот же день узнал, что я попросту „провалился“. Удар был не таким сильным, как в университете, я спокойно забрал документы и снова стал думать-гадать, что же делать дальше.

Среди абитуриентов я знал уже нескольких, кто поступал со мною в университет и не поступил, кто поступал со мной в Академию Художеств и тоже провалился. Все мы были медалистами и провинциалами, все не хотели возвращаться домой с пустыми руками. О разных вузах мы говорили. Был даже разговор как-то о „Школе поваров торгового флота“. Кто-то говорил, что после нескольких месяцев учебы их посылают плавать за границу. Однажды в какой-то столовой напротив меня обедал морской офицер. Я стал спрашивать его об этой школе.

— Не советую, — сказал он. — Знаете, кок на корабле самый последний человек. Плохо приготовил обед — побьют. Моряки, они такие. А вы что, наверное, хотели бы побывать за границей?

— Да, — признался я.

— Но ведь это и не так просто, даже если станете хорошим

коком. Родственники у вас не были судимы?

— Отец судим по бытовой, но судимость снята по амнистии.

— Ах вот оно что? — воскликнул он. — Но у меня — точно такая же картина. Да я уже десять лет во флоте, и разрешают только малый каботаж. За границу не пускают, как ни добиваюсь.

Мы стояли — трое или четверо неудачливых абитуриентов — и обсуждали, что делать.

— Есть тут в Ленинграде такой лесотехнический институт. Туда, говорят, медалистов без экзаменов принимают, — сказал один.

— Нет, — возразил другой. — Там экзамен по профилирующей дисциплине, т. е. по физике. Я уже был там сегодня. Но дело не в этом. Знаете, куда их посылают после окончания этого института?

— Не знаем.

— Их посылают в Сибирь или в Коми — к заключенным, на лесоповал! А заключенные, сами знаете, могут и убить, им все равно терять нечего. Некоторых они пропустили через пилорамы — представляете?

Перед такой мрачной перспективой мы невольно содрогнулись.

Однако куда же поступать?

Как воспользоваться своим преимуществом медалиста?

Кто-то сказал, что в Ленинграде осталось только три вуза, куда нам, медалистам, можно еще поступать без экзаменов: это санитарно-гигиенический, педиатрический и библиотечный институты. Естественно, из этих трех я предпочел бы библиотечный.

Ленинградский библиотечный институт — это комплекс из двух смежных знаний между Кировским мостом и Марсовым полем в самом центре города. Здесь до октября 1917 размещалось британское посольство, здесь Брюс и Локкарт, как известно из любого советского учебника

истории, „плели свои интриги против молодой советской республики”. А в начале прошлого века здесь танцевал Пушкин. Роскошь былых времен не совсем исчезла из этого здания: античная лестница с Аполлоном и Афродитой; зеркала в позолоченных рамах в тех залах, где, видимо, вручались верительные грамоты; огромная туалетная посла, где теперь была уборная директора института и где одинокий стульчак возвышался, как трон в пустом зале.

В приемной комиссии библиотечного института меня встретили доброжелательно. Мне и раньше приходилось слышать, что в такие институты поступают, в основном, девушки, поэтому парни здесь высоко котируются и им, при прочих равных условиях, отдается предпочтение (негласно, конечно, но все это прекрасно понимали).

„Медалистов мы уже набрали, — сказали мне, — но у нас ведь с ними собеседование. И далеко не каждый успешно его проходит. Так что ваши документы мы берем, но условно. Как только кто-нибудь из медалистов провалится, вы сможете стать абитуриентом, и мы пригласим вас на собеседование. Зайдите денька через два”.

Я зашел через два дня, и мне сказали, что несколько медалистов „отсеялось”. Одна девушка, например, неправильно ответила на вопрос, сколько союзных республик в СССР (их стало в тот год на одну меньше — Карело-Финская союзная республика стала автономной, а она этого не знала).

Собеседование было „по общему развитию”, и вопросы могли быть самые разные. Но я не боялся вопросов. Тем не менее, я принял твердое решение скрывать, что мой отец был заключенным: мои приятели-абитуриенты, уже опытные в подобных вопросах, предупредили меня, что этот пункт может стать решающим.

И вот — кабинет директора Библиотечного института имени Крупской Скрыпнева. Я сижу перед приемной комиссией. Рядом с хромым Скрыпневым — парторг института Водянников, серьезный человек с пристальным взглядом, несколько деканов.

— Вы уже поступали в другие вузы? — спрашивает Скрып-

нев, перебирая мои документы и опытным взглядом замечая отметку университета на одном из них.

— Да, я поступал в ЛГУ.

— Почему не поступили?

— Получил по сочинению тройку.

— На какую тему писали?

— „Социалистический реализм — основной метод советской литературы”.

— Ну и что вы писали? — спрашивает парторг. — Расскажите нам о социалистическом реализме.

Я бойко перечисляю пять пресловутых черт соцреализма, они довольны.

— Тут один поступал к нам из Москвы, — говорит Скрыпнев. — Начитался поляков, так, видите ли, отрицал соцреализм. Есть, говорит, один реализм — реализм без прилагательных. Ну, вклеили двойку — так ездил жаловаться на нас в Министерство культуры. А что в министерстве? Конечно, согласились с нами. Умник какой нашелся!

Я молчу.

— А вы к нам хотите поступать, наверное, только потому, что в университет не поступили? — спрашивает Скрыпнев. — Ну, по совести?

— Да нет, — говорю, — я всегда любил книги. Да вы можете спросить в Курской областной библиотеке у такого-то (называю громкую в Курске фамилию, на которую реагирует один из деканов), они меня там хорошо знают.

— Ну, хорошо, — говорит Скрыпнев, — вот вы тут в автобиографии пишете, что во время войны ваш отец был на ДВК. Это на Колыме, что ли?

— Да, — говорю я, — на Колыме.

— Заключенным? — спрашивает Скрыпнев.

— Да нет, — вру я не моргнув, — вольным.

— Значит, не заключенным? — впивает в меня свой взгляд парторг Водянников.

— Да нет, вольнонаемным, — повторяю я.

Они еще спрашивают о чем-то, а затем, посоветовавшись, подают мне листок бумаги:

— Вы приняты.

И я выхожу в коридор к своим волнующимся коллегам (с некоторыми из них я поступал вместе в университет, с одним — в институт Репина), и они обступают меня:

„Ну? Как? — вертят бумажку мою. — Смотрите: с общежитием!“

И верно, я зачислен с общежитием. А ведь это большое счастье. Не каждый студент в этом институте получает общежитие (мест в общежитии не хватает, особенно девушкам). В таком случае приходится снимать койку частным образом, то есть взять адреса в административной части института, поехать с ними по городу и договориться с хозяйкой одного из адресов о том, что в одной из комнат одна из четырех, скажем, кроватей будет моей. Я могу здесь жить, но... я должен экономить электроэнергию, керосин (если буду готовить еду сам, на хозяйском керогазе), не приходить поздно. Рядом со мной, на трех других кроватях, будут жить мне подобные студенты. За это мы должны будем ежемесячно платить хозяйке 200-300 рублей каждый. Это дорого, не каждой семье под силу. Не думаю, что мои родители были бы способны платить такую сумму за меня. Но общежитие снимает все проблемы!

30 августа я приезжаю в институт, и меня ведут в общежитие. Это в подвальном помещении самого института: узкие коридоры, вонь, свет в комнаты проникает только через зарешеченные оконца, расположенные на уровне ног пешехода. Словом, сырое подземелье. Но что же здесь было раньше? Жили ли здесь лакеи посла или, может быть, хранились продукты?

В комнате 111, где я теперь буду жить, — десять коек. Есть комнаты поменьше — на шестерых, на четверых. Но там живут те, кто уже заканчивает наш институт. А сначала надо пожить вот в такой большой комнате. Но разве это много — десять человек? В женском общежитии (в мансарде нашего здания) комнаты и на двадцать человек, и больше.

Утром — очередь в туалет...

И все равно, это замечательно — жить в таком общежитии,

быть студентом этого института! Я не сразу оценил и прелесть нашей 111-й, прозванной за сор и неуют „ночлежкой”. А с какой любовью я вспоминал ее потом, в тюрьме: каждого товарища-сожителя, наши споры и всю нашу голодную и веселую жизнь.

То ли тридцатого, то ли тридцать первого августа всем нам приказали выйти на Дворцовую набережную, каждому дали какой-то трехцветный флажок — флаг Индонезии, как оказалось. В этот день проезжал мимо нашего института президент Сукарно, и я впервые мог участвовать в церемонии приветствия высокого гостя. Студентов расставлял и вообще „командовал парадом” парторг Водянников.

В ожидании Сукарно я болтал со своим товарищем:

— Какой-то Сукарно, — говорил я. — Это же ведь не коммунист. Он же буржуазный деятель. А мы должны его приветствовать.

Водянников слышал это (я и рассчитывал на это) и повернулся ко мне:

— Вы неправильно понимаете. Да, он буржуазный демократический деятель. Но мы должны сотрудничать со всеми, кто против империализма и за мир.

В нашей „ночлежке” были студенты и со старших курсов, и кто-то из них рассказал однажды, что Водянников при Сталине работал следователем КГБ, а после хрущевской чистки его перевели к нам парторгом. Этот случай был типичным: скомпрометировавшие себя палачи шли на партийную и преподавательскую работу или становились начальниками отделов кадров.

Деканом нашего факультета была женщина по фамилии Кригер, реабилитированная и недавно вышедшая из лагеря (она сидела по так называемому „ленинградскому делу”). У Кригер на запястьях были какие-то темно-синие пятна, в институте говорили, что это следы от наручников — от них невозможно избавиться.

21 марта 1957 года Ленинградское УКГБ запросило в институте характеристику на меня. „Характеризовать” меня

должна была Кригер. Ее характеристика была сугубо отрицательной. Я думаю, любой опытный руководитель (и уж тем более побывавший в лагерях КГБ) прекрасно понимал, что значит запрос КГБ о ком-нибудь. Это могло означать лишь одно: этого человека собираются арестовать. Положительная характеристика если и не спасала от ареста, то, во всяком случае, давала адвокату подсудимого возможность просить смягчения наказания. Однако Кригер была, видимо, до такой степени напугана (а свой относительно высокий пост ей, конечно, не хотелось терять), что подписала бы, наверное, требование о моем расстреле, если бы это понадобилось КГБ. В характеристике, которую я увидел позднее в своем деле, она писала, что я плохой студент, опаздываю на занятия и так далее. Как обычно в таких случаях, документ заканчивался словами: „Характеристика выдана для представления в органы КГБ”.

Таким образом, бывший палач и бывшая жертва мирно работали на высоких постах в одном институте. Они оба помогали, как могли, КГБ в деле искоренения „крамолы”: после моего ареста они собирали кмпрометирующие материалы против моих друзей и изгоняли их из института. Ведь тот факт, что у них под самым носом возникла тайная организация, а они об этом ничего не знали, несомненно свидетельствовал об утрате ими „политической бдительности”. Вот они и старались показать свою лояльность и, более того, свое рвение.

Больше других получил нагоняй от КГБ директор института Скрыпнев. Когда после моего ареста мой отец приехал из Курска, чтобы забрать мои вещи и узнать, за что я арестован, то Скрыпнев выгнал его из своего кабинета:

„Я из-за вашего сына получил такую нахлобучку! И слышать о нем не хочу!”

Через 8 лет после этого, уже выйдя из лагеря, я сделал отчаянную попытку восстановиться в этом институте. Но секретарша Скрыпнева, которая помнила меня по 1956 году, мягко предупредила меня:

„Он очень зол на вас до сих пор. И не думайте поступать

сюда снова, пока он жив”.

Ей-Богу, я против Скрыпнева лично никогда ничего не имел. Но вот, оказывается, портишь нервы, карьеру и жизнь людей, совершенно не предполагая об этом. Так было несколько раз со мной в 60-70-е годы: кто-то не получил повышения по службе, кто-то не получил квартиру — а все из-за того, что был в хороших отношениях со мной.

Со Скрыпневым же я никогда практически не контактировал, но ведь он был мой шеф, а шеф несет ответственность за политическую благонадежность подшефных.

Через несколько дней после того, как мы продемонстрировали на улицах Ленинграда свою любовь в Сукарно, парторг вызвал меня к себе в кабинет. Вообще когда за кем-нибудь из студентов приходил посыльный в общежитие или в аудиторию и говорил: „К директору” или „К парторгу”, то, естественно, тот начинал испытывать страх и спрашивал себя: „За что? В чем провинился?”

Так было не только в нашем институте и не только в учебных заведениях.

Известно, что начальство вызывает, в основном, для того, чтобы распекать подчиненных. И поэтому, когда идешь к начальству, невольно перебираешь свои поступки, заранее готовясь найти им оправдание.

Думаю, западному человеку не совсем понятна роль и функция парторгов в советских учреждениях, на фабриках и в колхозах. На крупных предприятиях, каким считался наш институт, имеются так называемые „освобожденные” парторги, то есть они, кроме своей партийной работы, ничего не делают. Зарплату они получают в райкоме партии, а не на данном предприятии. Парторги являются полномочными представителями КПСС на данном предприятии. Считается, что предприятие не может нормально функционировать, если нет партийного контроля над ним. Парторг обязан следить за идеологической и моральной стороной жизни сотрудников учреждения, доводить до них очередные партийные установки, проводить политическую учебу. Но его функции не

исчерпываются идеологией: он обязан также контролировать деятельность предприятия в целом, выполнение им плана. Парторг, наконец, возглавляет партийную организацию предприятия.

Я спрашивал крестьян деревни Васильевское Смоленской области: „Зачем нужен парторг совхозу? Что он делает?“ Они не могли мне ответить. Однако они настолько привыкли к существованию самого института освобожденных парторгов, что сомнения в необходимости „Константиновича“ (так звали того парторга) не возникает.

Итак, я был вызван на беседу к парторгу библиотечного института Водяникову. Предложив мне сесть напротив него, он начал издали: о моих родителях, о Курске. Потом сказал, что уверен, что я — настоящий комсомолец. Глаза у него были холодные, взгляд пристальный. Целеустремленность и собранность в походке и в движениях.

— То, что я вам скажу, — продолжал он, — пусть будет между нами. Здесь у нас в институте — и не только в нашем институте — иногда можно услышать антисоветские разговоры. Проявляются иногда чуждые, нездоровые настроения. И вот я хотел бы, чтобы вы сообщали нам, если услышите что-нибудь подобное.

Вот оно что! Ну и ситуация. Как же выкрутиться? — носилось у меня в голове.

— Но я полагаю, — сказал я вслух, — что таким настроениям и высказываниям нужно давать отпор, спорить с этими людьми, переубеждать их...

— Да, — сказал он, — это, конечно, так. И все-таки будет хорошо, если вы нам будете рассказывать об этом.

Знал бы он, кого агитирует! Во мне все пело: ведь это так интересно — ввести врага в заблуждение, дезориентировать его, почувствовать себя разведчиком! Я согласился. Он не просил от меня никакой подписки. Но, если бы даже нужно было дать подписку, думаю, я дал бы ее.

Тогда я не понимал, что подобное двусмысленное поведение может плохо кончиться, что самое лучшее в таких слу-

чаях — отказаться сотрудничать с ними. Тогда они начинают осознавать, что есть люди, которые их не боятся. И такой отказ (отказ от доноительства и предательства) становится большой моральной победой. Ничего такого я тогда не думал. Я пообещал заходить к нему, если буду иметь что сообщить, зная заранее, что никогда не приду сюда без вызова и никогда ни на кого не донесу.

Я понимал, что мой отказ был бы расценен как нелояльность и само мое пребывание в институте было бы в этом случае поставлено под сомнение. На это они всегда делают ставку и почти всегда выигрывают.

Но не это двигало мной, когда я соглашался. Желание перехитрить, одурачить врага было главным мотивом.

Позже я узнал, что Водянников имел целую сеть своих осведомителей в институте. Но, кроме этих „партийных” стукачей, в институте были и агенты КГБ, в том числе и среди студентов.

Представляла ли агентура Водянникова уникальный случай? Или она типична для крупных предприятий? Может быть, Водянников, оказавшись не у дел в КГБ, решил создать свое частное, институтское КГБ, где он мог бы применить свои знания и навыки в области контроля над мыслями? Было ли это его хобби или он имел задание свыше? Как бы там ни было, в тот период его сеть оказалась недейственной: они не раскрыли нашу группу. КГБ сумел заслать к нам своего человека, а Водянников так ничего и не знал.

Вскоре я забыл об этой беседе с Водянниковым, много новых и интересных встреч и событий отеснили до поры до времени в дальний угол памяти эту беседу.

Мне нравился институт, студенты, наша комната в общежитии, сама атмосфера нашей жизни, голодной, но одухотворенной.

С материальной точки зрения жизнь рядового студента тогда действительно была голодной. Стипендия наша была на первом курсе 200 рублей в месяц. Нужно учесть, что стипендию получали далеко не все, а только те, кто каждый семестр сдавал экзамены без троек. Из этих 200 рублей 10

или 12 рублей удерживали за общежитие, несколько рублей нужно было отдать на комсомольские и профсоюзные взносы. Таким образом, „чистыми” мы имели около 180 рублей. Скромный обед в скромной столовой стоил 5-6 рублей. Значит, на эту стипендию можно было питаться только один раз в день.

Однако для студентов в студенческих столовых существовали так называемые абонементы на комплексные обеды. Уплатив приблизительно 120 рублей в месяц, ты получал книжечку с талонами и ежедневно рассчитывался не деньгами, а талонами за обед.

Большинство так и делало. Конечно, комплексный обед — не сахар: он не предполагал выбора. Сегодня щи, котлета (где мяса — не больше 30 процентов, остальное — хлеб) и чай. Завтра — рассольник, рыба с картошкой или капустой и кисель. Послезавтра начнутся повторения. Сварено все это было невкусно: недосолено, переварено... И несытно. Через час после такого обеда мучительно хотелось есть снова. Мы проклинали эти обеды, но... каждый месяц снова покупали эти абонементы. Потому что, купив заранее такой абонемент, ты знал, что не умрешь с голоду. А если ты его не купил и носил стипендию в кармане, то всегда был соблазн истратить ее на что-нибудь другое: вино, книги, кино... Уплатив 120 рублей, ты заранее отрекался от всего этого. В противном случае ты немедленно залезал в долги. А выбраться из них без помощи со стороны невозможно. Некоторые прибегали к такому методу: занимали деньги у одних, чтобы отдать другим. И в результате были всегда кому-нибудь должны.

После приобретения абонемента у тебя оставалось еще 60 рублей, которые ты мог тратить на хлеб и молоко, которыми мы завтракали и ужинали.

Я не смог бы жить на одну стипендию. Мне присылали деньги из дому: каждый месяц сто рублей. Таким образом, мой бюджет составлял 280 рублей. 120 рублей из них я тратил на месячный абонемент в столовой, остальные 160 — на завтраки и ужины, на кино и театры, на транспорт и почту.

Разумеется, мне катастрофически не хватало, я должен был постоянно экономить на еде и был постоянно голоден.

Тем не менее даже и без денег умереть с голоду было нельзя: во-первых, можно было пойти к девушкам-однокурсницам и попросить у них что-нибудь поесть (девушки были хозяйственнее и экономнее). И во-вторых — в те благословенные времена хлеб в столовых был бесплатный: всегда на каждом столе стояла тарелка с нарезанным хлебом. И ты мог, уходя с обеда, взять (утащить?) несколько ломтей с собой. Улучив минутку, когда на тебя не смотрят, ты клал на свои тетради (тетради были с тобой, потому что ты прямо с лекций бежал сюда, в столовую: очень хотелось есть) несколько кусков хлеба, затем закрывал их другими тетрадями и, зажимая все это в руках, быстро уходил. Или можно было поставить портфель возле себя открытым и невзначай бросить туда несколько кусков.

(Теперь, примерно с 1961 года, за каждый кусок хлеба в столовых надо платить.)

Студенты-ленинградцы не имели таких проблем, они питались дома. Были и такие студенты из провинции, которые получали большие, чем я, суммы от родителей. Но были и такие, которые вынуждены были жить на одну стипендию, не получая поддержки со стороны. Были, наконец, и такие, которые не получали стипендии вообще. Некоторые из них, постарше, становились альфонсами. Но мой уровень был приблизительно средним: перманентное полуголодное состояние и столовский хлеб как частичное решение проблемы.

Время от времени мы пытались организовать „коммуны”: несколько человек складывали свои стипендии вместе, и каждый по очереди был „кашеваром”. Тогда мы не ходили в столовую, а сами готовили нехитрые и недорогие блюда: вермишель, картошку, суп. Но эти „коммуны” всегда существовали недолго. Обыкновенно внутренние раздоры раскалывали их. Да и немудрено: сколько голов, столько и мнений. И не каждому хочется возиться с приготовлением пищи. Или очередной „кашевар” готовил настолько невкусно, что после 2-3 таких обедов и следующих

за ними скандалов бросал все и заявлял о своем выходе из „коммуны”.

У девушек же „коммуны” были более стабильными, хотя и у них не все проходило гладко.

Больше всего денег тратилось в день получения стипендии. Во-первых, в эти дни в коридоре института появлялись люди, сидевшие за столиками и продававшие билеты в театры и в кино. Разве можно было не взять билет на спектакль Московского театра сатиры „Баня” (по Маяковскому)?! Думаю, это был один из лучших спектаклей тех лет. Или на фильмы итальянских неореалистов, которые шли тогда в кинотеатре „Великан”?

И ты шел в театр, а вечером после спектакля шарил по тумбочкам в поисках завалявшегося кусочка хлеба. Но — увы! — все уже было съедено твоими сожителями, и ложиться спать приходилось голодным, с медным вкусом голода во рту.

А утром мы обыкновенно не завтракали: и некогда было — каждый хотел подольше поспать, потому что ложились поздно, всегда после 12, и денег не было. Значит, надо было ждать конца лекций (они заканчивались в 3 часа дня) и бежать в столовую занимать очередь за комплексным обедом.

Вторая статья расходов в дни получения стипендии — вино. Часто „скидывались на троих”. На Невском проспекте впервые продавались коктейли (в тот год эти слова только входили в употребление в столицах — коктейль, бар, рок-н-ролл). Коктейль стоил 8-9 рублей, и, конечно, соблазн был велик. Коньяк, водка и шампанское были тогда дешевы, но мы чаще покупали дешевое вино, дешевую колбасу, маргарин. В этот день мы поистине пировали! Зато в последние дни перед стипендией, даже всю последнюю неделю, приходилось голодать.

Как это ни парадоксально звучит, в тюрьме КГБ на улице Воинова я питался значительно лучше, чем на воле в Ленинграде. 700 граммов хлеба и горячее два раза в день — это все-таки более весомая основа для питания, чем пресловутый комплексный обед. Ну, а с того дня, когда друзья стали

носить мне передачи: масло, сахар, колбасу — были же такие либеральные времена, когда все это можно было получать в тюрьме еженедельно! — мой рацион приблизился к среднему советскому уровню. Правда, молока, фруктов, овощей у меня не было.

Были у студентов и другие статьи расходов: баня, стирка белья, парикмахерская. В моде была укладка феном, и мы порой не жалели на это 10 рублей. Сейчас рубль стал в десять раз „тяжелее”, но эта же укладка стоит не один рубль, а два-три рубля.

Все эти расходы вроде бы незначительные, но при нашей мизерной стипендии и они были ощутимы.

Если у студента была возможность пообедать в гостях у родственников или друзей, то, конечно, он эту возможность использовал. У меня были в Ленинграде родственники моей мачехи, и, когда голод угрожал мне, я шел к ним в гости на обед. Обычно это было по воскресеньям. Они ждали меня в этот день.

Очень скоро я узнал, что в Ленинграде существует Эсперантистское Общество (Esperanto-Sekcio). Об этом международном языке я слышал еще в детские годы в Курске, а теперь смог легко получить их литературу, быстро освоить основы языка. Мне нравилась сама идея международного языка, и вскоре я занялся пропагандой его.

В России эсперанто был популярен еще до революции. Может быть, потому, что создатель языка доктор Заменгоф жил в Варшаве. После революции эсперанто был взят на вооружение Коминтерном. Идея мировой революции и идея мирового языка связывались в сознании тех коммунистов, которые не были заражены шовинизмом. Выходил журнал *Красный эсперантист*, масса книг на эсперанто, существовали и эсперантистские организации.

Сталину, как и Гитлеру, эсперанто показалось чуждой и космополитической идеей. Мысль, что какой-то иной язык — не русский и не немецкий — будет международным, не могла быть одобрена ни тем, ни другим. Оба они фактически

запретили эсперанто, а эсперантистов уничтожили.

Типичная судьба советского эсперантиста старшего поколения — в романе В. Максимова *Карантин*. Лидеры эсперанто были расстреляны, другие же сидели по лагерям. В течение двадцати лет эсперанто изучали только в лагерях. После смерти Сталина и последовавших за этим реабилитаций, уцелевшие эсперантисты (в основном это были члены партии, восстановленные в ней после лагеря) легко заинтересовали молодежь этой идеей. В Москве и в Ленинграде, в Прибалтике возникают эсперантистские общества и кружки. Ни одно из них не существовало легально, т. е. они возникали явочным порядком, обыкновенно при каком-нибудь Дворце Культуры или университете. Их не запрещали, но и не регистрировали как официальную добровольную организацию с программой и членством (как, например, Красный Крест). Неосуществленной мечтой эсперантистов было (и остается до сих пор)* — всесоюзная организация и всесоюзный журнал. Сколько было послано петиций и обращений в ЦК КПСС и в правительство на эту тему! И подписывались они, как правило, членами партии и вообще людьми вполне лояльными.

Молодые энтузиасты международного языка собирались тогда на Петроградской стороне, в Доме Культуры Промкооперации. Их собирали „старики”, вышедшие недавно из лагерей и пронесшие через 20 лет „истребительно-трудовых” свою мечту о языке, который сплотит все народы в дружную семью.

В советской прессе в то время начинают появляться благожелательные отзывы об эсперанто. При Сталине *Большая Советская Энциклопедия* в статье „Всемирные языки” назвала эсперанто буржуазно-космополитической утопией. При Хрущеве та же энциклопедия в статье „Эсперанто” уже

* В марте 1979 Всесоюзная организация эсперантистов наконец-таки была разрешена. Она будет существовать под эгидой ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Союза обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. И, разумеется, под негласным контролем КГБ.

благосклонно отзывалась об этой попытке. Позже было издано несколько книг, словарь, но власти не пошли-таки на разрешение организации: им чудился здесь подрыв государственных устоев. Ведь эсперантистом считается тот, кто не только знает, но и употребляет эсперанто. Употребление же ему можно найти, в основном, в переписке. Вот и начинают советские люди писать за границу, получать оттуда письма, то есть расширяются нежелательные, с точки зрения властей, контакты.

Да что там эсперанто! Долгие годы коллекционеры марок добивались разрешения создать собственное общество и издавать свой журнал. Понадобилось около 15 лет для того, чтобы на это было получено разрешение. Сейчас это общество существует при Министерстве связи СССР и им контролируется.

Итак, я стал посещать кружок эсперантистов на Петроградской Стороне. Вскоре, усвоив предельно легкую грамматику и необходимый минимум корней слов, я решил в своем институте создать кружок эсперанто. Институтское начальство не протестовало: раз в неделю мне разрешали пользоваться пустующей аудиторией. На первые занятия собиралось до 100 человек, но постепенно число энтузиастов падало: изучение каждого языка — это труд, и, как бы ни был этот язык „легок”, он все-таки требует затраты сил. Падение продолжалось, пока не достигло 10-15 человек. Я учился этому языку сам и одновременно учил других, что невозможно ни с каким другим языком, кроме эсперанто.

Интерес к эсперанто был связан с возрастающим интересом к Западу вообще. После смерти Сталина „железный занавес” приоткрылся, и мы жадно интересовались: что там, за ним?

Иностранцев легко было выделить из толпы: они были изысканнее и ярче одеты. На фоне тусклых расцветок и однообразных форм зауженные брюки и туфли на толстой подошве казались молодежи знаками другого, более яркого и привлекательного мира. Иностранцев часто окружали толпы: расспрашивали о жизни „там”, о заработках, о ценах.

Не верили, удивлялись, восхищались и в то же время беспокойно оглядывались по сторонам: не заберут ли?

А то ведь при Сталине думали, что с иностранцами вообще запрещено беседовать. Оказывается — можно! Можно говорить, если есть кому переводить, можно потрогать его костюм, попросить у него сигарету.

Я помню, каким волнующим событием был для нас визит шведских и английских военных кораблей в Ленинград в 1956 году. Сколько молодых людей начинало тогда вынашивать планы бегства за границу! Казалось нам, чего проще — проникнуть незаметно на корабль и спрятаться там. Мы тогда не подозревали, что могут предпринять в таких случаях капитаны кораблей или дипломаты. Молодым людям казалось: стоит им только объяснить, что они хотят на Запад, как западные люди, и официальные лица прежде всего, кинутся им помогать. Никто даже не допускал, что их могут выдать советским властям... Но среди нас эти планы бегства не шли дальше неконкретных разговоров, вздохов. И только позднее (в лагере, а не за границей) я встретил тех, кто пытался реализовать свои планы.

Про шведов говорили, что они отказались пришвартоваться напротив Медного Всадника. Не могли якобы простить ему Полтавской победы.

Как бы там ни было, интерес к этим кораблям был всеобщим. Иностранцы, в свою очередь, расспрашивали нас, и здесь уже приходилось оглядываться по сторонам с удвоенным беспокойством. Ведь ясно, что если я расспрашиваю иностранца, то я не несу ответственности за то, что он скажет. Но если он спросит, почему в СССР только одна партия, то, видя, как все переглядываются, я должен буду пробормотать что-нибудь вроде: „Нас устраивает одна партия, нам других не нужно“, чтобы не привлечь к себе внимания осведомителей. Я говорю здесь о стихийных беседах на улицах, когда иностранцев окружало 10-15 человек и один из них брал на себя миссию переводчика.

Разговаривал я тогда же с чехами, делегация которых состояла сплошь из активных членов их комсомола. И меня

поразила их раскованность, когда они могли без всякого страха спрашивать: „А у вас джаз был запрещен при Сталине?“

Мы поражались их рассказу о том, что в Чехословакии в праздничные дни всегда висят советские флаги и исполняется советский гимн. Впервые тогда я поставил себя на место чехов (поляков, венгров): а что если бы в нашей стране гимном исполнялся „Deutschland, Deutschland über alles“, а главные решения принимались бы не в Москве, а где-нибудь в Берлине?

В те годы Восточная Европа стала нам значительно ближе. Множество студентов из Польши и Албании обучалось тогда в Ленинградском университете. Я не говорю о китайцах и монголах, мало с кем из них удалось установить тесный дружеский контакт.

Поляки в Ленинграде были неким бродильным элементом. И вообще именно Польша приковывала той осенью взоры мыслящих людей в СССР. Я помню, как был популярен у нас совершенно официальный журнал *Польша*, дававший тогда интересную и необычную, с советской точки зрения, информацию.

Из Польши шла критика соцреализма, и имена Яна Котта, Пшибося и Флорчака были у нас на устах.

Правда в октябре 1956 года грубо напала на этих критиков, а тем самым и на ту власть, которая позволяет печатать такие крамольные статьи. Статья в *Правде* вызвала еще больший интерес к Польше, к Котту и Пшибосю, и проблемам соцреализма. (А отсюда до критики режима, санкционировавшего только один вид реализма — официально-помпезный соцреализм, — было рукой подать.)

Мне помнится, что термин „сталинизм“ пришел к нам в то время не из-за океана, а из Польши (которая, возможно, получила его из Югославии). Поначалу новый термин казался непривычным, резал слух. „Ленинизм“ — это обычно, понятно, а „сталинизм“ — необычно, непривычно. Некоторые говорили „сталинщина“...

Безусловно, термин „сталинизм“ нес в себе большой

агитационный смысл, звал к размышлению. На официальном советском языке то же самое явление стыдливо именовалось „культом личности Сталина”. Термин „сталинизм” был куда более выразителен и энергичен. И если понятия „социализм” и „культ личности” официальная пропаганда как-то примиряла, то соединить „социализм” и „сталинизм”, „ленинизм” и „сталинизм” казалось невозможным. Вот почему советская пропагандистская машина всячески от этого термина уходила.

Преподаватель истории КПСС в нашем институте Никитин не скрывал своего негативного отношения к Сталину (сам он специализировался на биографии Ленина). Чувствовалось, что не любит Сталина он не потому, что теперь такова официальная установка. Такова была его собственная, выношенная им точка зрения.

Однажды я принес на семинарские занятия сталинский *Краткий курс* — книгу, как казалось несколько лет назад, вобравшую всю мудрость века. Когда он увидел ее у меня в руках, раздражению его не было предела.

В другой раз он сказал нам: „Приезжали товарищи из Польши (имелись в виду его польские коллеги по изучению биографии Ленина), мы с ними много спорили. Они все говорят „сталинизм”, „сталинисты” — разве можно такое говорить? Мы всегда были ленинцами. Польские товарищи ошибаются”. Ему был неприятен и даже обиден этот термин, да еще из уст своих коллег. Он искренно подменял это понятие понятием „культ личности Сталина и последствия”.

Если каждый термин несет в себе определенную концепцию, то в термине „сталинизм” заключалось скрытое противопоставление Ленина — Сталину, „социализма” — „сталинизму”. Как бы ни было свежо и полезно это понятие в то время, вскоре оно обнаружило свою теоретическую недостаточность. В самом деле, Сталина уже не было на свете, когда советские войска подавляли венгерское восстание. Можно ли считать этот акт проявлением „сталинизма”? Этот термин не годится для постижения сути социальных и политических процессов в Восточном блоке, не представляется мне глубоко-

ким. В наше время, 20 лет спустя после описываемых событий, только еврокоммунисты и братья Медведевы могут еще всерьез оперировать этим термином.

Не более удачен и другой термин, прилагаемый к советскому строю еще со времен оппозиции 20-х годов, — „бюрократический”. Бюрократизма было много и в царской России. А если исходить из теории Макса Вебера, то нам еще далеко до подлинного бюрократизма... Бюрократизм по Веберу — это механическое выполнение инструкций, это принцип „не глядя на лица”. Так работает автомат, наливающий кофе каждому, кто бросает в него монету. Советская государственная машина руководствуется совсем другими принципами. Кроме того, бюрократия ценит в работнике пригодность, советская же система — преданность партии. „Преданность” и „верность” — категории феодальной эпохи, возрожденные тоталитаризмом.

В эти годы молодые думающие люди очень страдали от того, что западные источники информации были недоступны. Но газеты и журналы восточноевропейских стран всегда можно было купить в Москве и Ленинграде. Эти люди увидели, что восточноевропейская пресса не идентична советской, что в ней можно найти откровенный анализ общественной жизни, борьбу с догматическими канонами, много информации, отсутствовавшей в нашей прессе. И вот, чтобы можно было читать эти газеты, эти молодые люди начали изучать польский и сербский языки. Они переводили отдельные статьи из польских и югославских газет и распространяли их среди друзей и знакомых. (Через 12 лет эти люди будут изучать чешский и переведут на русский *2000 слов* и статьи из *Литерарных листов*.) Восточная Европа стала нам ближе именно через таких людей, взгляды которых квалифицировались властью как „ревизионизм”. (Это словечко замелькало в газетах в 1957-1958 годах, когда шла ожесточенная полемика с Югославией.) От них мы узнали и о тех же Котте и Пшибосе еще до статьи в *Правде*, о Лешеке Колаковском и газете *По просту*, о статьях Карделя, Тито и Тольятти (*Униту* эти люди тоже читали).

Вот портреты трех таких людей. Все трое принадлежат, условно говоря, к старшему поколению наших „диссидентов“, хотя и Солженицын, и Сахаров старше их. Все трое окончили Ленинградский университет.

Эрнст Орловский. С ним я познакомился в Esperanto — Sekcio. Ему было тогда только 28 лет, но он был уже наполовину седой... Есть в его облике что-то от Пьера Безухова: доброта, бескорыстность, стремление к истине. Вот разве голос у него более громкий, чем у Пьера. И, когда он начинает говорить с вами в троллейбусе, все начинают на вас оглядываться. Есть в нем одна страсть, которая доминирует над остальными чертами характера: страсть к книгам. На них он тратит три четверти своего бюджета. Он покупает практически все книги, которые поступают в магазины. На первый взгляд это кажется странной всеядностью: вместе с художественными, философскими книгами покупать *Океан и будущее, Тарифные ставки на конно-ручные работы в колхозах и совхозах*. Но он удивительно умеет находить интересную информацию для себя даже в таких книгах.

Родился он в 1928 году в Ленинграде, в интеллигентской семье. Родители репрессированы в 1937 году. Окончил мехмат ЛГУ. За близость ко мне и Пименову в те годы потерял работу. Со временем нашел другую работу, где также с блеском проявил себя. Участвовал в правозащитном движении: переводил статьи с чешского, польского и других языков, подписывал письма протеста. Сейчас живет в Советском Союзе, находясь на грани ареста каждый день, потому что не скрывает своих взглядов убежденного правозащитника. Он считает, что прежде чем требовать от советского правительства свободы получения информации с Запада, надо бы добиться, чтобы это правительство свои собственные документы перестало засекречивать. У нас, например, существуют многие секретные инструкции к обнародованным *Положениям*. Например, инструкция к *Положению о паспортах*, запрещающая людям, освободившимся из лагерей, жить в крупных городах. Существуют секретные разъяснения к опубликованным законам. Иногда не печатаются (а рас-

пространяются только в специальных закрытых письмах) выступления руководителей государства и партии. Самый яркий пример этому — секретный доклад Хрущева на XX съезде. Наконец, засекречена статистика: количество самоубийств, количество заключенных, производственный травматизм и так далее. Необходимость рассекречивания информации он втолковывает ГБ-шникам, когда те вызывают его (или даже сами приходят к нему на работу) на так называемые „беседы”. На этих беседах он говорит больше их и часто ставит их в тупик.

От всех и всегда он требует точности. Скажем, много говорилось о „поправке Джексона”. Но где найти полный текст этой поправки? Даже „Голос Америки” не передавал этого текста, не говоря уж о советской прессе. И вот Эрнст воспользовался тем, что в Ленинграде проходила выставка „200 лет США”. Он обратился к одному из работников этой выставки, который является сотрудником „Голоса Америки”, за разъяснениями. Но даже тут не получил ответа.

Юрист же должен избегать приблизительности. А он — юрист. Им он стал еще в 50-е годы, на самой заре правозащитного движения. Сейчас его можно поставить в ряд с лучшими знатоками советского права, такими, как Чалидзе, Цукерман, Есенин-Вольпин.

В сибирском лагере я познакомился с другим ленинградцем, с похожими устремлениями, но с несколько иной судьбой. Сергей Бернадский родился в 1932 году в семье профессора истории, эсера, переметнувшегося после Октября к большевикам. В 1937 году родители не пострадали. Сергей благополучно кончил исторический факультет ЛГУ и в 1956 году был где-то в провинции. Читал, переводил, распространял польские, югославские, итальянские статьи. Арестован в 1957 году фактически „за Югославию”. Освобожден лет через 5 досрочно — реабилитирован. После реабилитации не остался в стороне от общественной жизни. Из *Хроники текущих событий* я узнал, что в 1970 году его арестовали, начинали дело по статье 190-1 („клевета на советский строй”), но потом за отсутствием доказательств выпустили.

Нужно сказать, что Бернадский, как и другие, интересовался не только Югославией и Польшей, но также и Китаем, где в 1957 году был выдвинут лозунг „Пусть расцветают 100 цветов!“. Он, как и многие другие интеллектуалы той поры, искал и находил нечто положительное в опыте Китая. Особый интерес для нас представляла практика привлечения руководителей к физическому труду. Нам, как и многим западным левым сейчас, казалось, что в Китае пытаются осуществить идеал равенства. Лозунг „Пусть расцветает 100 цветов!“ (оказавшийся обманом) свидетельствовал, казалось нам, также о политической и духовной свободе.

Пирогов Сергей Кузьмич, в отличие от Орловского и Бернадского, родился в провинции — в Архангельске — в семье служащих в 1931 г. Окончил экономический факультет ЛГУ и преподавал после этого политэкономии в Архангельске. Он был арестован в 1957 вместе со своим товарищем за „ревизионизм“. Им инкриминировали даже „организационную деятельность“, которая выразилась в прочитанном курсе лекций по истории КПСС. Пирогов получил 8 лет и полностью отсидел их. В лагере он продолжал переводить с польского, немецкого, сербского, в частности, там он перевел статьи Лешека Колаковского, юриста Ежи Савицкого, Д. Лукача.

После освобождения из лагеря в 1965 он возвращается в родной Архангельск. В 1973 его снова здесь арестовывают — теперь уже за „заведомо ложные измышления“ (а конкретно — за хранение и распространение самиздата и, в частности, *Хроники текущих событий*). И два года он проводит в уголовном лагере („измышления“ считаются уголовным преступлением, и осужденный по этой статье попадает в лагерь, где сидят за кражу, грабеж, убийство... Здесь, в более тяжелых условиях, чем в 50-годы, у него не было никакой возможности заниматься переводами... Он задыхался в этом лагере...). Закономерно, что после 11 лет лагерей человек принимает решение эмигрировать. Власти не препятствуют ему в этом.

Вспоминая сейчас наш „восточноевропейский“ период,

Пирогов пишет: „Поляки мыслят и действуют серьезнее и ответственнее нас. Не диво: они уже в 1956 г. дали такую зрелость, до которой нам и теперь далеко” (из частного письма).

Орловский, Пирогов, Бернадский жили в те годы в одном городе. И, хотя интересы их лежали в одной сфере, они не были знакомы друг с другом. Интересно, что, кроме переводческой деятельности, общей для всех троих была идея легальности: они не считали, что свои переводы с польского, сербского и т. д. им нужно засекречивать или что нужно скрывать свои взгляды. Они не считали, что их стремления к демократизации и законности — это подрыв существующего строя. Каждый из них был в принципе против создания тайных организаций, и в этом пункте они были в меньшинстве среди своего окружения.

Такие люди были нашими „окнами в Европу”, прежде всего в Восточную Европу и, еще конкретнее, в Польшу и Югославию. А в Польше в это время происходили существенные перемены. Например, распустили колхозы. Пресса получила некоторую свободу. К власти пришел Гомулка, человек, когда-то сидевший в тюрьмах.

Не удивительно, что Польша была нам глубоко симпатична в то время. Вспоминали изречение вековой давности: „Кто есть наш враг внутренний? — Жида, поляки, студенты”. Уж больно оно подходило к той ситуации.

В журнале *Польша* я прочитал тогда знаменательный афоризм: „Польша — это Запад на Востоке и Восток на Западе”.

Слово „революционер” не употреблялось в 1956 году, но слово „революция” иногда прорывалось наружу. Порой среди студентов кто-нибудь говорил: „Было три революции, нужна четвертая”. Я слышал это высказывание даже от девушек, головы которых, казалось, были набиты всякой чепухой: танцами, платьями, флиртом.

Разговоры о четвертой революции возникали не только среди юнцов моего возраста. Поэт Евтушенко, который старше меня на 6 лет, свидетельствует в своей *Автобиографии* о тех же настроениях в том же году среди его ровес-

ников — выпускников Литинститута в Москве. (Думаю, что эта мысль о необходимости новых, очищающих перемен была питательным источником его творчества и именно она привлекала к нему тысячные аудитории. Но это дитя своей эпохи на сегодня изолгалось до такой степени, что уже нельзя понять, кому он в данный момент показывает кукиш. Заповедь „Хочешь жить — умей вертеться” была, вероятно, в полной мере осознана этим талантливым поэтом. Но сорок грехов простится Евтушенко за его письмо протеста против высылки Солженицына из страны.)

Поэтому, когда эфир принес весть о венгерских событиях октября 1956, мы поняли: то, о чем мы говорили, начинается. Начинается, правда, не у нас, а в Венгрии, но — слово сказано: в Венгрии — революция...

Нам было 17-18 лет, Евтушенко и его красавице-собеседнице в *Автобиографии* 23-24. Мы волновались, кипели, и это было естественное поведение думающей молодежи в подобных ситуациях. А что же старшее поколение? Зрелые люди 30-40 лет и старше? Что они чувствовали в эти дни? Никаких внешних признаков радости или хотя бы возбуждения заметно не было. Лучшие из них, очевидно, прекрасно понимали происходящее, но предпочитали не показывать своего отношения. Сказывалась пройденная при Сталине школа...

Среди преподавателей нашего института было несколько очень интересных людей, известных всему Ленинграду. Виктор Андронникович Мануйлов, которому тогда было за 50, был известен даже всем литературоведам страны. Специалист по Пушкину и Лермонтову, человек большой эрудиции и обширной памяти, он вступил на поприще филологии еще во времена НЭПа. Насколько мне известно, он никогда не подвергался каким-либо репрессиям. Более того, он был членом партии, а в описываемое время даже членом парткома нашего института. Впрочем, предмет его лекций был далек от злободневности. Только А. Белинкову и Н. Эйдельману впоследствии удалось заставить нас переживать времена Грибоедова и Кюхельбекера как близкие, как свои. Мануйлов сознательно такой цели не ставил. Но читал он свои

лекции с блеском и глубоким знанием предмета, и послушать его приходили не только с других курсов, но даже из других институтов. Сказывалось, конечно, и то, что он говорил без бумажек и бесконечное количество стихов мог цитировать по памяти. А мы ведь привыкли к официальным ораторам, которые читают по конспектам, почти не отрывая глаз от текста. Его лекции были всегда живые, далекие от хрестоматийности.

В эти месяцы в институтах дискутировался вопрос о свободном посещении лекций. В царской России, как и на Западе, вы могли посещать или не посещать лекции, нужно было только сдавать экзамены. Поэтому лекции одних преподавателей собирали большую аудиторию, тогда как на лекциях других студенческие скамьи пустовали. В СССР давно существует обязательное посещение лекций, особенно так называемых „общественных” дисциплин: истории КПСС, истмата, диамата, политэкономии. У нас, например, декан Кригер частенько проверяла по списку в начале лекции, все ли присутствуют. Меня она несколько раз не обнаружила, о чем и сообщила в своей характеристике для КГБ.

Борьба студентов 1956-57 годов за свободное посещение лекций (или как тогда говорилось, свободное расписание студента), хотя и была поддержана некоторыми газетами и некоторыми преподавателями, закончилась поражением: посещение лекций оставалось обязательным, непосещение грозило исключением. И лишь в самые последние годы в некоторых вузах для некоторых дисциплин разрешено свободное посещение. Введено это в виде эксперимента.

Но и в те годы некоторые преподаватели (в их числе и Мануйлов) разрешали студентам не приходиться на их лекции. Опасности растерять из-за этого аудиторию у Мануйлова не было — он знал это. Этот человек, внешне не обаятельный (с круглым гладким лицом, лоснящейся лысиной), стал нашим любимцем.

Он говорил не только о Пушкине и Лермонтове. Исподволь он пытался привить нам определенную жизненную позицию. Сам он называл эту позицию „моцартианским

началом". Что это значило? Быть открытым всему в мире, жадно впитывать знания, воспринимать жизнь как неожиданный дар и уметь радоваться этому единственному и неповторимому дару. При этом, конечно, интеллектуальные радости ценить гораздо выше материальных. Всему этому мироощущению он находил выражение в музыке Моцарта.

По натуре человек добрый, он часто давал деньги студентам взаймы, а назад эти деньги категорически отказывался принимать. Получалось, что почти каждый брал у него в критический момент, но только однократно (не пойдешь же занимать снова у того, с кем еще не расплатился). В тяжелый момент занял у него 100 рублей и я, и, как и у других, он отказался наотрез взять их потом назад. Через 10 лет я предложил ему их снова (правда, я тогда был богат не более, чем в 1956 году, я только что вышел из лагеря), и он, смеясь, снова отказался.

Из отдельных высказываний Мануйлова на лекциях я помню его призыв читать Библию. (А где ее достать?) В то время такой призыв, да еще из уст передового партийца был весьма смелым. Мануйлов говорил о том, что без Библии мы не поймем многих картин, многих сюжетов в мировой литературе. „Каждый культурный человек, — говорил он, — должен прочитать Библию и Евангелие”.

Даже и сейчас, через 20 лет, в чистом виде такого высказывания в официальной литературе не встретишь. Власти разрешают время от времени издавать Московской Патриархии Библию небольшими тиражами, но получать Ветхий и Новый заветы из-за рубежа запрещено. Религиозная литература любого издания запрещена в лагерях и тюрьмах (это не касается только иностранцев, сидящих там).

„Моцартианское начало” предполагает, конечно, доброту. Но была в Мануйлове и его моцартианстве и обратная, теневая сторона: равнодушие к страданиям других. Его добродушие (или лучше сказать — прекраснодушие) не уживалось с состраданием. Это моцартианство отворачивалось от всего ужасного, всего бесчеловечного, что происходило вокруг. Отгораживалось, в конечном счете, и от чужого горя. Ведь

всякое упоминание об этом горе могло нарушить его духовный комфорт. Поэтому он старался обходить острые углы. Лейтмотивом этого моцартианства было: **несмотря ни на что, жизнь, в конечном счете, прекрасна!**

Это прекраснодушие помогло, очевидно, ему выжить в 30-40-е годы, когда вокруг летели головы. Он, надо полагать, о многом мог бы нам порассказать, но, должно быть, не хотел, в силу своего моцартианства, чтобы возможные последствия таких рассказов внесли дискомфортность в его жизнь.

Я потому так много говорю о пресловутом моцартианстве и о Мануйлове, что его строй сознания и поведения типичен для большей части советской интеллигенции тех лет. Позже молодые представители такой интеллигенции осмелились сказать „нет!“ репрессиям — я имею в виду подписантскую кампанию 1966-67 годов. Но по возрасту это были уже дети Мануйлова.

Был у нас и другой интересный преподаватель — преподаватель западной литературы Г. А. Таманцев. Было ему тогда около 40 лет. Вообще он занимался Флобером, но с нами, студентами, разговаривал на разные (волнующие нас) темы. Мы уважали его за холодный, трезвый ум.

Помню, однажды мы, трое или четверо студентов — все члены того, что назовут потом „антисоветской группой в Ленинградском библиотечном институте“, — окружили его и задавали какие-то лобовые вопросы, чуть ли не о сущности советского строя. От прямых ответов он уклонялся. Теперь-то я отлично понимаю его осторожность: ведь он вполне допускал, что среди троих-четверых должен быть один стукач КГБ, другой — парторга. Но помню отлично, как он сказал тогда:

„Читайте *Капитал*. Там все найдете если не ответы на свои вопросы, то путь, по которому следует искать их. Чтение *Капитала* — отличная гимнастика ума. Оно поможет вам развить мускулы мозга“. Я понимаю, это трудно, эта книга не из легких. Но поверьте мне, в этой непопулярной среди вас книге есть некоторые очень и очень важные вещи”.

Мы, перемигиваясь и пересмеываясь, отошли. Ответ нам показался настолько банальным, что я засомневался в хвалебном уме Таманцева. В самом деле, зачем он конфиденциальным тоном говорил нам то, что мы могли узнать из любой передовицы, — что марксизм-ленинизм есть сокровищница мудрости? Не мог же он всерьез думать так, если он действительно умный человек. Или он просто боялся, перестраховывался и в ответ на наши смелые вопросы просто не чувствовал? Мы хотели найти в нем союзника, а услышали официальную банальность. Некоторые из нас к тому времени слушали уже лекции по политэкономии и, конечно, не были от них в восторге.

Я вспомнил эту беседу с Таманцевым позже, в лагерях, читая *Капитал*, и все больше соглашался с ним. Но при этом я все же думал: допустим, Таманцев хотел навести нас на мысль о госкапитализме. Достаточно ли было в этом случае сказать: читайте *Капитал*? Почему же мы не читали *Капитал* после призыва уважаемого преподавателя? Очевидно, такой голый призыв был недостаточен. Надо было дать какую-то нить, какой-то ключ для дешифровки. Без этого ключа *Капитал* оставался для нас „вещью в себе”.

Говорили, что еще в послевоенные годы Таманцев пытался защитить диссертацию по Флоберу. Но то ли Флобер тогда был не в чести, то ли сам Таманцев, но его диссертацию положили под сукно — навсегда. Когда я уже сидел в лагере, он умер от отравления, и мне написали приятели из института, что это было самоубийство.

Остальные наши преподаватели, даже с профессорским званием, были менее интересны. В лучшем случае они могли дать определенную сумму знаний по специальным дисциплинам (библиотечное дело, библиография), но уже, скажем, профессор Ковалев, преподаватель психологии, опубликовавший на сегодняшний день десяток книг и брошюр, был обыкновенный начетчик, а не ученый.

Преподавательницу фольклора я спросил однажды после лекции, почему из ее предмета выпал такой широко распространенный жанр фольклора как анекдот.

„Анекдот, — ответила она, — это вещь обоюдоострая. Разные бывают анекдоты”.

И весь ответ...

А сейчас, когда появились „барды с гитарой” и их песни доносятся до самых отдаленных уголков страны, фольклористика как наука игнорирует это явление, хотя песня, придуманная несколькими безымянными студентами у костра и подхваченная потом другими, отвечает всем требованиям фольклорного произведения.

Из-поля зрения фольклористики выпал огромный пласт тюремно-лагерного фольклора. Ученые не перестают жаловаться, что народная песня, дескать, вымирает. А в это самое время лагерные народные песни и создавались, и пелись. Они жили всегда.

Диалектологи ездили в экспедиции по глухим деревням: собирали слова и выражения, решали вопрос о том, какой говор лег в основу современного языка. А в это время — совсем недалеко от них — люди говорили на особом языке, но об этом как-то не принято было говорить, пока не вышла в свет повесть Солженицына *Один день Ивана Денисовича*.

Под запретом до 1955-56 годов было несколько тем и в русской истории. Например, нельзя было писать о народниках и народовольцах. Если о них и писалось, то вскользь, отделяваясь от целого периода русской общественной жизни и русской мысли одной-двумя цитатами Ленина. Каждый знал с детства, что брат Ленина покушался на царя и что Ленин сказал по этому поводу: „Мы пойдем другим путем”. Но когда я в Курске спрашивал людей: „Почему одна из улиц названа именем Софьи Перовской? Кто это — Софья Перовская?” — мне никто в то время не мог ответить. И в Ленинграде наш институт помещался на улице Халтурина, но почти никто не знал, кто такой Халтурин (а уж о Каляеве, чья улица также есть в Ленинграде, и говорить не приходится). Итак, все сведения о революционном движении в 70-80-е годы прошлого века сводились к покушению Александра Ульянова. И люди были бы крайне удивлены, если бы узнали, что брат Ленина состоял, грубо говоря, в

той же партии, что и Фанни Каплан, стрелявшая в Ленина.

Имя этой последней широко известно в народе, а в те времена (когда еще невозможно было услышать о Ленине, как сейчас, что-нибудь вроде „дурак лысый“) в сознании людей оно звучало как имя дьявола. И, конечно, сам факт, что она была еврейка со столь выраженным именем и фамилией, как бы подмигивал вам: „Фанни... да еще Каплан... жидовка... вот они когда еще против были... И Троцкий тоже был еврей...” и т. д. и т. д. Официальная пропаганда не педалировала факта национальной принадлежности Фанни, ибо в этом и не было особой необходимости: о том, что она — еврейка, знал каждый ребенок. А вот о национальности Карла Маркса, а тем более о предках Ленина, почти никому не было известно. Даже сейчас вы почти нигде не встретите в биографиях девичью фамилию матери Ленина — зачем смущать публику?

И вот, наряду с безусловно негативным (в то время) отношением народа к Фанни Каплан, в народе жила и живет легенда о том, что она не была расстреляна тогда еще, в 1918 году, что Ленин был настолько гуманен, что отправил ее на вечную ссылку куда-то на Колыму, где она и работает в одном из лагерей (или тюрем) библиотекарем. Рассказчик не преминет похвастаться, что он сам (или его приятель, или приятель приятеля) видел ее.

До властей, видимо, дошла эта легенда, и они решили уничтожить ее раз и навсегда пером бывшего коменданта Московского Кремля Малькова, который напечатал в 1956 году свое категорическое заявление, что он сам принимал участие в казни Каплан через 2-3 дня после ее покушения. Однако даже столь энергичное заявление авторитетного лица в печати — а у нас тогда было больше доверия к печатному слову — не помогло: легенда продолжала и продолжает существовать. Впервые я услышал ее в 1947 году от отца, который, будучи на Колыме, конечно же, „видел” Фанни и мог подробно описать, как она выглядит. Я тогда поверил ему. Но после заявления Малькова, а особенно после того, как в лагерях я встретил десяток заключенных (в основном это бывшие уголовники), которые тоже „лично знали”

Фанни (причем она иногда жила не на Колыме, а то во Владимирской тюрьме, то на Воркуте, но непременно была библиотечником! То есть сознание заключенных не могло связать ее с какой-нибудь грязной работой, а лишь с самой интеллигентской), я, естественно, засомневался.

Последний раз я услышал о Фанни как о все еще доживающей свой век библиотечнице из уст моего коллеги-слесаря в селе Васильевском в 1977 году, который, конечно, тоже видел ее, когда сидел в Степлаге (Омская область). Как и мой отец, как и десятки тысяч других...

Поразительна одна деталь: я ни разу не слышал, чтобы о Каплан говорили цинично, грязно.

Легенда о Фанни Каплан не единственная в своем роде. Многие бывшие узники Владимирской тюрьмы (это тоже уголовники) хвастаются: „Я с Васькой Сталиным сидел!”

Рассказчики всегда с гордостью говорят об этом. Им кажется, что они сами становятся значительнее в глазах слушателя.

Почему живет в народном сознании эта легенда? Почему народ хочет, чтобы Фанни Каплан жила? Вот вопрос и для фольклористики (ведь рассказы типа: „я сам ее видел” — это фольклор), и для исследователя психологии масс. Не просвечивает ли здесь некая амбивалентность отношения русского народа к этой еврейке?

В 1956, кроме сообщения Малькова о расстреле Каплан, появились и другие интересные исторические материалы. Стали понемногу писать о народниках и народовольцах (по-настоящему я познакомился с этой темой в тюрьме по Лависсу и Рамбо — *История 19 века*). Начали появляться упоминания о сталинских лагерях в художественной литературе. Это были еще первые робкие прикосновения.

В нашем институте неутомимый, поистине кипучий Мануйлов организовал „Литературное объединение”. Сюда входили юные стихотворцы, прозаики, критики. Если сравнить это объединение с аналогичной группой в Курске, то, конечно, студенты библиотечного института были на несколько порядков выше: при всех своих недочетах это все-

таки была поэзия, а не рифмованные газетные статьи, как в Курске. Нонна Слепакова, например, — член этого объединения — читала здесь свои стихи:

Кошка черная, как твои волосы,
Молча кралась по интерьеру
И, перешагивая через лунные полосы,
Увидала мраморную беззвучную Венеру.
И кошка просила: „Возьми меня на руки!”
Но у Венеры не было рук.

С. Троицкий писал стихи, которые заставляли вспомнить о традициях Киплинга и Гумилева, с которым мы только-только начинали знакомиться.

Одна девушка сочиняла танки — на японский манер.

И я совершенно не помню стихов с официальной подкладкой, что было обычным в Курске. Периодически Мануйлов разбирал с нами какой-нибудь рассказ, чаще всего Чехова. Разбирал, что называется, по косточкам. Он читал вслух предложение за предложением, и комментировал, и спрашивал нас, почему, на наш взгляд, здесь стоит такая фраза, а не иная. Я до сих пор помню этот квалифицированный и полезный анализ.

Я написал рассказ о студентах, и он похвалил его, пообещал даже где-то пристроить, но для этого я должен был убрать пессимистическую концовку. Мой рассказ был о неудавшейся любви, но даже в этих случаях пессимизму не может быть места. В другой раз он предложил мне, если я хочу заработать, написать стихи о Ленинградском зоопарке — эта тема была запланирована для какого-то детского сборника. Я начал было писать о слонах, но — увы! — не у каждого получаются стихи по заказу.

Однажды Мануйлов устроил встречу нашего объединения с другим, которое называлось „Нарвская застава”. В отличие от нас, там были, в основном, рабочие. Мануйлов и замышлял эту встречу как сближение студентов с рабочими. Нас было в тот вечер человек 40, рабочих с „Нарвской заставы” — около 20. Читали свои стихи попеременно — то они, то мы. Помнится, студенческие стихи носили романтический

характер, тогда как стихи рабочих были более земные и менее совершенные с технической точки зрения.

И вдруг вышел на трибуну участник „Нарвской заставы“, скромный человек лет под 40, с простой русской фамилией, и прочел стихотворение о том, как следователь избивает арестованного, требует подписать что-то, тот отказывается, следователь бьет его, герой теряет сознание. Потом приходит в себя, и в нос ему парфюмерным озоном шибает запах дешевого одеколона от пробора следователя, со стены смотрит на него человек „с змеиной улыбкой в усах“. Стихотворение называлось „Дешевый одеколон“.

Когда он кончил читать, раздалась буря аплодисментов, мы были вне себя от радостного удивления, мы впервые слышали такие стихи. Мы закричали: „Прочтите еще раз!“ Он прочитал снова, и снова ему без устали аплодировали.

Мануйлов, который был как бы судьей и комментировал каждое стихотворение, чувствовалось, не предвидел таких стихов и такой бурной реакции на них. Явно выбитый из колеи, но, как всегда, принаравливающийся к аудитории, он заговорил, что, мол, конечно, хорошо... остро... культ личности... партия осудила... необоснованные репрессии... Но вся эта галиматья (не сопоставимая с блеском его лекций о Пушкине или Чехове) не могла пригасить яркость только что услышанных стихов. Мы чувствовали этот удар сапогом под дых, и запах одеколона, и видели змеиную усмешку Вождя...

Эта встреча стала триумфом автора „Дешевого одеколона“. Мы окружили его, жали ему руку. Тут же мы узнали, что он „сидел“ и недавно был реабилитирован. Сближение студентов и рабочих, которого хотел Мануйлов, произошло, но на неожиданной для него основе.

Один из участников нашего объединения решил — без ведома Мануйлова и вообще кого-бы то ни было из начальства — издавать рукописный литературный журнал. Идея рукописных (или машинописных) журналов носилась тогда в воздухе, это была примета времени. Такие журналы — предвестники самиздата — возникли тогда в нескольких

вузах Москвы и Ленинграда. Из официальной прессы, которая громила подобные неподцензурные издания, стали известны названия ленинградских журналов — *Литфронт* *литфака* (пединститут им. Герцена), *Электрон* (электро-технический институт им. Ульянова-Ленина). Наш журнал назывался *Ересь*. (Позже Александр Гинзбург создаст журнал, не связанный с каким-либо вузом: *Синтаксис*.)

Ересь представлял из себя большую общую тетрадь, где красивым, разборчивым — библиотечным почерком (нас учили в институте такому) авторы писали свои стихи и прозу. Журнал был иллюстрирован, это делал сам редактор.

Стихи большей частью были под псевдонимами, иногда — под настоящими именами. Из „крамольных” (именно они были под псевдонимами) помню один Адельфины Бездомной:

Это жизнь, которая берет,
Ничего взамен не отдавая,
Это жизнь, которая гнетет,
Никаких свобод не признавая.
Это жизнь, которая орет,
Никогда свой рев не прекращая,
Это просто на просто урод —
Мне ж нужна красавица иная.

Было в журнале и одно мое стихотворение под подлинной фамилией, стихотворение сугубо лирическое. Были там стихи Слепаковой, Троицкого и других. Некоторые из них вполне могли быть опубликованы в официальной прессе (позже Слепакова, например, стала членом Союза писателей и издает сейчас свои сборники).

Ересь переходила из рук в руки и пользовалась успехом. Наш „главный редактор” только и делал, что следил, как бы журнал не ушел из поля его зрения. Его читали на всех четырех курсах института, на обоих его факультетах. Но читали, главным образом, прямо на лекциях. Однажды одна преподавательница заметила в руках студентки этот журнал — разрисованный титульный лист с необычным заглавием — и потребовала показать, а полистав, унесла с собой и, как

и полагается, сдала парторгу. Журнал лежал и лежал у парторга в сейфе, и так, возможно, ничего бы и не случилось, не проведай об этом журнале корреспондент газеты *Вечерний Ленинград*. Я не знаю, откуда он проникнул о журнале. Думаю, не в интересах Водяникова было афишировать идеологическое неблагополучие в его институте. Журналист пришел однажды, побеседовал с парторгом, полистал *Ересь*, вызвал Слепакову и Троицкого. А 1 декабря 1956 года в *Вечернем Ленинграде* появился его фельетон „Смертяшкины”. Фельетон не был первым из серии нападок официальной прессы на подобный самиздат. Название его также не было оригинальным: незадолго до этого фельетон под таким названием был помещен в *Крокодиле* и направлен он был против Эренбурга. Последний-де своей статьей о Цветаевой гальванизирует трупы. Так мы впервые узнали о Цветаевой и благодарны Эренбургу.

Вечерний Ленинград называл нас, „еретиков”, смертяшкинами за то, что мы пытаемся привить советской молодежи пессимизм. Автор всячески издевался над нами (он называл и подлинные имена, и псевдонимы), и его обвинения граничили с прямым политическим доносом.

Естественно, фельетон взволновал прежде всего наше начальство. Теперь ему приходилось отчитываться перед вышестоящим начальством за утрату бдительности. Надо было покарать виновных и отчитаться о наведении порядка.

Водяников начал следствие по делу *Ереси* со всей присущей ему чекистской хваткой. Он стал вызывать к себе в кабинет и допрашивать всех, чьи фамилии стояли в журнале. Вызвал он и меня. Как я потом выяснил, вопросы он всем задавал одинаковые. Это был наш первый разговор с ним через 3 месяца после того, как я согласился с ним сотрудничать.

— Вы входили в редколлегия журнала *Ересь*? — спросил он меня строго.

— Да, — ответил я, хоть это и не было правдой. Просто мы, готовясь к следствию, решили придать журналу коллегиальный характер, чтобы застраховать этим его действи-

тельно единоличного редактора. Ведь для него это могло плохо кончиться — исключением из института, скорее всего, и, как уже бывало, сдачей в солдаты.

— А кто другие члены редколлегии? — спросил Водяников.

— Ну, там же стоят фамилии.

— А кто такие Адельфина Бездомная, Анастас Мамалыга? Это псевдонимы?

— Псевдонимы.

— А кто под псевдонимами?

— Это редакционная тайна, — ответил я, улыбаясь.

— Ну, Борис Борисович, мы с вами взрослые люди. (Мне было 17 лет.) Помните наш разговор в начале сентября? Кто под псевдонимом Адельфина Бездомная?

— Это редакционная тайна, — повторил я.

— Ну, хорошо, пусть тайна. Вы мне скажите, а я ведь никому не скажу, что это именно вы мне сказали.

— Да, но после этого вы первый перестанете меня уважать, — изобрел я на ходу новый аргумент.

— Почему же? Я буду вас еще больше уважать!

И так далее в том же духе.

Во время разговора Водяников перекладывал на столе какие-то папки, заглядывал в них, вынимал из них отдельные листки и снова их туда клал. Из всех его манипуляций с этими бумагами я должен был сделать вывод, что перед ним мое „дело“, досье на меня. Это чекистский прием, который должен запугать арестованного: „Как много материалов на меня уже собрано!“ Иногда они просто потрясают этими папками и говорят: „Смотрите, сколько документов против вас!“

Я узнал вскоре, что и другие, вызванные на такой допрос, не раскрыли псевдонимов.

После этого я не сталкивался с Водяниковым вплоть до того момента, когда они решили изгнать меня из комсомола.

Итак, ноябрь, венгерские события. Они нами воспринимались как логическое продолжение польских волнений.

30 октября Советский Союз торжественно заявил, что он выводит свои войска и не будет вмешиваться в развитие событий! Это была победа, казалось нам. Советские газеты печатали только краткие, невнятные сообщения, но мы слушали зарубежные радиостанции на русском языке и друзей, которые, как я говорил, читали и переводили польские и югославские газеты. Кое-кто начал в эти дни изучать венгерский, но это было слишком трудно. Да и венгерские газеты в эти дни в продажу почти не поступали.

В общежитии, и особенно в нашей 111 комнате, в эти дни споры затягивались далеко за полночь. Спорили не только о Венгрии, но и о Польше, Югославии, о роли Тито...

Помню разговор двух студентов о Венгерской революции. Они рассматривают газетную фотографию лежащего на улице убитого человека, к спине которого прикреплен портрет Ленина. Один из собеседников говорит, что там сейчас контр-революция, а не революция, что венгры жестоки, убивая и вешая коммунистов. Другой считает, что венгров надо и можно понять, что убитые и повешенные — это те, которые сами были повинны во многих преступлениях. Это преимущественно работники Госбезопасности. И это меняет дело.

Однако не нужно думать, что **все** в Ленинграде драматически переживали подавление Венгерского восстания. Основная масса населения не принимала близко к сердцу этих далеких событий. В провинции интерес к ним был еще слабее.

Но одиночные выступления, споры в общежитиях, вопросы преподавателям на лекциях и после лекций, разгоравшиеся дискуссии в аудиториях — все это создавало атмосферу, которую если и нельзя определить словом „волнение“, то словом „брожение“ безусловно можно. (Позже следователь Ленинградского КГБ согласится со мной, что это слово подходит к описываемым ленинградским событиям.) Так было, наверно, во всех вузах. Рассказывали, что в университете начальство приняло решение назначать в общежития „ночных дежурных воспитателей“ из числа преподавателей, дабы пресекать „ненужные диспуты“. Некоторые преподаватели отказались: „Мы — не надзиратели“.

Мы вскоре узнали, что в Московском университете студенты выпустили стенную газету под названием *Колокол*. Одна из статей этой газеты была посвящена Венгерской революции. Там же, в МГУ, в начале ноября появился настенный плакат „Руки прочь от Венгрии!” Говорили, что после того, как власти сорвали этот плакат, студенты повесили такой же и поставили возле него пикет.

Если бы я жил в то время в Курске, а не в Ленинграде, я вряд ли поверил бы, что такое возможно. Но я видел воочию, что и в Ленинграде недалеко до этого.

Брожение было не только среди студентов, но и, конечно, среди молодой интеллигенции, то-есть дипломированных специалистов, недавно окончивших вузы. Но я тогда был почти незнаком с ними, и мы встретились только в лагерях.

Венгерские события были для всех нас вторым шоком — после 20 съезда КПСС. Они показали, что пресловутая „либерализация” и „десталинизация” ничего не стоят, раз советские танки могут давить рабочих в „братской” стране.

7 ноября 1956 года во время праздничной демонстрации студент Ленинградского университета Михаил Красильников, проходя мимо трибун на Дворцовой площади, крикнул из колонны демонстрантов: „Долой клику Булганина—Хрущева!” Его арестовали дома, а при обыске нашли дневник с „антисоветскими” записями (который он никому не показывал, заметьте). Судили и за выкрик, и за дневник — 4 года лагерей. В ноябре 1956 года он был первым политзаключенным в Ленинградской тюрьме после затишья, длившегося несколько месяцев (если не считать Антонова, бывшего лейтенанта, добровольного репатрианта из США, которому угрожала смертная казнь).

Именно после венгерских событий в Москве и в Ленинграде, в других городах начинают возникать тайные политические организации, которые КГБ назовет „антисоветскими”, хотя в основном эти группы и организации стояли на социалистических и марксистских позициях. И удушение Советским Союзом Венгерского восстания немедленно отразится внутри страны — попыткой задушить нарождавшу-

юся оппозицию. Так будет и после оккупации Чехословакии — тоже усилятся репрессии против „инакомыслящих”.

Ленинградских студентов волновали и свои, сугубо студенческие проблемы. Я уже писал о том, как плохо мы питались. Студенческие столовые, предназначенные облегчать нашу жизнь, часто кормили нас настолько безвкусно, порции были настолько маленькие (понятное дело: здесь, как и во всех других столовых, служащие изрядно воровали), что в одном из ленинградских институтов студенты решили бойкотировать свою столовую. Они перестали там питаться и выставили пикеты. Конечно, такое событие совершенно не типично для СССР, оно рассматривается всеми как нечто экстраординарное. Говорили, что „Голос Америки” сообщал об этом бойкоте. Подобные, совсем неполитические выступления властями рассматриваются как нарушение общественного порядка и становятся объектом для КГБ. В данном институте, поскольку бойкот приобрел огласку, быстро сменили руководство столовой и, как рассказывали, питание значительно улучшилось. Парторг и его помощники сообщили студентам о переменах, и студенты сняли пикеты. Они победили. Однако можно было не сомневаться, что пикетчики рано или поздно пострадают за свою смелость.

Этой же осенью событием стала выставка картин Пикассо в Ленинграде. Несколько залов в Эрмитаже было отведено этому, доселе неизвестному широкой массе художнику-коммунисту (его партийная принадлежность всегда подчеркивалась). За короткое время там побывали десятки тысяч людей. В последний день выставки, когда пришел час закрытия, перед дверьми толпилось несколько сот желающих. Напор толпы был настолько велик, что Эрмитажу пришлось продлить выставку еще на несколько дней.

Сейчас даже и советскому человеку трудно понять, почему Пикассо вызвал тогда такой ажиотаж и почему эта выставка в сознании современников непременно ассоциируется с политическим брожением и даже политическими процессами.

Имя этого художника не раз потом будет упомянуто и на

следствии по делу „антисоветских организаций”, и в залах суда, и в лагерях и тюрьмах среди ленинградцев, арестованных в 57-58 годах.

Тогда фурор, вызванный картинами Пикассо, казался вполне закономерен. Дело в том, что это была **первая** выставка современного западного художника-нереалиста. Эти разъятые тела, искаженные пропорции и смещенные части тела — все было настолько непривычно для нас, воспитанных на передвижниках и соцреализме, что не укладывалось в голове. До этого мы даже не представляли, что такое искусство возможно. Первая книга о Пикассо вышла в Москве в 1960 году (авторы ее — Синявский и Голомшток).

В одном из залов лежала книга отзывов, и, перелистывая ее, я нашел там диаметрально противоположные записи. Один писал: „Мой 7-летний сын рисует лучше Пикассо!”, другой: „Мы не можем понять современного искусства из-за того, что мы 40 лет были изолированы от мира”. Вообще я был поражен смелостью некоторых записей в этой книге.

На этой выставке не было традиционных экскурсоводов, и эту роль брали на себя студенты из Академии Художеств. Они больше нас, непосвященных, знали о современном искусстве.

Они попытались устроить диспут о Пикассо в своей академии, но, конечно, твелькмейеры и иже с ними запретили его. Тогда диспут решили устроить на физфаке университета. Факультетское начальство благожелательно отнеслось к этому, и в назначенный день (в начале декабря) мы пришли туда. В холле мы увидели плакат, извещающий о диспуте. Однако через несколько минут нам сказали, что парторг запретил эту дискуссию, и мы, студенты из разных вузов, разошлись по домам, гадая, почему нельзя спорить о Пикассо. Нам было ясно, однако, что власти не хотели именно таких дискуссий, инициатива которых исходила не от них. Урок Польши и Венгрии был у них перед глазами.

Да и в самом Ленинградском университете незадолго перед этим произошел такой случай. Была устроена читательская конференция по книге Дудинцева *Не хлебом единым*.

Эта книга — тоже важное событие 1956 года, она во многом повлияла на умы, и не только молодые. Роман этот был опубликован в *Новом мире* и имел огромный успех, сравнимый разве что с *Одним днем Ивана Денисовича* впоследствии. И, как в случае с Солженицыным, сначала о Дудинцеве официальная пресса отзывалась хорошо. Но потом была дана высочайшая команда, и пропагандистская машина заработала вовсю в обратном направлении, обвиняя Дудинцева чуть ли не в клевете. Пафос *Не хлебом единым* — в изобличении консерватизма и бюрократизма. В конечном счете — это антисталинское произведение, хотя и в традиционных рамках „производственного романа”.

Читательская конференция в ЛГУ, на которую был приглашен и Дудинцев, замышлялась как кампания **против** книги. Но выступавшие там студенты и преподаватели не испугались высокого начальства, которое пришло на конференцию (среди них — даже ректор А. Д. Александров). Они защищали книгу и идею борьбы с бюрократизмом. В книге главный герой — отрицательный тип Дроздов. Отсюда родился термин „дроздовщина” (как эвфемизм, заменяющий термин „сталинщина”).

Мой будущий товарищ Револьт Пименов, взяв слово, сказал:

„Дроздовы есть не только на производстве, они есть в науке и политике. Один мой знакомый, занимающий высокий пост, сказал как-то мне о евреях: „В решающий момент евреи нас могут предать. Посмотрели б вы, как они по Москве за юбкой Голды Меир бегали!” Я считаю, — продолжал Пименов, — такие антисемитские высказывания проявлениями дроздовщины в политике”.

Тут вскочил с места ректор А. Александров и заявил, что именно он — то высокопоставленное лицо, о котором говорил Пименов...

Словом, полемика была жаркая и совсем не предусмотренная свыше. Конференция стала победой книги Дудинцева. После ее окончания к Пименову подходили люди и жали ему руку. Тут-то он и познакомился с неким неофициальным

марксистским кружком (о котором речь впереди).

Аналогичным образом прошла такая же читательская конференция в Московском университете. Странно то, что первоначально я узнал об этих конференциях не от их участников, а из *Литературной газеты*, которая глухо высказала упрек комсомольским организациям этих вузов за то, что они плохо „подготовились” к этим собраниям.

И вот теперь власти боялись, что дискуссия о Пикассо выльется в дискуссию об искусстве вообще, а то и о политике.

После того, как они сорвали ее в ЛГУ и всем стало ясно, что получить помещение для подобной дискуссии невозможно, явилась мысль устроить ее независимо от властей — на открытом воздухе. И студенты из Академии Художеств собрались 14 декабря на площади Искусств — перед Русским Музеем в Ленинграде. Но в тот вечер дождь помешал им, к тому же собравшихся было мало. Они разошлись, решив перенести диспут на неделю вперед — на вечер 21 декабря — и договорившись широко оповестить все вузы об этой дате. Оповещение было, конечно, устное, через друзей, знакомых, и знакомых знакомых. И мы в своем библиотечном своевременно узнали об этой дате, причем многие наши студенты узнали об этом независимо друг от друга.

Но прежде чем говорить об этой знаменитой „демонстрации на площади Искусств”, я должен рассказать об одной встрече, важной для меня, определившей всю мою жизнь.

В самом начале декабря в нашу 111-ю пришел молодой человек. Внешне — наш ровесник, а на самом деле 25-летний преподаватель математики из другого института. Он хотел познакомиться со мной, потому что он прочитал фельетон о *Ереси* в *Вечернем Ленинграде*, а там ведь фигурировала моя фамилия. Кроме того, они слышал обо мне от общего нашего знакомого-эсперантиста.

Он попросил меня рассказать о журнале *Ересь* и показал мне свою статью. Это было письмо в газету *Вечерний Ленинград*, где Револьт Пименов — так звали этого математика — говорил о нечестных методах полемики газеты с рукописными изданиями. В самом деле, писал он, газета издается

многотысячным тиражом и может писать что угодно о *Ереси*, „беря на себя роль инквизитора”, а авторам *Ереси* не предоставляется возможность отвечать. В этой связи он напоминал *Вечернему Ленинграду* о славных традициях прогрессивной русской журналистики, о том, что и оппоненту надо дать возможность отвечать на критику.

Это его письмо, в общем, невинное, но и необычное, конечно, не было газетой опубликовано. Более того, его сочли там довольно опасным и переслали в КГБ (о чем он сам узнал, уже находясь в тюрьме).

С этим курносым блондином в очках я сразу почувствовал некую духовную близость, общность, хотя разница в годах и играла свою роль. В первую же встречу меня осенила мысль: вот человек, который ответит на все мои вопросы, который познакомит меня с настоящими людьми, с какой-нибудь организацией! Меня после приезда в Ленинград не покидала догадка, что какие-то оппозиционные организации существуют, не могут не существовать. И я, конечно, мечтал разыскать их. И теперь мне показалось, что этот пришедший ко мне человек — посланец некоей тайной организации.

Но я, естественно, не мог сразу спросить его об этом.

Как и когда-то с С. В. в Курске, мы беседовали с Пименовым, гуляя. Он рассказал мне, что ректор университета Александров, уважая его как математика, тем не менее сказал недавно: „Таких людей, как вы, на Колыму ссылать надо” и запретил ему появляться в пределах университета.

Говорили мы с ним и о „легальных методах борьбы”. Причем степень взаимопонимания была такая, что не требовалось уточнять: борьбы с кем? или с чем?

Легальные методы... Это было для меня внове, я был более настроен на что-то нелегальное — листовки, тайные организации, программы... Но Пименов разъяснял мне, что время сейчас такое, что можно выступать на собраниях, диспутах, писать письма в редакции, депутатам. Главное — не бояться. Он, например, разослал письма депутатам Верховного Совета СССР, предлагая им выразить недоверие правительству в связи с вводом войск в Венгрию. И по-

ставил свою фамилию и адрес, как он всегда делает. И никто его не трогает: ведь он пишет депутатам, за которых голосовал. (На самом деле почти все письма были пересланы — депутатами или их секретарями — в КГБ, и за Пименовым уже следили и не арестовывали только потому, что не было еще команды „хватать”. Кажется, только один депутат, врач академик Бакулев, имел мужество вступить в переписку с Пименовым по „венгерскому вопросу”, а главное — не переправил его письмо „органам”).

Я с интересом выслушал его доводы в защиту легальности, но полностью не был с ним согласен. Пименов сказал мне, что есть у него ряд вполне легальных статей, например, статья „Об историческом романе”, которую он уже послал в журнал *Вопросы истории*. Эта статья — об эсерах, о правильном освещении истории этой партии. Он предложил мне собрать моих друзей по библиотечному институту, а он прочитает нам эту статью.

Он совсем не считал, что на это чтение нужно приглашать каких-то „проверенных” людей. Однако я решил подать своим приятелям эту встречу под более острым соусом. Я сказал им (каждому отдельно): „Хочешь послушать лекцию на тему 'Легальные методы борьбы'?”. И все 6 или 7 человек ответили согласием. И опять же никому из них не надо было объяснять, какой именно борьбы. Такое было время, что мы понимали такие вещи с полуслова, хотя с каждым из этих студентов у меня была разная степень приятельских отношений. Один из них попросил разрешения привести на „лекцию” студента из другого института, и я согласился.

Теперь вопрос упирался в помещение. Хотя лекция будет „о легальных методах”, но провести такую лекцию в нашей „ночлежке” было, конечно, невыносимо — все-таки было тут что-то крамольное („борьба”). Поэтому я пошел на хитрость: взял у вахтера ключ от одной из аудиторий института под видом занятий эсперанто. Туда, в большую аудиторию на 2-м этаже, и пришли Пименов со своим манускриптом и мои приятели, которые потом будут фигурировать в приговоре Ленгорсуда как „антисоветская группа библиотечного института”.

Мои друзья (не без моих намеков) восприняли Пименова как „товарища из Центра” (центра некоей нелегальной организации) и сразу атаковали его заявлениями, что никакая легальная борьба в СССР невозможна. Ему даже не дали прочитать его статью об эсерах, а только спорили, спорили. Я думаю, что он и сам не предполагал, что дело здесь пойдет так далеко. Он защищал как мог легальность, а „бибмальчики” (так нас иногда называли) требовали нелегальных (не уточняя, каких именно) методов.

Особенно горячился самый старший из нас — Виктор Кокорев. Он говорил, что у него есть связи с рабочими и что „рабочие нас поддержат”. (Тщательный анализ его поведения и показаний на следствии не оставил впоследствии сомнений в том, что он уже тогда был связан с КГБ.)

Потом заговорили о дискуссиях в связи с Пикассо, о предстоящем диспуте на площади Искусств, причем некоторые говорили „диспут”, другие — „демонстрация”. Демонстрация в защиту или против чего? — этого никто не мог толком сказать. Пименов говорил, что такой диспут — тоже вещь легальная, надо только не допустить, чтобы он перерос в политический митинг. Надо, чтобы власти не имели оснований запретить его. Для этого нужно, чтобы все выступающие говорили только о Пикассо, а никак не о политике.

— Опасность сейчас слева, а не справа, — говорил Пименов. — Нельзя дать спровоцировать себя.

— А если все же кто-нибудь заговорит там о политике? — спросил кто-то.

— Тогда давайте стащим его со скамейки!

Предполагалось, что выступать на площади Искусств будут, стоя на садовых скамейках. Так и порешили.

И — говорили мы — диспут на площади будет пробным камнем в нашем споре с Пименовым. Или он пройдет нормально — и тогда возможна легальная деятельность, или нам не дадут говорить — и тогда Пименов неправ.

На площадь Искусств решено было идти всем, но порознь. И приводить с собой друзей.

О 21 декабря у нас в институте знали многие. Я спросил

одну студентку, пойдет ли она туда. „Но я же не хочу, чтобы меня арестовали!” — ответила она. Другую девушку я пригласил-таки пойти со мной и в назначенное время ждал ее на ул. Бродского. Но она не пришла (тоже испугалась, видимо). Я шел по улице Бродского по направлению к площади Искусств и уже издали заметил большое скопление людей. Возле садика, где и предполагалась дискуссия, маршировала взад-вперед рота солдат под командой офицера. В самом садике другая рота стояла по стойке „вольно” и как бы выжидала чего-то. Была масса студентов, и они все прибывали. Напряженно всматривались в нас люди в штатском, но в хромовых сапогах. Наконец, на лавочках отдыхали пенсионеры, не подозревавшие вовсе о происходящем и удивлявшиеся необычному наплыву публики и военнослужащих. Я увидел нескольких милиционеров, они подошли к сидящим на лавочке пожилым людям: „Ваши документы! Пройдите!” Люди поднимались и уходили, недоумевая, почему нельзя сидеть на лавочке. Но, конечно, никто не рисковал протестовать. Раз велят — надо уходить.

В тех местах, где студенты собирались в большие группы, милиция и люди в штатском вклинивались в них и, требуя документы, выгоняли с площади. Так постепенно вся публика рассеивалась с площади и из садика, а приходящие вновь, увидев милицию и солдат, тут же уходили.

Вдруг я увидел, как милиционеры заламывают назад руки молодому человеку, который громко цитирует статью Советской Конституции о свободе „уличных шествий и демонстраций”. Кажется, это был студент университета Александр Гидони. Он был, конечно, арестован.

Да, мы готовились ко многому, но к тому, что мирная дискуссия о Пикассо будет упреждена милицией и войсками — к этому мы не были готовы.

Впоследствии я слышал, что разгон несостоявшейся дискуссии был согласован ленинградским начальством с Кремлем и что Булганин якобы сказал:

„Начинается как в Польше, а кончится как в Венгрии”.

Через несколько месяцев, уже будучи под стражей, я

спросил своего следователя лейтенанта Кривошеева:

— Почему вы нарушили Конституцию, не разрешив нам собраться на площади Искусств?

— Лучше нарушить Конституцию, чем допустить кровопролитие, — ответил он.

Мы были очень возбуждены происходящим на площади и еще не знали, что же теперь предпринять, как из уст в уста стало передаваться: „Герцена, 34. Идите на Герцена, 34!” Мне и моему приятелю сказал это подошедший длинноволосый студент. (Длинные волосы тогда носили, в основном, студенты из Академии Художеств.)

Не зная, что это за адрес, мы, тем не менее, пошли к улице Герцена. Оглянувшись, мы видели, что толпа растекалась с площади маленькими ручейками. Большинство ручейков текло в нашем направлении.

Сколько пришло людей на площадь Искусств 21 декабря 1956 года между 6 и 7 часами вечера? Самое малое человек 500, но было бы, думаю, и 1000, если бы не милиция и войска, отпугнувшие многих.

„Вот тебе и „легальные методы борьбы”! Нет, Пименов не прав”, — только эта мысль безотвязно вертелась в голове, пока мы шли на Герцена, 34.

Впрочем, я полагал, что легальные и нелегальные методы можно как-то совмещать. К этому же пришел и Пименов после событий на пл. Искусств. Но нельзя забывать и того, что, допустим, человек пишет критические письма в редакции, подписывая их и указывая свой адрес. А завтра он идет договариваться с другим о листовках. Но ведь после писем в редакцию за ним будут следить! И выследят его связь с тем „нелегальным”, кто готовит листовки. Этот момент не был никем продуман.

До конца последовательны были в своей сугубо легальной деятельности такие люди, как Орловский и Пирогов. Но, разумеется, и в этом случае они не могли быть застрахованы от обысков и арестов. (А кто в нашей стране от них застрахован?)

И вот, наконец, Герцена, 34. На стене доска: „Выставочный зал Союза Ленинградских художников”. Заходим.

Картины по стенам. „Осенняя выставка”, говорит кто-то. В большом зале — солидная публика в партере, кто-то выступает — идет обсуждение этой выставки, — говорит о колорите и перспективе. А молодежь все прибывает с площади Искусств. Берет слово пожилой человек, называет свою фамилию и профессию: „милиционер-пенсионер”. Говорит о том, что надо рисовать кукурузу, что ее можно изображать по-разному, потому что в разных колхозах к ней по-разному относятся. Смех в зале, хотя человек говорил на полном серьезе.

Просит слова студент Иванов, один из пришедших с площади. И когда он говорит: „студент” — приличная публика сразу же как-то настораживается. Иванов говорит о Пикассо, об изоляции от Запада и — без особого акцента — о „сорока годах рабства мысли”. Галерка (это все студенты) бешено аплодирует ему, партер явно недоволен.

Берет слово девушка, называет себя: Юлия Красовская, студентка консерватории. Горячо и взволнованно рассказывает она, как студенты хотели говорить о Пикассо, им не предоставляли нигде помещения, они решили собраться на площади, а там их встретила милиция.

„Так я себе и представляла аракчеевский режим!” — заканчивает она свое выступление под гром наших аплодисментов. Обсуждение на этом заканчивается, девушку окружает молодежь... Завтра ее фраза об аракчеевском режиме облетит все вузы Ленинграда, о ней узнают все музыканты, писатели, художники.

„Аракчеевский режим”! О Юля Красовская! Когда этой ночью Госбезопасность арестует тебя в твоей собственной квартире, арестует всего лишь за одну эту фразу, ты, быть может, поймешь, что аракчеевскому режиму куда как далеко до этого террористического и лицемерного „самого холодного из чудовищ”.

Красовскую продержали в тюрьме только 12 дней, ее определенно продержали бы и больше, если бы не глухой ропот интеллигенции в Ленинграде, безусловно дошедший до властей. Говорят, она вышла из тюрьмы надломленной,

избегала общения. Как бы там ни было, теперь всю жизнь за ней будет ходить досье, и при случае её всегда вспомнят эту роковую фразу.

Через несколько дней мы встретились снова с Пименовым. Говорили о поражении „легальных методов”, об арестах Гидони и Красовской — эти имена были у всех на устах, о том — что же дальше? Нас было на этой второй встрече с Пименовым человек семь, и почти у каждого были связи в других институтах, так что всякую информацию можно было уточнять и проверять.

Помню, Пименов был очень удручен неудачей с демонстрацией. Конечно, этот разгон, эти аресты сильно подтолкнули нас в сторону конспирации. Зрела мысль о создании организации, о печатных изданиях (газета? журнал?).

Но вся наша конспирация не стоила и ломаного гроша, поскольку внутри нашей группы был по меньшей мере один осведомитель КГБ... Помню, однажды на такой встрече с Пименовым кто-то сказал, что если в России собираются трое, то один должен быть „стукачем”. Пименов обвел всех глазами: „Нас здесь семеро... значит...”

Кто-то рассказал о событиях в Академии Художеств. После 21 декабря ЦК КПСС вызвало в Москву Твелькмейера (того, кто экзаменовал меня) — дать отчет об участии его студентов в „демонстрации”. Не доехав до Москвы, Твелькмейер умер в поезде от разрыва сердца — так велик был его страх перед ЦК.

Что касается нас самих то мы не испытывали страха — хоть КГБ и держало нас под своим контролем, готовое в любой момент захлопнуть мышеловку (мы ведь не предполагали этого)... Но перед легальными, открытыми действиями бессилен любой осведомитель. Тут он не принесет пользы, ведь человек сам, сознательно, преодолев свой страх, „выдавлив из себя раба”, ставит, например, свою подпись под петицией, и ему не нужна конспирация.

Мы не отвергли полностью легальные методы. Именно в это время мы (и не только мы) инспирировали кампанию писем в разные издательства с просьбой издать ро-

ман *Не хлебом единым* Дудинцева, который до этого был напечатан только в журнале. Мы, будущие библиотекари, уже сейчас проходившие практику в разных библиотеках Ленинграда, особенно сетовали в своих письмах на то, что не в силах удовлетворить читательский спрос на эту книгу и просим издать ее отдельным изданием. Ответов мы, как правило, не получали. Однако, видимо, не одна тысяча подобных писем пришла в издательства, и вот уже в августе 1957, на нашем суде, друзья, оставшиеся на свободе и попавшие на чтение нашего приговора, показывали нам издали книжку в зеленом переплете, и через головы и винтовки конвоя мы разобрали надпись: *Не хлебом единым*. И это воспринималось как маленькая победа, хоть мы и были в застенке.

Не менее популярно было в то время и другое произведение, написанное в том же 1956 году — это рассказ А. Яшина *Рычаги*. С высоты сегодняшнего дня этот небольшой рассказ, может быть, даже емче и значительнее, чем роман Дудинцева. В *Рычагах* описывается партийное собрание в колхозе. Каждый из партийцев прекрасно понимает официальную ложь, между собой они смело критикуют местное партийное начальство, но узнав, что их разговоры случайно подслушала старуха-уборщица (которая в рассказе как бы символизирует народ), чувствуют себя неловко: нельзя же вести откровенные разговоры при народе! Когда же парторг официально открывает собрание, то все пятеро преображаются: они снова лояльные партийцы и делают то, над чем смеялись перед собранием, — принимают ходульные резолюции. Собрание кончается, и они снова люди, а не „рычаги“, как их назвал секретарь райкома. Словом, это была первая художественная попытка изобразить двойственность советской жизни: люди говорят не то, что думают, и это естественно с их точки зрения.

Неудивительно, что альманах *Литературная Москва*, в котором был напечатан этот рассказ Яшина, после двух номеров перестал выходить в свет. Я думаю, что такой рассказ мог быть напечатан только в 1956 году — не раньше и не позже.

В другом рассказе — *Собственное мнение* Д. Гранина — мы познакомились с нравственной эволюцией молодого человека, который прятал свою смелость до лучших времен, когда сам станет начальством. А пока этому начальству поддакивал. И вот он постарел, и сам стал начальством, а где же его смелость? Вписавшись в систему и войдя во вкус привилегий и власти, он стал таким же бюрократом, каких когда-то тайно ненавидел. Этот рассказ наводил на мысль, что нельзя оставлять свой протест на „потом”, что „потом” никогда не будет, если не будет „теперь”.

Если народники 70-х годов говорили о *Что делать?* Чернышевского как о книге, повлиявшей на их мировоззрение, то „диссиденты” 50-х годов упоминали Дудинцева, Яшина, Эренбурга...

И все же больше, чем беллстристика, повлиял на всех нас документ партийный и сугубо официальный, хотя и остающийся через 22 года все еще секретным в Союзе, — закрытый доклад Хрущева.

Я уже писал, что этот доклад зачитывался на партийных собраниях. И вот в Ленинграде нашлись такие смелые члены партии, которые не побоялись застенографировать этот доклад. Несколько партийцев на разных партсобраниях сделали тайком стенограммы, а потом произвели сверку текстов. Доклад был напечатан на пишущей машинке. Его продолжали размножать и распространять и в 1957 году. Кто были эти бесстрашные люди? Видимо, это были друзья Пименова или друзья его друзей. Я не назвал бы их имена здесь, если бы даже и знал их, так как даже через столько лет это был бы интересный материал для КГБ.

Мне этот доклад дал Пименов, и, когда я читал его, мурашки пробегали по коже. Было это уже в феврале 1957 года, незадолго до нашего ареста. Несмотря на то, что я держал в руках выверенный текст доклада первого секретаря ЦК КПСС на партийном съезде, я не мог рискнуть дать его почитать любому студенту, так как доклад был все-таки секретным, а наше издание его, таким образом, делом „нелегальным”.

Доклад имел постраничные комментарии, составленные умно, толково, человеком, хорошо знающим юриспруденцию и историю. Этот комментарий раздвигал рамки доклада: если Хрущев говорил, например, о ссылке в Сибирь целых народов — чеченов, ингушей и калмыков, то комментатор напоминал о крымских татарах, немцах Поволжья, карачаевцах, греках. Или, например, комментарий давал справку о смертной казни в СССР: когда была введена, когда отменена, когда введена снова, за что и т. д. В этом комментарии не было никаких оценок, политических или идеологических. Только факты.

Однако, кроме фактов, люди нуждаются еще и в концепциях. К докладу Хрущева следовало послесловие на 2-3 листах. Послесловие было анонимным (потом Пименов признал, что он его автор), и называлось оно „По поводу речи Н. С. Хрущева”. На нем стоит остановиться подробнее, так как именно это послесловие, а не сам доклад инкриминировали нам в 1957 году, а затем снова в 1970. Хотя в 1957 году это послесловие было названо „антисоветским”, а в 1970 — „клеветническим”, пусть читатель беспристрастно судит сам, как его можно квалифицировать. Главная мысль послесловия: Сталин не перед пустыми стульями команды отдавал, его сообщники живы и находятся у власти (фамилии не назывались, но имелись в виду прежде всего Молотов, Маленков, Каганович, Микоян). Далее проводилась историческая параллель: когда в 1909 году стало известно, что один из лидеров партии эсеров Азеф — сотрудник царской охраны, то ЦК этой партии подал в отставку, и был выбран новый состав ЦК.

Был там и слегка завуалированный выпад против Хрущева: говорилось, что, похоже, „культ личности” возрождается снова, что деятельность ЦК и его Президиума продолжает быть тайной для советских людей. Тайной являются даже родственные связи между правящими семьями. В заключении автор спрашивал: в чем причина культа личности? И отвечал: в нашей собственной трусости. Нужно перестать бояться **открыто** выражать свое мнение: это единственная

гарантия против повторения прошлого. За открытое выражение своих мнений никого не арестуют.

Здесь, конечно, была ошибка, порожденная иллюзиями 1956 года (послесловие это было написано вскоре после XX съезда): многих и многих арестовывали за открытое высказывание мнений и за письма в официальные инстанции. Но в целом установка на освобождение от страха была существенно верной и стала целью правозащитного движения. Пименов, пропагандируя легальные методы, шел, как и Орловский, Пирогов и другие, впереди своего времени.

Призыв „не бояться” был высказан Пименовым за 15 лет до солженицынского *Жить не по лжи* и, как всякий прекрасный моральный призыв, был несколько абстрактен. Конкретно же для нас, студентов, выполнение заповедей „не бояться” и „жить не по лжи” могло означать одно: исключение из институтов с последующей „сдачей в солдаты”. А мы этого не хотели... Меня спросил однажды в лагере один заключенный, сам бывший студент: почему 100 лет назад студенты бросали университеты, чтобы идти „в народ”, а нынешняя молодежь отчаянно стремится поступить в вуз и учиться. Что я мог ответить на это? Разве только сказать, что между нынешними студентами и народом уже нет того огромного расстояния, которое было при Александре II, что эти студенты и есть „народ”. Но это, наверное, была не вся правда. Ведь установка на высшее образование была привита нам с детства. И идти в армию или к станку нам очень не хотелось.

Утверждение, что „культ личности” порожден „нашей трусостью”, справедливо, мне кажется, лишь наполовину. Ибо так же верно и противоположное утверждение: трусость есть порождение этого режима.

Если сравнить это послесловие с нашей курской листовкой, то все будет говорить в пользу Пименова: послесловие было в цель, оно было привязано к вполне конкретному событию — докладу Хрущева, оно анализировало причины и следствия и предлагало доступную каждому и высоко моральную линию поведения.

Как бы то ни было, это послесловие сыграло роковую роль в моей жизни: дважды судьи ставили мне в вину его распространение.

Нужно сказать, что в библиотечном институте в ту пору, помимо меня и моих товарищей (так называемой „анти-советской группы”), многие молодые люди и мыслили и говорили в том же „антисоветском русле”, но совершенно независимо от нас. Читали Дудинцева и Яшина, переживали за Венгрию, стремились узнать больше о Западе (некоторые даже общались с иностранцами, что само по себе было предосудительно, если эти иностранцы не из „братских” стран). Существовал некий драмкружок института, и он поставил пьесу-пародию, написанную одним из наших студентов, о библиотеках в эпоху неолита. И библиотекари, и читатели ходили по сцене в шкурах, волокли огромные камни с клинописью („книги”), и их беседы были полны весьма прозрачных намеков. Говорили, например, о том, что „по соседству взбунтовалось стадо буйволов, пастух не смог с ними справиться, пришлось приглашать пастуха из другой общины”. Я был на генеральной репетиции этой пьесы и видел, как хмурился парторг. Естественно, он воспринял этот пассаж как намек на Венгрию, и этот спектакль был им запрещен.

Однажды мы узнали, что американское посольство прислало в библиотеку нашего института десяток номеров журнала *Америка*. Этот журнал на русском языке согласно советско-американской договоренности должен был свободно распространяться в СССР, как и аналогичный советский журнал в США. На практике же все экземпляры *Америки* попадали всегда только в руки партийной элиты. Для нас этот журнал, несмотря на некоторый рекламный его характер, всегда представлял интерес: мы могли узнать много нового о культуре, технике, искусстве, законах и экономике США. Этот журнал всегда был сугубо легальным, но достать его в библиотеке или купить в киоске, а уж тем более подписаться на него — было просто невозможно. И вот он, оказывается, в нашей библиотеке! Я иду туда и спрашиваю:

- У вас есть журнал *Америка*?
- Нет, — отвечает мне пожилая усталая женщина.
- Но я знаю, что американское посольство прислало вам его! — настаиваю я.
- Да, они прислали, но мы его не выдаем читателям.
- Но почему?
- Потому что мы их об этом не просили. Мы не просили американцев присылать нам этот журнал.

Но вообще в 1956 году многие издания, бывшие до этого недоступными, стали выдаваться читателям. В той же нашей библиотеке можно было взять, например, Фрейда — советские издания его трудов 20-х годов. Брали мы и Евангелие, и Коран. А в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, обладая дипломом о высшем образовании, можно было взять в читальном зале даже *Нью-Йорк Таймс* (я не уверен, правда, что все номера там были). Несколько раз я обманным путем проникал в этот зал и листал западные газеты, но мои познания в английском были совершенно недостаточны. Смотрел я там и каталоги западных журналов, искал однажды журнал *Проблемы коммунизма*, но в каталоге такого не было.

Ни я, ни Пименов, ни мои друзья по институту не распространяли журнал *Америка*, прежде всего потому, что у нас его не было, А доклад Хрущева (с послесловием), некоторые статьи польских критиков (например, Яна Котта из журнала *Пшегленд Культуральны*), интервью П. Тольятти журналу *Нуови Аргоменти*, речь Тито в Пуле 1956 года о Сталине, доклад Э. Карделя о рабочих советах — все это ходило у нас по рукам, хотя сфера распространения и была небольшой. С докладом Карделя произошла необычная история: он был переведен кем-то из наших сразу же, как только был опубликован в декабре 1956 в югославской прессе. Мы читали его как материал почти что нелегальный, и вдруг в первом номере советского журнала *Коммунист* за 1957 год он был опубликован! — Теперь нам оставалось только рекомендовать другим читать этот номер сугубо партийного журнала...

Нечто подобное произошло с поэмой Твардовского

Теркин на том свете. Мы получили ее — видимо, из писательских кругов — в рукописном виде и не могли поверить: неужели этот высокопоставленный лауреат написал такую сатиру на советские порядки? Искренне говоря, я сомневался: не приписывается ли это ему? Но вот прошло 5-6 лет, и газета *Известия* напечатала ту самую поэму, которая была изъята у студента Вишнякова, приобщена к „делу” и хранится до сих пор в архивах Ленинградского УКГБ.

Что запрещено и что разрешено в этой стране?

Разве не полна скрытой иронии ситуация, когда „критики режима” тайно, рискуя своей свободой, распространяют текст речи главы этого режима?

Но ведь это уже было, было! За 30 лет до этого другие „оппозиционеры” распространяли „Завещание” Ленина и их сажали за это в тюрьму. Но было и существенное различие: те все-таки считали себя ленинцами (как и их палачи). Мы же не считали себя „хрущевцами” и понимали, в общем, что разговоры о „верности ленинизму” и „диктатуре пролетариата” — всего лишь удобная ширма и что речь, видимо, идет о борьбе за власть между разными группировками наверху.

Однажды Пименов дал мне книгу, долгие годы бывшую изъятой. Это было старое издание Джона Рида *10 дней, которые потрясли мир*. Пименов сказал мне, что теперь эту книгу можно распространять легально.

Эта книга произвела на меня, как и на многих других молодых людей, большое впечатление. Свободный по-западному стиль изложения, множество цитат из закрытых и запрещенных для нас источников, наконец, более объективная, чем наша официальная, картина Октябрьского переворота — все это было ново для нас. Мы привыкли к тому, что вождем Октября был Ленин, а по этой книге выходило, что практически переворот произвели другие люди: Троцкий, Подвойский, Дыбенко, Антонов-Овсеенко. Я потом немало встречал людей, для которых *10 дней, которые потрясли мир* были первой книгой, приблизившей их к новому взгляду на Октябрь и на революцию вообще. Кроме всего прочего, в конце книги было приложение, где Джон Рид приводил

статистические данные о зарплатах разных категорий рабочих и ценах на главные предметы потребления перед революцией. Молодые люди начали анализировать эти цифры и сопоставлять их с сегодняшним днем. По многим показателям сравнение было не в пользу 1956 года.

Эта книга вскоре после нашего ареста была издана, теперь она доступна каждому, она даже поставлена на сцене. Но новое поколение уже не получает от нее того импульса, который получили мы. Для них она разве что справочное пособие, одно в ряду многих.

Энтузиазм молодого американского коммуниста легко понять: он действительно видел в Октябрьской революции зарю нового мира. Но повернись обстоятельства несколько иначе, он непременно разделил бы судьбу многих своих персонажей — в подвалах Лубянки.

Что касается моего сомнения в авторстве Твардовского *Теркин на том свете*, то невольно вспоминается мне 1968 год, когда я услышал о трактате Сахарова *Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе*. Мне показалось невероятным, чтобы советский академик мог осмелиться написать такую вещь, да еще дать ей огласку. „Нет, — подумал я, — это кто-то другой написал. Хорошо написал, но зачем он мистифицирует публику?”

В 1956 году мы обсуждали проблему „либералов”. Так, используя терминологию и способ мышления революционеров начала века, мы называли видных писателей, ученых, музыкантов, которые так или иначе сочувствовали демократизации страны. Безусловно, мы считали либералами Берггольц, Паустовского, Эренбурга, того же Дудинцева. Но мнение наше о них было неутешительным:

„Либералы даже платонически не с нами”, — сказал как-то Пименов. Но это оказалось заблуждением: позднее сам Пименов был освобожден досрочно из тюрьмы из-за давления „либералов” на власть.

Вопрос этот требует уточнения: тогда мы сами себе казались революционерами и могли по-большевистски свысока

посматривать на либералов. Однако именно удушение либерализма (как и недостаточное развитие капитализма) создало благоприятные условия для тоталитаризма. Мы не понимали тогда всего этого. Но прошло несколько лет, и именно „либеральная” интеллигенция, а не какая-нибудь другая прослойка населения создала феномен правозащитного („демократического”) движения.

Кто же был сам Пименов? Его отец, ветеринар по профессии, служил в годы гражданской войны в ЧК. Репрессирован никогда не был. Мать была учительницей в школе. Во время войны они были вольнонаемными в Магадане, в принципе могли видеть в колонне заключенных моего отца. Сам Пименов говорит, что мучительные размышления о жизни появились у него там, на Колыме, когда он видел погрузку заключенных в баржи.

Родился он в 1931 году, а в 1949 подал заявление о выходе из комсомола (он учился в это время в Ленинградском университете), в связи с антиюгославской кампанией. Его засадили в сумасшедший дом. Профессор-психиатр Случевский получил от санитаров сумасшедшего дома рукопись, „изготовленную” Пименовым в палате. Профессор квалифицировал эту рукопись как маниакальный бред больного, свидетельствующий о маниакально-депрессивном психозе и мании величия. На самом деле это был рассказ Горького *Человек*, который Пименов знал наизусть (вообще у него гениальная память) и который он воспроизводил от нечего делать.

„Вперед и выше! Все вперед и выше!” Так неожиданно романтический рассказ Горького был проанализирован с точки зрения советской психиатрии.

В конце концов Пименову пришлось согласиться остаться в комсомоле. Можно представить, как морально тяжело было ему в то время, когда единственными друзьями его были книги. Я думаю, именно тогда, в 1949 году, он должен был чувствовать особенно остро свое „отщепенство”.

Словом, Пименов уже 7 лет размышлял над общественными проблемами, изучал историю, право, языки, филосо-

фию, хотя основным его предметом была математика, а еще уже — геометрия и аксиоматика геометрии. В это время он уже начинал работать над своей будущей кандидатской диссертацией, но бурная общественная деятельность отрывала его от этого.

Он был уже не одинок: с ним были его друзья-математики, встречавшиеся в 1956 году и обсуждавшие 20-й съезд и „оттепель”. Они называли свой кружок то „обществом сумасшедших на свободе”, то „Вольный Российский университет” (ВРУ). Но за всеми этими шутивными названиями стояли эрудированные молодые люди, пытавшиеся пробиться к истине. Все они были математиками и больше доверяли точным наукам, чем демагогии „общественных наук”, как они преподавались в вузах.

Накануне 7 ноября 1956 года среди них зашел любопытный разговор. Кто-то предложил подойти к предстоящей демонстрации с математической точки зрения, а именно: подсчитать, каков процент портретов того или иного советского лидера будет в руках у демонстрантов. Тогда можно будет решить, кто в данный момент обладает большей властью в ЦК (Хрущев, Булганин или, быть может, Молотов). Затем на следующей демонстрации, 1 Мая, снова произвести подсчет и таким образом установить, кто из лидеров стал за полгода влиятельнее и насколько.

Я, разумеется, ничего не знал тогда об этом. И только на следствии, в частности, читая 5-томное дело (показания свидетелей, „вещественные доказательства”), узнал я и о существовании других кружков, подобных кружку в библиотечном, о судьбах людей и их взглядах, о таких вот социологических исследованиях. Разумеется, и КГБ, и суд были возмущены столь, в общем, невинной затеей, как этот беспристрастный подсчет портретов. В самом таком подходе властям чудится какое-то холодное неуважение к ним. Разумеется, саму идею такого подсчета они не смогли объявить антисоветской, но она вызвала в них глухое и сильное раздражение: „Зачем это вам?”

Действительно, зачем? Никакой ведь материальной выгоды нету.

Этот же вопрос они задали в 1976 году Орловскому, когда при незаконном обыске в аэропорту нашли у него составленный им список членов и секретарей ЦК КПСС начиная с 1921 года с указанием должности и датой смерти. „Зачем это вам?“ — спросил его офицер.

Тоталитарное государство не терпит такого исследовательского подхода к своим тайнам. Оно испытывает страх перед духом свободного исследования.

Позднее из одной советской брошюры я узнал, что анализ, предложенный молодыми математиками, называется „дезигнационным“ (его предложил Гарольд Лассуэл).

Пименов обсуждал с другим математиком Заславским возможность составления фактологического сборника, где сравнивался бы СССР с США — по всем показателям: от производства стали до числа эмигрантов и безработных. Как математики, они полагали, что цифры будут говорить сами за себя. Конечно, им не удалось бы составить такой сборник, так как многие цифры по СССР были для них недоступны. Тем не менее, суд квалифицировал само это намерение как антисоветское и включил его как пункт обвинения и Заславскому, и Пименову. Вещественное доказательство — лист бумаги, расчерченный вертикальной линией, в левом углу которого написано „СССР“, а в правом — „США“. И заголовок: „Анкета страны“.

Заславскому инкриминировалось также „написание анти-советской статьи“. Эту статью он действительно начинал писать, первая фраза была: „Могут ли социалистические страны воевать друг с другом?“ Затем следовало несколько абзацев, но весь этот лист был самым Заславским перечеркнут и в таком виде изъят у него при обыске. Никому никогда он не показывал этот черновик. Но это его не спасло — листок стал пунктом обвинения. В самом деле, уже один вопрос как кощунственно сформулирован!

Но прошли годы, и я прочел нечто подобное в журнале *Новый мир*, где разбирался советско-китайский конфликт: оказывается, могут социалистические страны воевать друг с другом.

Каковы были взгляды этих математиков? Я не ошибусь, если скажу, что все они были социалистами, но не все марксистами. Но трезвый позитивистский подход приближал их к марксизму. Что касается группы библиотечного института, то тут были более юные, не получившие достаточного образования, люди. Но и они были социалистами.

И математики, и будущие библиотекари сплошь были атеистами. Что касается меня, то я за эти месяцы повзрослел, и если я не задумывался над понятием „социализм”, „марксизм”, то тут уж во всяком случае культ Наполеона или, скажем, слепая апологетика капитализма уже не могли меня загипнотизировать. Идея **рабочих советов** владела тогда многими умами, импонировала она и мне.

Пименов в своем личном дневнике, который он никому не давал читать и который, тем не менее, был приобщен к делу, писал: „Для меня фильм *Рим в 11 часов* — символ капитализма”. Словом, его антикапиталистические взгляды не были ни для кого секретом. Другое дело, что он, возможно судил о современном капитализме на основании недостаточных данных. И вообще такой подход следует считать скорее эмоциональным, чем научным.

Негативным было и его отношение к эмиграции. Он полагал, как и Желябов, что находящиеся „там” лишены права давать советы. (А как же Герцен? Плеханов? Ленин?) Я думаю, он уже тогда не считал существующий строй социалистическим, тем не менее он был патриотом. Не один раз в своих заявлениях властям он говорил о своем вкладе в **отечественную науку** или что, арестовывая его, они уничтожают, может быть, целое направление в **советской математике**. Патриот, читавший Гамсуна и Лукреция на языке оригинала, горячо выступавший против антисемитизма, — не такое уж частое явление...

В зиму 1956-1957 на квартире Пименова собирались друзья, сначала математики, а потом и „гуманитарии”, и он читал там доклады — в основном, о „Народной Воле”, о партии социалистов-революционеров, о Гапоне. Орловский читал там доклад о ВЧК, кто-то сделал краткое сообщение

о враждующих группировках в ЦК КПСС (это был перевод из иностранной газеты). Я там никогда не был, но о стойком интересе Пименова к истории российского освободительного движения знал и без этого. Народолюбцы и эсеры были симпатичны ему из-за высокой нравственности, явно контрастирующей с неразборчивостью в средствах большевистской партии. Но вообще, полагал он, разница между левыми партиями в России не классовая, а нравственная или психологическая.

Идеологические эксперты КГБ из числа ленинградских профессоров, получившие после нашего ареста тексты исторических пьес Пименова, написали в своем заключении, что **сама тематика** этих пьес говорит о симпатиях Пименова к террористам, а значит, и к террору... против советской власти.

В КГБ, конечно, поняли надуманность этого вывода, обусловленную перестраховкой почтенных профессоров, трепыхавших, очевидно, от страха перед КГБ, и не сочли возможным включить такой вывод в обвинительный акт. Жаль, что я не помню фамилий этих людей, реализовавших по отношению к Пименову лагерную поговорку: „Уми ты сегодня, а я завтра“. Ведь за 20 лет до того их учение заключение стало бы юридической основой для смертного приговора Пименову, а заодно и всем нам. Помнится, там были кандидаты и доктора исторических и философских наук.

Писал Пименов и о Гапоне. Во-первых, ему хотелось восстановить историческую правду об этом деятеле, чье имя, на его взгляд, было незаслуженно оплевано. Во-вторых, во всей гапоновской истории его интересовал один очень существенный момент: возникновение легального рабочего движения. (Думаю, сейчас после событий с группой Клебанова это еще более актуально.) Мы не раз обсуждали с ним дилемму „конспирация и массовость“, и „Союз фабрично-заводских рабочих“ в Петербурге казался идеальным выходом из этого противоречия. И Гапон, и Каляев, и Савинков — все, о ком писал Пименов свои пьесы и статьи — были нам до этого совершенно неизвестны, и мы с любопытством открывали для себя целые материки в русской истории. Да и в нашей

эпохе было что-то неуловимо близкое предреволюционной ситуации, хоть и не было больше партий, и никто не помышлял о терроре, и „либералы” не отваливали нам тысячи „на революцию”.

Писал Пименов и о более близких днях. Однажды он дал мне статью, начинавшуюся словами: „Что такое социализм?”, в другой раз — „Судьбы русской революции”. В обоих рассматривался путь Сталина к власти, его блоки с левыми и правыми и уничтожение сначала одних, потом других, смена лозунгов — от „мировой революции” к „социализму в одной стране”. Пименова нельзя было упрекнуть в каком-либо „уклоне”, он был беспристрастен и объективен, тем не менее эти статьи были признаны „антисоветскими”.

Однако более актуальными, чем статьи на исторические темы, мне представляются наши *Информации*. Это был наш периодический бюллетень, объемом в один машинописный лист (с обеих сторон и почти без интервалов между строчками — для емкости). Здесь помещались сообщения о событиях в стране, о которых нельзя было узнать из наших газет: об обысках и студенческих „страйках”, о нехватке продуктов в провинции, об исключении студентов из вузов за политическую неблагонадежность... География этой информации была обширной: Ленинград, Карелия, Средняя Азия... Я сам дал несколько сообщений в *Информацию*: например, меня поразили летом 1956 года огромные очереди за сахаром в Курске (а Курская область занимала первое место в РСФСР по производству сахара).

Наша *Информация* была прообразом *Хроники текущих событий*, возникшей через 12 лет. Но, конечно, корреспондентов и читателей у *Хроники* несравненно больше, и объем значительнее. Наша *Информация* просуществовала только 4 месяца, а *Хроника* выходит вот уже тринадцатый год. Общим же было то, что оба издания стремились дать точные, проверенные данные и избегать политических и эмоциональных оценок.

Неоднократно на наших встречах с Пименовым в библиотечном институте (в моей „группе”) заходил разговор о

программе. Поскольку мы, мол, создаем организацию, то необходима и программа. Какая же это организация без программы? Однако Пименов отвергал такую постановку вопроса. Мы не должны навязывать народу какую-то свою программу, сказал он однажды. Нужно создать в общественной жизни такие условия, чтобы народ мог сам свободно высказаться.

Его оппонентов это не устраивало. Мы были слишком заражены формализмом этого государства: программы, уставы, членские билеты, клятвы... вся эта псевдогероическая символика прививалась нам с детства.

Однажды Пименов спросил меня, что на мой взгляд важнее в нашей деятельности в данный момент: „теория или практика?”. Я удивился вопросу: важно, мол, и то и другое.

„Видишь ли, — сказал Пименов, — кое-кто считает, что сейчас прежде всего надо развивать теорию. И только когда мы будем теоретически вооружены, когда у нас будет свой *Капитал*, тогда можно будет переходить к практике”.

Я не согласился с этим. Я вообще как-то не думал о „теории”.

Но за словами Пименова стояли (я тогда не знал этого) его споры с его друзьями-марксистами. Это был кружок старых приятелей, учившихся в начале 50-х годов на историческом факультете ЛГУ, а сейчас работавших в различных научных учреждениях и институтах. Некоторые из них состояли в КПСС. Это были ровесники Пименова, но, в отличие от него, все они считали себя марксистами (или марксистами-ленинцами). Он познакомился с ними на диспуте о книге Дудинцева. К этому времени у них уже был спаянный кружок друзей — человек 6 или 7. Были и приятели в других городах — например, Пирогов, о котором я уже писал. Они решили внимательно изучать как теорию марксизма, так и историю КПСС. Для начала они стали разыскивать стенограммы всех съездов и конференций этой партии, начиная с первого. Тогда это была нелегкая задача, хотя именно в то время Политиздат начинает понемногу издавать и переиздавать эти документы (это не закончено и до сих пор).

Некоторые из них делали переводы из западных коммунистических газет. Они внимательно следили за событиями в Восточной Европе и в Китае. Они написали коллективное письмо в газету *Женьминьжибао*, где оспаривали (в очень корректной форме) какие-то теоретические построения китайских идеологов. Момент их знакомства с Пименовым совпадает по времени с венгерскими событиями. Естественно, именно Венгрия, а не история КПСС, оказывается в центре их бесед и споров. По горячим следам они вместе с Пименовым пишут анонимный документ *Тезисы о венгерской революции*, а позже — более пространную статью *Правда о Венгрии*. Оба эти документа распространялись нами и в кружке библиотечного института, и вне его. И оба, конечно, признаны криминальными и поставлены в вину мне и Пименову.

Особый упор в этих статьях сделан на рабочие советы в Венгрии, возникшие как органы революционной власти. И, конечно, авторы протестовали против подавления восстания советскими танками. В *Тезисах о Венгерской революции* цитировались слова Ленина о том, что свободу нельзя принести на иностранных штыках (положение, я думаю, опровергнутое опытом конца Второй мировой войны, когда свобода некоторых государств от нацизма была завоевана при помощи штыков антигитлеровской коалиции). Этот тезис вызывал особую ярость наших следователей и судей, и пришлось даже затребовать на следствии том собрания сочинений Ленина, чтобы они могли убедиться, что Ленин действительно так говорил.

Когда писались и обсуждались эти статьи, то эти марксисты полагали, очевидно, что они продолжают заниматься теорией. На самом деле это было уже, конечно, и практикой. Кто вообще скажет, где грань между этими понятиями, тем более в стране, где за выраженную мысль судят?

Не будучи марксистом, Пименов не всегда и не во всем соглашался со своими новыми друзьями. „Как с точки зрения классовой борьбы объяснить культ личности?“ — спрашивал он их и не получал толкового ответа. Может быть,

Мартов или Джилас смогли бы ответить ему на этот вопрос на научном уровне.

Я думаю, общение Пименова с марксистами было полезно обеим сторонам: в спорах рождалась истина. Он мог многое им рассказать об истории русского революционного движения (его познания были в этом обширнее) и разрушить их, со школьных лет привитый взгляд, по которому история русских революций — это и есть история КПСС.

Зная о желании членов этого кружка заниматься только „теорией”, Пименов и не пытался вовлекать их в какие-либо практические акции. И не знакомил их с членами других кружков. Я впервые увидел этих людей на суде, а перед этим только читал протоколы их допросов в КГБ. Здесь я не называю их фамилий, потому что все они по-прежнему живут в СССР.

Хотя я и не испытывал особой потребности в „теории”, а рвался к организационной деятельности, но перед своей поездкой в Курск на зимние каникулы в январе 1957 года стал усиленно просить у Пименова какой-нибудь программный документ. Я сказал ему, что в Курске у меня есть „люди” (не помню, употреблял ли я слово „организация”), и я должен приехать к ним не с пустыми руками. Я решил, что я ошарашу своих друзей-провинциалов рассказом о том, что в Ленинграде есть некая тайная организация. Но я ведь должен подтвердить свои слова доказательствами. Правда, я вез туда нашу *Информацию* и еще что-то, но я полагал, что нужна и программа. Смешно, конечно, было требовать сочинить программу за несколько дней. Но все-таки я убедил Пименова, и он, провожая меня на вокзале, дал мне рукопись на 1-2 листах. Это были тезисы, и среди них такие: „Фабрики — рабочим”, „Землю — крестьянам”, „Культуру — интеллигенции”. Последняя формулировка была явно неудачна, но там пояснялось, что имеется в виду „право интеллигенции свободно творить культуру”.

Этот документ не фигурировал в суде, о нем следователи узнали с наших слов, тем не менее он был признан антисоветским. Но ведь любой мало-мальски грамотный человек

скажет, что два первых требования — это лозунги Октябрьской революции! Если сейчас можно за это судить, то вот какова пропасть между нынешним государством и теми лозунгами, благодаря которым оно было создано.

В этих тезисах говорилось, что в нашей стране государство стало „единым капиталистом, единым помещиком, единым мыслителем”. Кажется, Пименов писал это в соавторстве с марксистами. Я думаю, этот анализ верен. Именно от констатации монополии государства на средства производства, рабочую силу и творческую мысль можно двигать-ся и к проблеме, поставленной Пименовым: как с точки зрения теории классовой борьбы объяснить тоталитаризм.

Тогда, конечно, я мог думать обо всем этом только поверхностно. Но фраза о едином капиталисте запомнилась мне навсегда.

Из Ленинграда в Курск надо было тогда ехать около суток. Денег у меня — только на билет до Курска, и получилось так, что перед отъездом я не ел целые сутки — и еще такая длинная дорога. Поэтому чувство голода мучило и мешало радоваться предстоящей встрече со старыми друзьями. Но какой-то человек в вагоне заметил, что я ничего не ем, догадался, видимо, что я — студент с пустыми карманами, и поделился со мной своими бутербродами. Такие, казалось бы, мелочи не забываются.

Я не виделся со своими курскими друзьями месяцев семь, но сколько событий произошло за это время! Поистине, время в столицах бежит совсем не так, как в провинции. В сонном Курске ничего за эти месяцы не произошло, а со мной случилось многое: я стал студентом, участником литобъединения, я преподаю эсперанто, я познакомился с такими людьми (удивительными людьми), как Пименов и Орловский, я был на площади Искусств и видел разгон „демонстрации”, я ехал, наконец, в Курск как некий эмиссар подпольной организации.

В Курске я быстро разыскал некоторых из своих старых знакомцев, дал читать им „литературу” (под этим словом, как и в дореволюционной России, скрывалось понятие „не-

легальная литература". „Приехал студент, привез литературу" — эта фраза Чернышевского, так возмущившая Набокова, относилась и ко мне), познакомил между собой тех курян, которые до этого не были знакомы. Насколько я помню, никто не был против тех программных тезисов, которые я привез. Но я не мог предложить никакого конкретного дела. Я только договорился с Г. Д., что он будет присылать мне сообщения для нашей *Информации*. Притом не только о курской жизни, но и то, что он услышит по „Голосу Америки" (в Ленинграде западные станции почти невозможно было слушать из-за глушения). Впоследствии Пименов ругал меня за использование такого рода информации. Он не доверял западным радиостанциям.

С. В. я не встречал больше — он учился в другом городе. Зато мои приятели познакомили меня с новыми людьми, которые тоже были критически настроены по отношению к системе, но провинциальная среда, в общем-то, засасывала их. Все мои курские приятели были людьми 18–23 лет, недавно окончили среднюю школу, некоторые учились в институтах, другие работали.

Я просматривал курские газеты и прочитал однажды, что некий студент пединститута Рыков (одна фамилия сама по себе крамольна) выступил на комсомольском собрании с критикой комсомола и чуть ли не с призывом распустить комсомол. Газета клеймила его как идейного врага и призывала изгнать его из института. Подобные статьи появлялись тогда во многих местных газетах страны. Это была кампания, последовавшая после закрытого письма ЦК КПСС от 19 декабря 1956 „О пресечении враждебных вылазок" (приблизительно так оно называлось). Письмо это знаменовало собой конец „оттепели" и санкционировало последовавшие вскоре многочисленные аресты.

Прочитав статью, я решил немедленно разыскать Рыкова. Я действовал по тому же методу, что и Пименов, когда он разыскал меня после статьи в *Вечернем Ленинграде*. Я знал, что и в других случаях этот метод оправдал себя. Своими нападка ми то на рукописные журналы, то на отдельных нон-

конформистов советская пресса помогала нам найти друг друга. Так в наши дни люди в глухих окраинах узнают о Сахарове и Солженицыне.

Я мог только предполагать, что Рыков окажется моим единомышленником: газетной информации было мало, чтобы судить о нем и о его взглядах. Во всяком случае, мне было интересно его выступление и то, что стало с ним. Я отправился в институт и узнал через кого-то, что он живет в общежитии, поскольку он не курянин, а из деревни. Я пошел в это общежитие и узнал, в какой именно комнате он живет. Зашел в комнату — и она показалась мне куда хуже „ночлежки”. Она была небольшой, но в ней стояло 12 коек, почти вплоты друг к другу. Голые по-больничному стены (у нас хоть были какие-то картинки, фотографии), какая-то убогость лиц и разговоров. Рыкова не оказалось, и никто не знал, когда он придет. Я сказал, что буду ждать его. Конечно, я не разъяснял им, зачем я пришел, и ничего не рассказывал. Они напряженно, с недоверием поглядывали на меня. Я вспомнил, что вот так же сидел в нашей „ночлежке” Пименов, ожидая меня. Я открыл журнал *Юность* и стал читать повесть молодого писателя Анатолия Гладилина, которая нравилась мне. Рыков все не приходил. Просидев час-полтора, я решил уйти, но сначала написал записку для него. Я писал, что приехал из Ленинграда и хочу поговорить с ним, приду завтра в такое-то время. Попросил студентов отдать ему эту записку.

Уже в тюрьме я узнал, что эти студенты с самого начала заподозрили что-то неладное. Они, оказывается, внимательно изучали мою записку, даже проводили по ней горячим утюгом, предполагая, что там должна быть тайнопись. Обсуждали также, не отнести ли ее в КГБ.

Все-таки они передали ее Рыкову. И на следующий день я встретился с ним в этой комнате, чувствуя на себе пристальные взгляды его сожителей. Я сразу, по нашей привычке, предложил ему выйти на улицу и там стал интервьюировать его. Он очень неохотно рассказывал о себе. По его словам выходило, что ничего особенного не произошло.

Все-таки из комсомола его исключили, и я тщетно пытался понять, за что. Я понимал, что он боится меня и, чтобы расположить его к себе, рассказал о журнале *Ересь*, о том, как мы выдержали натиск парторга, о некоторых студенческих дискуссиях. Но он не проявил никакого интереса ко всему этому. Пришлось расстаться ни с чем.

Я понял, что атмосфера в курских институтах куда более удушливая, чем у нас в Ленинграде.

Но зато на поприще эсперанто меня ждал успех. Я пришел в областную библиотеку, где часто устраивались лекции и доклады и где когда-то я слушал Овечкина, и сказал, что могу прочесть лекцию об этом международном языке. Они согласились, и в духе хрущевской эпохи мы решили назвать эту лекцию: „Эсперанто — язык мира и дружбы”. И тут я впервые столкнулся с советской цензурой. Библиотечное начальство сказала мне, что все лекции идут по линии Всесоюзного общества „Знание” и что сначала я должен обратиться туда за разрешением. В обществе меня принял референт и сказал, что прежде чем дать мне разрешение он должен ознакомиться с моим выступлением. Я сказал, что у меня нет готового текста, что я буду говорить без бумаги, я хорошо знаю, о чем говорить. Однако без текста нет разрешения! Пришлось срочно садиться и писать этот доклад. Через несколько дней он дал мне нужное разрешение, и я отнес его в библиотеку.

К этому времени я познакомился с одним старым курским эсперантистом Басмановым. Он жил в 30-е годы в Москве, был музыкантом и журналистом. Его посадили в 1937 году за то, что в журнале, который он временно редактировал, на первой странице было официальное сообщение о присвоении Сталину звания академика, а где-то на последней странице цитировалась эпиграмма Пушкина: „В Академии наук заседает князь Дундук”. Он просидел почти 20 лет и теперь добывал себе пропитание игрой на фортепьяно в оркестрике одного кинотеатра. Был он милый и энергичный старик, но, чувствовалось, лагерь не прошел ему даром. Он, например, носил специальный пояс с малень-

кими карманчиками. В каждом из карманчиков находился пузырек с валерьянкой. Время от времени он доставал эти пузырьки и выпивал валерьянку из горлышка. Периодически закупал ее в аптеке и пополнял свои запасы. Валерьянка была ему, видимо, столь же необходима, как западным людям кофе. А может, это была валерьянка на спирту? Но, повторяю, он был живым и энергичным. Он писал, например, много писем в правительство и в газеты с предложениями преподавать эсперанто в школах.

На мой доклад собралось много народу. Я не упустил случая сказать, как преследовались эсперантисты при Гитлере и у нас, во время „культа личности“. Было оживленно, задавались вопросы. Один старик сказал, что в первую мировую он был в плену в Австрии, и какой-то австриец учил его эсперанто, но он все забыл и помнит только одно слово „botele“. Но он совсем забыл, что оно значит. Я сказал, что это значит „бутылка“.

Многие выразили желание начать изучение эсперанто. Я стал записывать их. Но так как я уезжал в Ленинград, то я представил им старика Басманова, который сможет преподавать им язык, если библиотека предоставит помещение. Библиотечное начальство согласилось помочь.

После моего отъезда этот курский кружок (десяток два человек) просуществовал несколько месяцев. Басманов, однако, на своих уроках часто рассказывал о Колыме, о том, за что он сидел, с кем он сидел и так далее. Естественно предположить, что среди слушателей должен был быть хотя бы один человек, который счел своим долгом сообщить куда следует об этих рассказах. В конце концов директор библиотеки заявил, что они не могут предоставлять больше помещение для кружка, и он перестал существовать. Конечно, они могли, в принципе, заниматься и на частной квартире, но, возможно, ни у кого из них не было подходящего помещения. А может быть, им просто дали понять, что такие собрания нежелательны с точки зрения властей.

В начале февраля 1957 года я вернулся в Ленинград. Было несколько встреч нашего кружка с Пименовым, и

разговор шел о листовках. Я не помню, обсуждали ли мы их содержание. Разговор, помню, шел, в основном, о средствах изготовления. В то время это была трудная задача. Листовки не могли быть машинописными, так как машинку КГБ быстро обнаружило бы по образцу шрифта. Гектограф казался нам чем-то старомодным. Родилась идея о фотокопировании. Это было дорого, но все-таки казалось самым возможным. Во все эти технические подробности я не входил. Один участник нашего кружка, Вишняков, проявил наибольший интерес к этой стороне дела. Он встречался с Пименовым и обсуждал все это отдельно с ним.

Позже я узнал, что оригинал листовки замыслилось составить из отдельных букв, вырезанных из газеты и наклеенных на бумагу. Получался, собственно говоря, типографский текст, причем из шрифта типографии газеты *Правда* или *Известия*. Одна девушка-математик из кружка тех гостей Пименова, которые периодически собирались на квартире слушать его лекции, начала вырезать буквы из газеты и комплектовать „наборную кассу”.

Немалая трудность была и в способе распространения. Ходить по домам и бросать листовки в почтовые ящики — рискованно. Думали мы, что во время первомайской демонстрации можно разбрасывать листовки из окон лестничных площадок, сверху, скажем, с 5-го этажа, в густую толпу — и убежать через проходные дворы.

В это время вышло правительственное постановление о том, что преимущественным правом поступления в институт будут отныне обладать те молодые люди, которые после окончания средней школы проработали 2 года на производстве. Мне это казалось несправедливым. Пименов полагал, что из-за этого уровень образованности студентов снизится: за два года, работая на заводах, будущие студенты растеряют многие свои знания.

Когда я сказал, что нужно бы выпустить листовку против этого постановления, Пименов ответил: „Вот и напиши текст, а потом обсудим”. Я что-то сочинял, но арест помешал нам осуществить и этот замысел.

Теперь я не стал бы так горячо спорить с таким постанов-

лением. Видимо, в нем есть свой резон. Однако в советской действительности всегда получается так, что кто-то может легко обходить подобные фильтры. Конечно, сыну высокопоставленного чиновника не надо было идти работать на завод: элита всегда устроит своих детей в институты без подобных осложнений.

Применение этого постановления привело вскоре к росту злоупотреблений и обмана: многие родители доставали своим детям фиктивные справки. Никто такой обман не считал преступлением.

Конечно, листовки, которые собирался фотокопировать Вишняков, должны были носить другой, политический характер. Однако можно не сомневаться, что листовки против конкретного правительственного постановления также были бы квалифицированы как „антисоветские”.

В конечном итоге, мы так и не успели приготовить листовки. Возможно, Пименов не считал это первостепенным делом.

В самой библиотечной группе отношение к Пименову было разным. Большинство по-прежнему считало его „товарищем из Центра”, т. е. посредником между нами и некоей более мощной подпольной организацией. Некоторые же начинали думать, что за ним „никто не стоит”, что он недостаточно „революционен”. Между прочим, никто из этих студентов не знал его подлинного имени и фамилии и, тем более, места его работы. Я с самого начала представил его под вымышленным мною псевдонимом „Виктор”, и все так его и называли.

В феврале появился новый член группы — литовец Бубулис. Я пригласил его, считая, что ему можно доверять. Он рассказывал о литовских делах, и все относились к нему с уважением: он представлял здесь оккупированную Прибалтику. Хотя мы никогда специально не обсуждали „национальный вопрос”, но для всех было ясно, что Прибалтика должна быть свободна и независима. Но я думаю, что большинство из нас не задумывалось о том, что то же требование независимости можно применить и к Украине. Украинцев

среди нас не было, а в русском человеке глубоко укоренилось убеждение, что Украина — некая русская провинция, а украинский язык — диалект русского языка, исковерканный русский язык.

И ни разу не возникал вопрос о нашем отношении к религии: она нас просто не интересовала.

Я познакомил Пименова с одним студентом из инженерно-строительного института. Там тоже зарождался кружок, подобный нашему. Но Пименов успел только один раз встретиться и поговорить с 2-3 студентами из этого института.

Хотя мы считали, что все наши встречи носят конспиративный характер, но не все, видимо, умели молчать, и в конце концов и в самом библиотечном институте, и вне его появились слухи о „тайной организации”. Как-то одна студентка, совсем далекая от нас (получилось так, что в нашем кружке не было ни одной девушки, хотя библиотечный институт на 90% женский), рассказала мне, что у ее родителей были гости. Когда речь зашла о том, в каком институте она учится, то услышав слово „библиотечный”, один из гостей сказал: „Но ведь там существует подпольная организация! Будьте осторожны!” Она смеясь рассказала мне об этом, не подозревая, кому говорит.

В начале марта меня вызвали в институтский комитет комсомола. И совершенно внезапно объявили мне, что за мое „недостойное поведение” они исключают меня из комсомола. Это было для меня совершенно неожиданно: я ничем не мог объяснить этого. Уже после ареста я понял, что комитету было приказано свыше исключить меня, найдя подходящий повод. Ведь в Советском Союзе стараются, чтобы ни один член партии или комсомолец не мог сидеть на скамье подсудимых, до суда, а еще лучше — до ареста они должны быть исключены из своих организаций. Кажется, Чалидзе назвал это „уголовным иммунитетом членов КПСС”. Нечто вроде „иммунитета” есть и у членов ВЛКСМ. Не существует опубликованных инструкций на этот счет, но партийные и комсомольские комитеты неуклонно осуществляют этот принцип. Я сам в школе был в течение года чле-

ном комитета ВЛКСМ, и нам приходилось разбирать такие дела. Помню, один 15-летний подросток украл у девушки, с которой танцевал, часы. Его должны были судить, а до суда нам нужно было исключить его из комсомола. Он пришел на наше заседание, каялся и плакал. Мне было жаль его, и я вместе с другим членом комитета не поддержал резолюцию об исключении: мы воздержались, все остальные были „за”. На заседании была учительница, представлявшая парторганизацию школы, она-то и дирижировала всем. Каков же был ее гнев, когда она увидела, что мы воздержались от голосования! Она сказала, что мы за свое покровительство преступнику сами должны сесть на скамью подсудимых. Ее можно понять: ведь результаты голосования зафиксированы были в протоколе, вышестоящее начальство могло отругать именно ее за плохую „подготовку” заседания.

Комитет комсомола в институте нашел несколько конкретных поводов для исключения меня из комсомола: во-первых, участие в нелегальном журнале *Ересь* (хотя с того времени прошло уже 4 месяца, и это все, казалось, было забыто). Затем более мелкие придирки: „приходил в женское общежитие в 12 часов ночи”, „оскорбил профессора Ковалева” (читал на его лекции какой-то роман) и что-то еще. Все это было мне высказано как-то вдруг, и лица у комитетчиков (с некоторыми из них у меня были хорошие отношения) были растерянные. Там сидел и грозный парторг Водянников, и они все действовали по его указке. Из-за неожиданности я даже не стал оправдываться или защищаться: я испытывал какие-то противоречивые чувства. С одной стороны, я был даже рад: ведь, как и многие, я тяготился теперь пребыванием в комсомоле, я ведь понимал, что это лицемерие — состоять и в комсомоле, и одновременно в тайной организации. И я радовался, что теперь-то моя совесть будет спокойна. Но, с другой стороны, исключение из комсомола означало и исключение из института (они даже написали в своей резолюции, за которую проголосовали единогласно, без воздержавшихся: „исключить из комсомола и ходатайствовать перед дирекцией об отчисле-

нии из института”). Следовательно, прости-прощай, Ленинград! Мне даже и не пришла в голову мысль, что это подготовка к аресту. Не пришло на ум и другое: это исключение было незаконным, поскольку, согласно Уставу ВЛКСМ, исключить из комсомола могла только первичная организация, т. е. комсомольская организация моей учебной группы.

Я вышел из комитета поникший, и почти сразу меня окружили мои однокурсники. Недоумевали и возмущались. Один сказал: „Если тебя исключат из комсомола, мы не выйдем на лекции”. Они ходили потом в комитет, и комитетчики, видимо, осознали опасность такого „страйка”. Притом кто-то из моих защитников вспомнил, что в моем случае был нарушен Устав ВЛКСМ. Лично я никаких шагов не предпринимал. Но от знакомых и незнакомых студентов встречал знаки сочувствия. Нужно помнить еще и то, что большинство студентов — девушки, а женское сердце более отзывчиво к чужому горю. А исключение из комсомола — это, на взгляд всех, беда, несчастье. Волновались и участники *Ереси*: они ждали, что теперь исключат и их.

Недели через две комсорг нашей группы (который, кстати, уже проголосовал в комитете за мое исключение) созвал комсомольское собрание. Было человек 30 комсомольцев. Вместо Водяникова пришел секретарь Дзержинского райкома комсомола, человек с аскетическим лицом и видом туберкулезника. Он напоминал мне Николая Островского, чувствовалось, что и внутренне он очень предан своему делу.

Комсорг сделал вступление: Вайль, мол, был исключен из комсомола, но это решение не окончательное. По просьбе его первичной организации мы будем снова здесь рассматривать этот вопрос. Изложил пункты обвинения. Потом начали выступать мои однокурсники (кстати, здесь не было ни одного из участников „нелегальной группы”). Все защищали меня. Но главный их аргумент был такой: исключение из комсомола — крайняя мера наказания. Нельзя же сразу к человеку, не имевшему никаких взысканий, применять ее! Пусть он получит строгий выговор. Одна девушка говорила, что я — хороший товарищ, помогал ей изучать английский

язык (на самом деле, давал списывать упражнения). И так, все выступавшие настаивали на одном: „строгий выговор с предупреждением” вместо исключения. Наконец, секретарь райкома комсомола взошел на трибуну. Вид у него был раздраженный. Тыча в зал указательным пальцем, он сказал (его речь я хорошо запомнил) :

— Вот все вы сейчас защищаете Вайля, но я вам скажу: придет время, и вы поймете свою ошибку. Таких людей, как он, — а он не один такой, и в других институтах тоже встречаются такие — таких людей мы в райкоме называем демагогами. Такие люди искажают нашу действительность, более того, у них антисоветские взгляды. Хорошо, пусть он остается в комсомоле, но я первый плюну вам в лицо, когда вы узнаете кое-что о нем.

Вещие слова! Несомненно, он знал, что меня вот-вот арестуют, отсюда и такая уверенность.

Но я не мог оставить без ответа его эпитет „антисоветский” по отношению ко мне. В Советском Союзе это звучит почти как „враг народа”, „контрреволюционер”, это политическое обвинение. За „антисоветские взгляды” человека сажают в тюрьму. Я подошел к нему, когда собрание кончилось, и сказал:

— Вот вы видите меня в первый раз, а говорите, что у меня антисоветские взгляды. Почему вы так говорите?

— Я скажу вам, почему, — ответил он. — Таких, как вы, я безошибочно распознаю. У меня чутье на таких людей, — и он безо всякой улыбки показал на свой нос.

3. АРЕСТ

Итак, я остался в комсомоле. А первое решение комитета было, вероятно, аннулировано. Я испытывал большую радость — не оттого, что исключение не прошло, а оттого, что студенты отстояли меня. Я ведь даже не ожидал от них такой солидарности. Я вдруг стал испытывать ко всем им вместе и к каждому в отдельности какое-то чувство нежности. Это был прилив острой любви к людям, наверное, той, о которой говорил Христос. Это чувство я испытал несколько раз в жизни.

Я входил утром в аудиторию, окидывал взглядом своих однокурсников, и какая-то волна счастья охватывала меня. Счастья и любви. И к тому чахоточному человеку из райкома я больше не испытывал ненависти.

Но длилось это блаженное состояние недолго.

О возможности ареста мы думали только теоретически. Подсознательно каждый был уверен, что с ним это не случится. Уж если о смерти, которая неизбежна, человек редко думает, то что говорить об аресте, который только вероятен? Мы почти никогда не обсуждали, как вести себя на следствии, если кого-нибудь арестуют. Мы совершенно не знали советских законов, всех этих Уголовных и Уголовно-

процессуальных кодексов, не говоря уже о технике допросов, методов давления на психику. Пименов, конечно, знал больше всех нас, и у него была возможность юридической консультации у Орловского. Он серьезнее нас думал о возможности ареста. Но его больше всего беспокоил вопрос о том, как все эти кружки будут существовать без него. Он предупредил меня, что в случае его ареста ко мне придет человек и скажет условленную фразу. И я буду держать связь с этим человеком. (Впоследствии я узнал, что это должен был быть член кружка „марксистов-теоретиков”). Пименов предполагал, что арестуют его одного, и мой арест, другие аресты, в том числе его отца и жены, были потрясением для него.

Когда у нас возникал мимоходом разговор о возможности ареста и о линии поведения в этом случае, то все сводилось к универсальному пожеланию: „Надо будет все отрицать”. Но это был совет бессмысленный и детский. Что и как отрицать? Как можно отрицать вещь, бесспорно доказанную, например, свой почерк? Проще и вернее было бы сказать: „Надо отказываться от дачи показаний”. Но не помню, чтобы Пименов говорил нам так, хотя он сам знал, что такая линия поведения возможна.

Жил в нашей „ночлежке” студент Саша. Простой, хороший парень. Он не интересовался политикой, и мы не приглашали его на наше „собрания”. Незадолго до моего ареста я заметил, что он как-то льнет ко мне, вроде бы хочет что-то сказать, но не говорит. Однажды ночью в „комнате для занятий” (была специальная комната в общежитии, где студенты занимались допоздна) он не выдержал и рассказал мне и моему близкому товарищу Адамацкому, который тоже входил в нашу „группу”, следующее.

Неделю назад Сашу вызвал к себе в кабинет начальник отдела кадров института. Кроме самого начальника, в кабинете находился неизвестный в штатском. Когда Саша вошел, начальник сказал ему, указывая на штатского: „Вот товарищ хочет с вами побеседовать”, — и вышел из кабинета. Штатский поднялся и закрыл дверь изнутри. Затем пока-

зал Саше красную книжечку, удостоверяющую, что он офицер КГБ. „Мы знаем вашу биографию — сказал он Саше — Вы рано потеряли родителей, воспитывались в детдоме... Нам нужна помощь простых советских людей. Мы предлагаем вам сотрудничать с нами”. Далее он конкретизировал: его интересуют жильцы комнаты 111, где живет сам Саша. Не называя фамилий (а там жило трое из „антисоветской группы”), офицер хотел знать, когда жильцы этой комнаты приходят и уходят, во сколько ложатся спать, кто приходит к ним в гости и т. д. Он назначил Саше конспиративную встречу — конспиративную потому, что не в официальном учреждении, а на улице, возле цирка, через несколько дней. Но Саша не явился на эту встречу, потому что ... у него не было денег на трамвай, чтобы доехать до цирка. Саша напомнил мне, как на днях он просил у меня 30 копеек, а я ему не дал (у меня самого не было). Именно в тот вечер он и должен был встретиться с КГБистом. Саша сказал, что он мучался и переживал, но не мог не рассказать нам эту историю. И что же он должен делать теперь?

Мы отругали его за то, что он не смог достать несчастных 30 копеек. Мы считали, что ему необходимо было явиться на свидание. Мы полагали, что будет очень важно узнать, кем конкретно они интересуются, какие дадут ему задания и пр. Но как Саше выйти на связь с КГБ?

Предложили ему пойти к начальнику отдела кадров и просить о встрече с „тем человеком”. Однако он так и не сделал этого.

23 марта был арестован наш студент Вишняков, но мы об этом ничего не знали, потому что, будучи ленинградцем, он жил не в общежитии, а дома. Как выяснилось позже, он в тот же день дал показания против меня и Пименова.

25 марта около 11 вечера я пришел из библиотеки к себе в „ночлежку”. Помню, был, как всегда голоден, а тумбочка моя была пуста. В нашей комнате, конечно, жизнь была ключом: было человек семь, спорили, читали. Кокорев выпивал с неизвестными мне людьми.

Вдруг раздался требовательный стук в дверь, и тут же

дверь широко открылась и вошло несколько строго одетых мужчин. Один из них командирским тоном приказал: „Всем оставаться на своих местах”. И ко мне: „Вайль? Ваши документы”.

Я показал паспорт. Он сказал: „Вот санкция прокурора на обыск и арест”. Я рассматривал бумагу в сильном волнении и, что удивительнее всего, был польщен: прокурор города Ленина знает о моем существовании. Словом, я не мог оценить ситуации и только думал: откуда прокурор знает мою фамилию?

Между тем, в кармане брюк у меня лежал машинописный доклад Хрущева с послесловием и моя рукописная копия этого доклада (я как раз перед этим переписывал в библиотеке этот доклад от руки — настолько я считал его важным). Что теперь будет? Они, конечно, прежде всего приступили к „личному обыску”, т. е. вывернули все карманы и извлекли доклад — и обрадовались. Потом — к моим вещам, которых-то и было всего один чемодан. Одного из пришедших — курсанта училища КГБ — определили стоять в дверях комнаты, чтобы никто не зашел и не вышел. Были и понятые. Студенты, находившиеся в комнате, были взволнованы происходящим. КГБисты запретили им говорить со мной. Но они спрашивали у обыскивающих: „В чем дело? В чем обвиняется Вайль?” Те бросали недовольно: „Узнаете”.

Хоть вещей было у меня и немного, они тщательно проверили книги и бумаги, прощупали матрас и подушку. Но, кроме доклада и первого выпуска *Информации*, ничего существенного не обнаружили. Но им хватило и этого.

Вся процедура заняла 3 часа. Случайно я заметил, что с улицы через окно кто-то за мной наблюдает. Оказалось, это был шофер их машины.

Я покидал „ночлежку” навсегда и замечал сочувственные взгляды сожителей. Один лишь Кокорев, впрочем, вопреки приказу, подошел ко мне и поцеловал со словами: „Ну, смотри там!”

Посадили меня на заднее сидение между двух чекистов, и машина поехала — куда? Я как-то не понимал, куда меня

везут. Хоть и читал „арест”, но в голове это не укладывалось.

Ехали по набережной, свернули на Литейный и — вбок. Остановились перед огромными железными воротами, которые автоматически раздвинулись. Потом еще ворота. Вышли из машины, завели меня в дежурку, где сидел старшина, а сами исчезли. Старшина записал мои данные и передал меня другому старшине. Тот завел меня в какую-то большую комнату и приказал раздеться. Пока я раздевался, он стоял и наблюдал за мной с легкой улыбкой. В руках его были какие-то длинные (с полметра) железные щипцы, и он, играя, перекидывал их из руки в руку. Не говорил ни слова, а все усмеялся. Глаза — голубые, лицо — круглое...

„Ну, вот, — подумал я как-то безучастно, — сейчас разденусь, и он начнет этими щипцами ногти выдергивать. Или еще, может, что-нибудь похуже? А что именно?” Я разделся, и он приказал наклониться. Заглянул в задний проход. Потом стал своими щипцами выдирать из моих брюк металлические детали. Велел вынуть шнурки из ботинок, отобрал ремень и галстук.

— Теперь одевайся.

Я надел брюки, теперь они на мне не держались.

— Как же теперь носить их? — спросил я его сокрушенно.

— На веревочку — он подал мне кусок шпагата.

(Впоследствии я узнал, что это один из лучших надзирателей тюрьмы, человек добродушный и не без юмора.)

Пришел еще один надзиратель и повел меня какими-то пустынными коридорами. Несколько раз открывал огромные решетчатые двери, и вышли мы, наконец, в какую-то галерею с бесконечно длинным рядом железных пронумерованных дверей. Он вел меня все дальше и дальше и, наконец, остановился перед одной такой дверью, открыл ее, и мы вошли внутрь освещенной комнаты.

— Ну вот, — сказал он, — вот и пришли. — Читай. — И он подал мне лежавший на железном квадратном столе кусок картона с наклеенным текстом. Я прочитал заголовок: „Правила для заключенных Внутренней тюрьмы УКГБ”.

„Так это, значит, тюрьма, — подумал я. — А я — заключенный!”

Старшина указал мне на койку и собирался уходить. Было уже, наверно, около трех ночи.

— Я хочу есть, — сказал я ему.

— Что ж тебе дать? — почесал он в затылке.

— Картошки у вас нету?

— Картошки? Нет, — усмехнулся он. — Картошки нет.

Вот макароны где-то были.

— Ну, не надо, — сказал я. — Макарон не хочу.

И он ушел.

Я разделся и тут же уснул, несмотря на то, что электрический свет непривычно бил мне в глаза — от лампочки, заreshеченной высоко над дверью.

Утром меня разбудили возгласом: „Кипяток!” И снова я удивился: „Я в тюрьме!” Но мне казалось, что это ненадолго, меня вскоре выпустят. Возможно, у каждого арестованного возникает такое ощущение. Я бы не смог представить себе, что мне суждено сидеть в этой тюрьме долгие месяцы, а потом в лагере — долгие годы.

Тюрьма эта была знаменитая и называлась ленинградцами „Большой дом” (до революции — „Тюрьма на Шпалерной”). Построена она около 1879 года, по последнему слову тогдашней техники, и первыми „новоселами” в ней были народники — участники „процесса 193-х”. Сидел здесь Ленин и многие другие деятели революционных партий. После 1917 года она никогда не пустовала. Особенно же в 1937—38 годах, когда, по словам очевидцев, в такой камере, в какой теперь сидел я один (в этой тюрьме все камеры были одинаковыми и считались камерами-одиночками), сидело одновременно до 20 человек. Они могли размещаться только лежа на полу на боку. В 1956 году, после 20-го съезда, здесь не было больше политзаключенных. Но ленинградские обычные тюрьмы были, как всегда, переполнены уголовниками. И вот в это короткое время в этой тюрьме, хотя формально она была тюрьмой КГБ, стали содержать уголовников. Первыми политическими заключенными после этого недолгого перерыва были здесь Красильников, Гидони, Красовская, а также несколько репатриантов, которые добро-

вольно вернулись из-за границы в СССР и были арестованы.

При нас, в начале 1957 года, уголовники еще сидели, но для политических был выделен один этаж, и мы практически с уголовниками никогда не виделись. Уголовников охраняли солдаты МВД, нас — солдаты КГБ. Контроль за прогулочным двором был в ведении МВД. МВД было более либерально, и мы могли иногда перекидывать записки друг другу через трехметровые деревянные перегородки, разделявшие узкие загонки для прогулки. Так длилось недолго, и вскоре во время наших прогулок старшины КГБ уже бдительно наблюдали за нами.

Прогулка длилась полчаса, и надзиратели тщательно следили, чтобы ты не оставил на прогулочном дворе не только записки, но вообще никакого предмета.

По существу, „прогулочный двор” — это круглая площадка во внутреннем дворе тюрьмы, разделенная на секторы. В центре круга — вышка для охраны, откуда можно было контролировать все секторы.

Когда мне в первый раз предложили пойти на прогулку, мне припомнились какие-то картинки из книг: заключенные шеренгами ходят по кругу. Каково же было мое разочарование, когда меня ввели в узкий загон, где был только асфальт и дерево. Правда, было и небо над головой, над прямоугольником тюрьмы. Глядя отсюда вверх на тюрьму, нельзя было видеть окна камер — все они были закрыты железными щитами, „намордниками”.

На прогулке было тихо, только слышалось шарканье ног, звон ключей и хлопанье дверей. Кашлять и сморкаться не запрещалось, поэтому по какому-нибудь характерному кашлю можно было узнать товарища.

Полчаса прогулки полагалось каждый день, исключая воскресенья и „банные дни” (раз в 10 дней). Соблюдалась полнейшая, абсолютная изоляция заключенных: кроме надзирателей, ты никого не должен был видеть.

Окно в камере находилось под самым потолком: между двух рам — решетка, а за внешней рамой еще и намордник, который закрывал почти все окно, оставляя видимой лишь

очень узкую полоску неба. Эту полоску ленинградского неба можно было увидеть, лишь подойдя к окну и задрав голову.

Никакой вентиляции никогда здесь не было, поэтому воздух в камере был тяжелый, сгущенный, и когда я выходил на прогулку, то от свежего воздуха кружилась голова. И всегда, возвращаясь с прогулки в камеру, чувствовал какую-то плотность воздуха, какую-то особенную, тюремную, словно мою камеру населяли души всех сидевших здесь до меня.

Пол камеры — цементный. Стены выкрашены в два цвета — грязно-желтый (от пола до полутора метров) и серо-голубой — выше.

В двери — „кормушка“, через которую подают пищу, над ней „глазок“. Железная койка, намертво прикрепленная к стене, маленький железный столик и железное сидение. И столик, и сидение — откидные, и на ночь их надо поднимать.

По сравнению со старыми тюрьмами в провинции, построенными во времена Екатерины Второй, эта тюрьма, времен Александра-освободителя, обладала огромным преимуществом: здесь была раковина, кран с холодной водой, и здесь был унитаз. Таким образом, я получил здесь те „удобства“, о которых только мечтали многие советские семьи.

Конечно, надзиратели периодически заглядывали в „глазок“, каждые 10-15 минут, таким образом, ты, как оруэловский герой, все время находился под наблюдением. Но в конце концов к этому привыкаешь.

Тяжелее приходилось женщинам: ведь все надзиратели — мужчины. После войны здесь надзирателями работали только женщины, и это, как мне рассказывали, были несколько не лучше для заключенных.

Электрическое освещение было круглосуточным, на ночь свет в камерах не выключался. Я попробовал однажды, улегшись спать, накрыть лицо полотенцем, так как не притерпелся еще к этому вечному свету, но надзиратель тут же открыл „кормушку“: „Убери полотенце! Не положено!“

Ни газеты, ни радио также были „не положены“.

Но в первый же день в кормушку заглянула женщина-библиотекарь: „Что будете читать?“. Я, живя еще своими дотюремными мыслями и чувствами и нелепо надеясь на близкое освобождение, хотел не отстать в учебе от своих сокурсников. Так как нам предстоял экзамен по психологии, я и попросил у нее учебник по этому предмету. „Этого у нас нет, — сказала она сухо. — Есть художественная литература“. Но никакого каталога не предложила. Я попросил *Джен Эйр* Шарлотты Бронте, которую когда-то не успел дочитать.

По правилам здесь полагалась только одна книга на 10 дней.

В тюрьме многие слова и понятия приобретают новый, непривычный для вольных людей смысл. Когда я открыл первую страницу *Джен Эйр*, то сразу же наткнулся на предложение: „Мы пошли на прогулку“. И дальше я не смог читать, потому что уже одно это слово возвращало меня к моей нынешней действительности. „Вот, — думал я, — *Джен Эйр* ходила на прогулки“. Словом, отвлечься от тяжелых мыслей, забыться в чтении было невозможно. Наоборот.

Нужно сказать, что в тюрьме в то время был относительный либерализм, который мы не могли тогда оценить, так как нам не с чем было сравнивать. Например, если в сталинские времена в 6 утра койки откидывались и спать днем запрещалось (ночью же арестованных вызывали на допросы), то теперь, после расстрела Берии и некоторой чистки на верхах госбезопасности, наступила полоса облегчения и для заключенных. Мы могли валяться на койках, сколько хотели, не подозревая, как нам должны были завидовать наши предшественники. В первое время именно сон — а не книги — давал некоторую разрядку и отдых. Допросы чаще всего проходили днем. Иногда вечером, но никогда не позднее 12 часов ночи.

В тюрьме царствовала тишина. Надзиратели ходили по коридорам и зимой, и летом в валенках, чтобы бесшумно переходить от камеры к камере, от глазка к глазку. Ведь заключенный не должен наперед знать, что „всевидящее око“

сейчас вот заглянет к тебе. Тишина всегда внезапно разрывалась грохотом отпираемых дверей, когда кого-нибудь забирали на допрос или выпускали на прогулку.

Но от сталинских времен сохранились некоторые, странные для нас, традиции и правила. Если в камере сидели двое, то надзиратель, открывая дверь, чтоб забрать одного из них на допрос, шопотом спрашивал: „Кто на букву В?” (или П, или Д, или другую). Если же в камере сидел один человек, то всегда задавался вопрос: „Как фамилия?” Хотя они, конечно, прекрасно знали, кто где сидит.

На ночь надо было сдавать очки надзирателю, утром их возвращали. Не ясно, зачем это делалось, — ведь читать ночью не запрещалось. Я пытался расспросить одного надзирателя, зачем я должен сдавать очки, но он не смог мне объяснить: „Так положено”, и все. Видимо, какая-то старая традиция существовала с давних времен, и никто уже не помнил ее рационального объяснения.

Так же необходимо было ставить туфли на ночь возле койки, аккуратно, одну вплотную к другой, а не как попало.

На прогулочном дворе нельзя было курить, а в камере — сколько угодно.

Политических не стригли, уголовники же, с которыми изредка, случайно приходилось столкнуться, были все пострижены наголо.

Пищу давали три раза в день. В основном, это был суп из какой-то подозрительного качества рыбы или каша — овсяная или реже гречневая. Каждое утро выдавали 25 граммов сахара и 700 граммов хлеба. Хотя никакого разнообразия в этой пище не было, но все же это было более нормальное питание для меня, чем до ареста, и я постепенно стал поправляться, тем более что образ жизни был неподвижный.

Был период, когда нас было мало в тюрьме. Тогда для нас не готовили в специальной кухне, а приносили остатки из столовой КГБ. Тогда у нас появлялась и жареная картошка, и винегрет. Но это был лишь эпизод.

Можно было записаться на прием к врачу, можно было получить аспирин или таблетки от головной боли. Если зубы

болели, можно было попасть к специальному зубному врачу, который обслуживал прежде всего офицеров КГБ, и вырвать или запломбировать зуб. С врачами, как и с библиотекарем, нельзя было говорить на темы, не относящиеся к делу.

В первый же мой тюремный день меня повели на допрос. Опять вели длинными зарешеченными галереями, коридорами, мимо нескончаемых камер. Во избежание неожиданных встреч с такими же конвоируемыми заключенными, надзиратели придумали в этой тюрьме оригинальную систему сигнализации: время от времени конвоир постукивал большим ключом, которым отпирал камеры, по железным перилам, которые тянулись вдоль всей галереи. И если навстречу шел другой конвоир с конвоируемым, то он слышал этот сигнал оповещения. Тогда он приказывал своему заключенному зайти в первую попавшуюся нишу и отвернуться к стене. Надзиратель закрывал спиной этого заключенного и пропускал идущих навстречу. Так почти невозможно было узнать, мимо кого ты сейчас прошел. Но в основном они старались, чтобы и таких случайностей не происходило.

Тюрьма соединена со зданием Ленинградского УКГБ крытым мостиком. В этом здании уже шли коридоры с кабинетами. Очевидно, здесь располагался следственный отдел УКГБ. В следственном отделе имеются еще и отделения. Я не знаю, по какому признаку они разделяются.

Меня завели в кабинет, где находился офицер в форме КГБ, молодой, высокий человек. Он сидел за письменным столом, а меня усадили за отдельный маленький столик. Надзиратель вышел. Над письменным столом висел портрет Ленина. Сразу же мелькнула мысль: „Неужели меня будут пытаться здесь, под портретом Ленина?“ С того момента, как я осознал, что я в тюрьме, эта мысль все время не покидала меня: будут или не будут пытаться? Избивать? Впечатление от доклада Хрущева, который я переписывал еще вчера, было слишком ярким. И хоть он и говорил о пытках, как о чем-то давнем, но в этот момент казалось, что я попал туда, где Эйхе ломали позвоночник.

Но следователь был корректен. Он представился: лей-

тенант Кривошеев, будет вести следствие по моему делу. Записал мои анкетные данные. Предложил мне рассказать о моей антисоветской деятельности. Я сказал, что таковой не занимался.

„Нам все известно, напрасно упорствуете, Борис Борисович. Ваши товарищи уже все рассказали”.

Во время допроса зашел майор Силин, начальник отделения следственного отдела. Этот был постарше, одутловатое, красное лицо, вульгарные манеры. Кривошеев рядом с ним выглядел интеллигентом.

Силин нажимал на то, что, дескать, если я расскажу все, что знаю, то меня, может быть, выпустят. А нет — буду сидеть в тюрьме. И в следующие дни он заходил на мои допросы, и постоянный лейтмотив его был: „Чистосердечное признание ведет к смягчению наказания”.

Иногда заходил и начальник всего следственного отдела, подполковник Рогов.

Я, однако, не говорил им, откуда у меня доклад Хрущева. Спросили о Пименове. Я ответил, что не знаю такого.

Каждый день Кривошеев вызывал меня на допрос — часов в 10 утра. Часа через три меня уводили на обед, потом приводили снова — до 5-6 часов вечера.

Не помню, сколько дней я „упорствовал”. Единственно правильной позицией было бы отказаться от дачи показаний вообще, тем более, что это было мое законное право как обвиняемого. Но я не знал даже, что у меня есть такое право!

Они же требовали „правды”. Они навязывали мне свои правила игры, и если я врал, то я должен был врать логично, должен был врать убедительно. Это было невозможно для меня. Нужно было просто не участвовать в этой игре.

Материалов у них, действительно, было достаточно. Были показания Кокорева и Вишнякова, и, пользуясь этими показаниями как орудием, они добивались признаний теперь от других студентов.

Вишнякова они продержали в тюрьме недолго, но теперь продолжали вызывать на допросы. Он рассказывал все, что знал.

Вообще говоря, положение тех, кого допрашивали там, на свободе, было хуже, чем мое. Во-первых, их допрашивали как свидетелей, и они должны были дать по закону подписку, что будут нести уголовную ответственность за „отказ от показаний или за дачу ложных показаний”. Я же такой подписки не давал. Во-вторых, им все время грозили арестом, и угроза была вполне реальной. Мне же, казалось, уже нечего было терять, раз уж я сижу в тюрьме.

Поэтому я лгал следователям и изворачивался, а они меня уличали. Когда мне зачитали показания Вишнякова, у меня была одна мысль: „Это конец. Они, действительно, знают все. Скрывать бесполезно”.

Таким нехитрым приемом они „раскалывают” обвиняемых. И тебе не придет на ум, что они сами ведь должны сомневаться в показаниях Вишнякова, пока ты не подтвердишь их. Лишь когда двое, трое, четверо подтвердят одно и то же событие, тогда только (да и то далеко не всегда) и следователям станет ясно, что событие это происходило на самом деле.

Должен сказать, что лгать и изворачиваться тоже не легко. Я чувствовал все время огромное нервное напряжение. А они все время упрекали меня в „нечестности”. Силин однажды сказал: „Настоящий человек не будет скрывать своих поступков. Он скажет: „Да, я это сделал!” А вы трусливо лжете”.

Конечно, это была самая дешевая демагогия, так как всякие показания о самом себе всегда в таких делах связаны с показаниями о других. Если я говорю: „Я дал такому-то книгу”, то я тем самым говорю и о нем, что именно он у меня ее взял. Но и такая демагогия действует на психику молодого человека. И этот постоянный рефрен: „Ваши товарищи честнее вас. Они не молчат... Нам все известно...”

Я стал давать правдивые показания, то есть как раз то, что им и нужно было. Помню, перед этим следователь сумел как-то расположить меня к себе: он вдруг стал расспрашивать меня не о „деле”, а об эсперанто. Есть у них (тоже такой простой!) прием — расспрашивать о чем-то нейтральном, что

особенно интересуется обвиняемого. Уж очень хорошо, заинтересованно слушал он меня, задавал умные вопросы... чуть ли не учиться у меня хотел этому языку. После одиночки человеку всегда хочется выговориться. Часа два проговорили об эсперанто, а потом — к „делу”: „Так вот Вишняков говорит вот что. Правда ли это?”

Вишняков, например, говорил о Пименове, и я подтверждал его показания о Пименове. Но сам Пименов в это время отказывался отвечать на вопросы! Я совершенно не знал, что он избрал такую линию поведения. Но если бы я внимательно анализировал вопросы следователей и те показания, которые они мне зачитывали, то я понял бы, что Пименов молчит. Но я понимал только одно: „Они все знают”.

На самом же деле я своими показаниями помогал им узнать больше, чем они знали. И это неизбежно в таких ситуациях. Нужно сказать, что следователи отлично справляются с анализом и сопоставлением показаний, с выявлением каких-то недостающих звеньев.

Нас было арестовано пятеро: Пименов, я, жена Пименова, Заславский и Данилов (в Курске), а в Москве вскоре арестовали отца Пименова. Его дело отделили от нашего как самостоятельное, хотя обвиняли его в „хранении антисоветской литературы”, полученной от Пименова. Между прочим, прокурор ставил Пименову в вину и тот факт, что тот просил своего отца передать отдельные статьи в польское и югославское посольства в Москве. За одно только „хранение антисоветской литературы” отец Пименова получил 5 лет.

Жену Пименова первоначально не собирались, видимо, арестовывать. Но за ней пристально следили. Она хотела спасти некоторые бумаги после его ареста. Чемодан с этими бумагами (она даже не знала, какие там бумаги) хранился у одной ее подруги. Считая, что у той может быть обыск, она забрала у нее чемодан и передала другой своей подруге. Для конспирации она передавала этот чемодан в общественном женском туалете (подруга пришла с другим чемоданом. Таким образом, они просто обменялись чемоданами). После этого ее арестовали. Следователь сказал ей: „Хорошо вы

конспирировались, но не учли, что за вами будет следить не мужчина, а женщина”.

Кроме того, ей ставили в вину, что однажды у себя на квартире в присутствии гостей — тех самых, что слушали доклад Пименова, — она прочла стихотворение Гидони о Сталине и Хрущеве:

Один был умный, но подлец,
Его терпели мы, пока
Не получили, наконец,
И подлеца, и дурака.

„Хранение антисоветской литературы”, участие в „антисоветских сборищах” (где она была, естественно, хозяйкой дома) и публичное цитирование этого „антисоветского” стихотворения — все это обошлось ей в 5 лет лагерей.

Что касается Заславского, то, кроме той черновой статьи, где он ставил вопрос о возможности войн между социалистическими государствами, ему ставилось в вину то обстоятельство, что хотя он и отказался участвовать в „антисоветской организации”, но пообещал Пименову поддерживать ее материально — деньгами. Но на „антисоветских сборищах” у Пименова он бывал, и это также стало пунктом обвинения. Он также получил 5 лет, но позднее этот срок был снижен до 3 лет. Таким образом, Заславский просидел меньше нас всех.

Итак, Пименов на следствии сначала отказывался давать показания о других лицах. Но по мере того, как давали показания другие и этих показаний становилось все больше, он стал подтверждать их, но не более того. Произошло это после того, как Вишняков, я и все другие участники кружка „раскололись”. Но, в отличие от всех нас (в этом также сказывалась его большая, чем у нас, юридическая подготовка к следствию), он требовал очных ставок с теми, кто давал на него показания. Была у него очная ставка и со мной. Убедившись, что человек лично, в его присутствии, рассказывает, он подтверждал рассказ или уточнял его.

Сейчас участники движения за права человека часто вообще отказываются давать показания. Это чаще всего свиде-

тели, которым грозит за отказ от дачи показаний уголовное преследование. У обвиняемого, сидящего в тюрьме, часто появляется желание сказать „правду”, взять все на себя”, но иногда, даже часто, это вредит оставшимся на свободе. Наиболее последовательна была позиция Владимира Гершуни, который при аресте даже на анкетные данные не ответил. Когда его спросили, как его фамилия, он просто развел руками и не проронил ни слова. Его ждала тяжелая участь за такое поведение — сумасшедший дом.

Но, конечно, немногим это под силу.

Неправильно думать, что раз уж попал в тюрьму, то хуже не будет. Тут тоже есть свои приманки: следователи могут дать свидание с женой или детьми, а могут не дать, могут позволить или не позволить писать научную статью и т. д. И, наконец, в их власти объявить тебя сумасшедшим, а спецпсихбольница будет похуже тюрьмы, да к тому же без срока.

Данилова арестовали в Курске на Главпочтамте, когда он пришел получать письмо от меня, адресованное ему до востребования. Дело в том, что у меня с ним была связь почтовая: я ему писал до востребования, а обратный адрес ставил вымышленный. Он мне писал в Ленинград по адресу моей знакомой девушки, которая, получая письма из Курска, передавала их мне невскрытыми. Все его письма дошли до меня благополучно, но с моими обстояло сложнее. КГБ желало скрыть, что эти письма перлюстрировались. Поэтому они придумали типичный трюк: два моих письма до Данилова не дошли, а попали в КГБ якобы потому, что на каком-то почтамте повредились конверты, так что адрес нельзя было разобрать. Почтовые чиновники прочитали письма и, обнаружив „антисоветский характер”, направили их в КГБ. Был приложен акт с почтамта с подписями этих чиновников. Все это было шито белыми нитками, хотя бы потому, что письма были отправлены в разное время, а повреждения конвертов носили одинаковый характер. Эти письма с актом лежали в деле, и я видел их. Конверты действительно были повреждены (якобы на ленте транспортера), но сами письма остались целыми (странная случайность, не правда ли?).

Данилов вскоре начал давать показания, и мне их зачитывали. Его привезли в Ленинград, в ту же тюрьму, где сидели мы.

Следствие длилось с марта до июля. О существовании марксистского кружка КГБ до этого не знало, но постепенно, допрашивая друзей Пименова, добрались и до него. Всех их очень интенсивно допрашивали, но они долгое время отрицали какие-либо политические связи с Пименовым. Но постепенно их удалось запугать. И они, посоветовавшись между собой, решили сознаться. Пименов и здесь держался стойко до конца и стал говорить об этом кружке, лишь когда все его участники сами все рассказали. Некоторые из марксистов (как и люди из того кружка, что собирался у Пименова на квартире) были на грани ареста. Но признание ими своей вины спасло их от тюрьмы. Кроме того, КГБ, видимо, не собиралось создавать „крупное дело”. Достаточно им было арестовать пятерых, а 20-30 других активных участников они подвергли внесудебным преследованиям: исключили из партии, выгнали с работы. Мои товарищи по библиотечному институту были исключены из комсомола и из института.

Из свидетелей наиболее последовательно и юридически верно вел себя Орловский. Будучи вызван на первый допрос, он пришел с Уголовно-процессуальным кодексом и на отдельные вопросы отказался отвечать, ссылаясь на этот кодекс, поскольку эти вопросы были „наводящими”. Он отказался подписать обязательную для свидетелей подписку „об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний”, так как, сказал Орловский, он себя считает „не свидетелем, а подозреваемым”. Юридический статус „подозреваемого”, по советскому закону, иной, чем у свидетеля.

Необычное для следователей поведение Орловского на допросах шокировало Следственный отдел УКГБ. Никто из свидетелей здесь так себя не вел, никто из них не знал так хорошо советские законы, как Орловский. Сами следователи не вникали в них столько серьезно. Какие-то пункты

они соблюдали, какие-то старались обходить, считая их помехой своей работе.

Орловский на практике доказал, что наш уголовно-процессуальный закон вполне может обеспечить права свидетелей и подозреваемых, если точно соблюдать его нормы.

Его поведение должно было раздражать следователей. Его постоянные ссылки на статьи кодекса, колоссальная эрудиция, бесстрашие, которого не хватает большинству свидетелей... Да еще ведь и не юрист он по образованию, а математик — это должно было задевать их профессиональное самолюбие. Я думаю, они охотно засадили бы его в тюрьму, но в его действиях не было ничего противозаконного. Ни о каких „нелегальных кружках”, тем более о готовящихся листовках он не знал: мы с Пименовым не посвящали его в эти дела. Мы знали, в силу своей ориентации на право и соблюдение законов он отнесся бы отрицательно к любой конспирации. Единственно, в чем они могли бы обвинить его, — это, по их терминологии, „участие в антисоветских собраниях на квартире Пименова”. Но одного пассивного участия в таких „сборищах” было маловато, а его доклад о ВЧК там был построен целиком на материалах советской печати.

Орловский записывал для себя, какие вопросы задавали ему следователи и что он отвечал; фамилии следователей. Он встречался с другими свидетелями по нашему делу, в частности, с Вишняковым. Он попросил и Вишнякова, и других сделать такие же заметки и отдать ему. Тогда им всем, оставшимся на свободе, говорил Орловский, стало бы яснее, в чем конкретно обвиняются Пименов, Вайль и другие. В этом нет ничего, противоречащего закону, объяснял он.

Вишняков обещал делать такие записи. Но на ближайшем же допросе Вишняков рассказал об этой просьбе Орловского следователю. И в тот же вечер на квартиру Орловского явился офицер КГБ и „настоятельно просил” у Орловского эти заметки. Орловский отдал (а если бы не отдал, они, я думаю, сделали бы обыск) и тут же, сразу же после ухода офицера, воспроизвел эти записи по памяти.

В библиотечном институте мой арест, как мне потом рас-

сказывали, стал событием. Все теперь говорили, что в институте существует тайная организация. Чтобы как-то объяснить мой арест, КГБ распустило слух, что я был шведским шпионом. (Незадолго до этого газеты писали об аресте нескольких „шведских шпионов“, эстонцев по происхождению, заброшенных в СССР из Швеции. Были ли они действительно шпионами, я не знаю, но я встретил их потом в лагерях.)

Директор Скрыпнев и парторг Водянников получили партийные взыскания за „утрату бдительности“. Водянников решил искупить свою вину перед начальством и развернул бурную следственную деятельность. Он вызывал к себе в кабинет студентов, знакомых со мной, и допрашивал их без всякого протокола, по крохам собирая компрометирующие меня данные. Наиболее интересные из них он передавал потом в КГБ, а те вызывали этих студентов к себе на допросы. Всего он пропустил через себя около 100 человек, но КГБ сочло необходимым вызвать к себе только 5-6 из них.

По городу ходили слухи обо всех этих допросах и арестах, и при этом о библиотечном институте говорилось как о каком-то эпицентре подполья.

Студент института им. Герцена В. Трофимов, с которым я вскоре оказался в одной камере в „Большом Доме“, рассказал мне, что у них в институте говорили о кружке в библиотечном, еще до нашего ареста. Трофимов и его приятели пытались связаться с нами, но не смогли. Такая же проблема была и у нас: до нас тоже доходили слухи о группах и кружках в других вузах, но как можно было разыскать этих людей? Как установить контакт с ними?

Я писал в одном из писем Данилову в Курск, что нужно как можно больше расширять круг личного общения и знакомств, что таким образом рано или поздно мы выйдем на „интересных людей“. Это письмо теперь лежало на столе у следователя и было им квалифицировано как „инструкция по проведению антисоветской деятельности“.

Теперь я хочу сказать о тяжелых для моей совести поступках. Если бы дело ограничилось тем, что я стал, после некоторого сопротивления, подтверждать показания Виш-

някава, Данилова и других, то это, хотя и было явлением позорным, все же простительно человеку, которому едва исполнилось 18 лет. Здесь еще не было предательства, это была человеческая слабость: неопытный юноша столкнулся с умудренными опытом следователями; камера-одиночка; признания бывших товарищей; постоянное давление ужасной мысли: они все знают!

Но случилась более странная и до сих пор мне не совсем понятная вещь: я стал рассказывать о таких вещах, о которых КГБ не знало и вряд ли могло бы узнать. В частности, о разговорах с Пименовым, которые были наедине, о своем походе к Рыкову в Курске и т. д. и т. д. Зачем я все это рассказывал? Вспоминая и анализируя теперь свое поведение, я прихожу к выводу, что следователи неплохо сыграли на моем юношеском честолюбии. Они подогревали во мне мысль, что я крупный деятель подполья. Когда я рассказывал о себе, я становился значительнее в собственных глазах. А они нисколько не высмеивали это, а наоборот, всячески показывали, что принимают меня всерьез, уважают меня и т. д. И вот я убеждал и себя, и их, что я действительно значительная фигура и многое успел сделать на революционном поприще. И вспоминал свои „дела”.

И „дело” мое росло и росло, а в Курске и в Новгороде вызывали новых людей на допросы. Я не мог ничем повредить этим людям: Рыков не был виноват в том, что я приходил к нему. Рассказом о Рыкове я увеличивал свою вину. Но все эти вызовы в КГБ, конечно, были для этих людей сильным потрясением, запомнившимся, может быть, на всю жизнь.

Таким образом, объем обвинительного заключения увеличился и у меня, и у Пименова. Пименов позже тоже с огорчением недоумевал, зачем мне понадобилось давать такие показания? Я не мог ему ничего объяснить...

Нечто подобное произошло и с Даниловым. Он много рассказал такого, о чем следователи знать не могли. По его показаниям в Ленинград привезли С.В., но тот мужественно отрицал всякие „антисоветские разговоры”

трехлетней давности. Вещественных доказательств в этом случае не существовало, и его отпустили, хотя следователь, вымогая признания, всячески угрожал ему и оскорблял его.

Следует рассказать об одной коллизии, самой по себе незначительной, но важной принципиально. Литовец Бубулис дал показания, что однажды я в присутствии его и двух студенток из Вильнюса, которые проходили практику в нашем институте, говорил о присоединении Литвы к СССР как об оккупации, о том, что Литва должна быть независимой и т.д. По сравнению с другими эпизодами, этот почти ничего не значил для меня. Когда мне предъявили эти его показания, я не только подтвердил их, но и добавил, что я и сейчас придерживаюсь этих мнений. Тогда в Вильнюсе допросили тех девушек. Несмотря на то, что сознался Бубулис и — главное — я и им зачитали наши показания, они упорно „не могли вспомнить” этого эпизода. Представляю, сколько бились над ними вильнюсские следователи! В конце концов от них отстали — ни с чем. Но сколько нервов это им стоило... Читая протоколы их допросов, я только удивлялся их ненужному, казалось мне, мужеству: что им стоило подтвердить, казалось бы, незначительный факт? А о беспринципности своих и Бубулиса показаний мне и мысли не приходило.

В нынешнее время часто воспроизводится подобная коллизия. В таком, например, виде: обвиняемый говорит, что он дал такому-то самиздатскую книгу. По существующей практике, преступник — тот, кто дает „литературу”, а не тот, кто ее берет. Начинают допрашивать того, кто эту книгу получил. А он отрицает этот факт, он не хочет подводить своего арестованного товарища. Начинаются очные ставки, взаимные обиды, взаимное непонимание, и все это может кончиться отчуждением друг от друга на всю жизнь.

Да, в поведении двух девушек из Вильнюса сказала не наша закваска. Мне рассказывали литовцы в лагерях, что во время их партизанской борьбы с советскими оккупантами у них существовала формула, которой они должны были придерживаться в случае ареста: „Не знаю, не видел, не помню”. Эти студентки были слишком молоды, чтобы знать эту формулу, но, видимо, она была у них в крови.

Всего по нашему делу было допрошено около 120 человек в разных городах страны. И поведение этих двух литовок не было исключением.

Читая *Архипелаг* Солженицына, соглашаешься с ним, что не обязательно применять какие-то особые пытки, чтобы заставить человека говорить. Часто достаточно тюрьмы или даже угрозы тюрьмой.

И все-таки от того, кто сознательно противостоит власти, мы всегда ожидаем морального поведения и там, за решеткой.

Нужно отдать должное следователям КГБ: они знают человеческую психологию и наблюдательны. Правда, набор их приемов ограничен, и они часто повторяются. В конце концов их „работа” тоже становится рутинной, и только препятствия подстегивают их и разжигают детективный инстинкт.

Мой следователь Кривошеев был из нового поколения чекистов. Он окончил юридический факультет ЛГУ вскоре после смерти Сталина и работал в КГБ всего полтора-два года. Он был еще беден: у него не было, например, часов. На первом же допросе я заметил, что он куда-то звонит по телефону. Я думал, что он, не добившись признаний, звонит теперь палачу. Палач ответит сейчас меня в подвал, и там-то и начнется самое страшное. Но он подержал трубку у уха и повесил ее. Так повторялось несколько раз, прежде чем я догадался, что он звонит по номеру автоматических часов и так узнает время.

Хотя он и вел политические дела, но политикой как человек не интересовался. Однажды он сказал мне: „Сколько красивых женщин в Ленинграде! Вы, Вайль, могли бы иметь успех у них. И заметьте — это ведь уголовно не наказуемо. А вы влезли в политику”.

В другой раз он сказал мне: „Вы что думаете, мы только вами и занимаемся? Я вот, например, разобрал несколько дел о реабилитации. Вот занимался делом поэта Брауна. Он мне даже книгу свою подарил, смотрите”, и он действительно достал из шкафа книгу стихов известного ленинградского поэта с дарственной надписью.

Однажды во время допроса пришел начальник следствен-

ного отдела и подал мне листовку и несколько конвертов. Я стал внимательно разглядывать. Эта фотолитовка была изготовлена именно тем способом, о котором мы только мечтали: буквы, вырезанные из газеты и наклеенные, и текст размножен фотографическим способом, размер 9 x 12. Содержание листовки также было близко нашим взглядам: говорилось о Венгерских событиях, и интеллигенцию авторы призывали следовать примеру Венгрии и Югославии. Стиль был ярко публицистический. Листовка была подписана „Комитет спасения Родины”. Эта листовка рассылалась по почте. (Мне в голову такой способ распространения до этого не приходил). Рассылалась она, судя по конвертам, в разные города страны, но всегда в адрес профсоюзных организаций. Обратный адрес на всех конвертах был один: „Ленинград, Университет, профком”. Адреса были написаны печатными буквами, чтобы автора не нашли по почерку.

— Мне нравится эта листовка, — сказал я Рогову. — Я полностью с ней согласен.

— Да ведь это ваша листовка! — сказал Рогов. — Расскажите-ка, как вы ее с Пименовым делали.

— К сожалению, мы не успели выпустить такие листовки, — вздохнул я. — Очень жаль.

— Да, но признайте, что здесь ваши взгляды.

— Да, здесь наши взгляды, но листовка не наша.

— Но Пименов уже признался!

Я мог только рассмеяться в ответ.

К такой лжи они прибегали частенько.

Об этой листовке меня снова допрашивали через год, уже в Сибири. Мне осталось неизвестным, кто же в действительности выпустил эту листовку, кто за ней стоял.

Следователи не только лгали в таких „служебных целях”, но и стремились очернить одного человека в глазах других, поспорить товарищей, между собой. Например, про жену Пименова они мне говорили: „Ну, какая она жена! Она — сожительница его. (Их брак не был зарегистрирован.) И вообще, Пименов — грязная личность”.

„Ну и лидера вы себе выбрали! — сказал мне как-то Криво-

шеев. — Слепой, глухой... (Пименов носил очки и несколько плохо слышал.) Знаете изречение: слепой ведет слепого? Вот и привел он вас... в тюрьму. Если бы не он, учились бы сейчас, белые ночи встречали..."

Данилову они говорили, что я виноват в том, что он, Данилов, в тюрьме. И т. д.

Возглавлял всю ленинградскую госбезопасность в то время генерал-майор Николай Романович Миронов. Мне неизвестно его прошлое, но Хрущев приблизил его к себе и назначил на высокую должность — начальником административного отдела ЦК КПСС. (Это было уже в начале 60-х годов.) Это значило, что по линии ЦК ему подчинялся все-союзный аппарат КГБ, МВД, судов, прокуратуры. За несколько дней до падения Хрущева — в октябре 1964 года — самолет, в котором летел Миронов, маршал Бирюзов и другое начальство, разбился при невыясненных обстоятельствах над Югославией.

Миронов не снисходил до того, чтобы беседовать с нами, но однажды все-таки вызвал и сам допросил Пименова. Читая протокол этого допроса, я так и чувствовал нескрываемое раздражение Миронова к Пименову, ненависть этого сановника к неизвестно откуда взявшимся в его вотчине „оппозиционерам". Мы были, наверное, для него как комары, которые и жужжат, и кусают, а прихлопнуть их нельзя — время не то.

Тем временем ректор Ленинградского университета академик А. Д. Александров, грозивший Пименову Колымой, счел своим долгом помочь своему коллеге Пименову. Помочь как ученому. Он обратился к Миронову с просьбой, чтобы Пименову разрешили в камере писать свою научную работу. Миронов разрешил, и Пименов вплотную занялся своей кандидатской диссертацией, на которую у него раньше не хватало времени. Вообще чернила и бумагу давали нам только для написания жалоб и заявлений. Но со временем и мне разрешили писать, и я мог держать в камере карандаш. Но периодически они забирали мои бумаги и изучали, что я пишу. Пименова не ограничивали в книгах, и это была за-

слуга Александрова. Остальным давали одну книгу на 10 дней, но со временем выяснилось, что можно брать также одну нехудожественную (научную) книгу впридачу. Это облегчало жизнь.

Пименов все время сидел один и даже просил, чтоб к нему никого не сажали: одному ему легче было писать.

Месяца через 2 моей жизни в тюрьме ко мне в камеру завели студента, года на 2 старше меня. Он учился на физическом факультете ЛГУ и был арестован за то, что вместе с другим студентом хотел уехать в Америку. Эти два студента (Орлов и Мартыненко) отправили несколько писем в американское посольство в Москве, где, нисколько не критикуя советской системы, просили предоставить им политическое убежище в США. Вместо своих подлинных фамилий они ставили вымышленные и обратный адрес Ленинградского университета. В университете был специальный ящик с ячейками, где письма раскладывались в алфавитном порядке. Они ежедневно контролировали этот ящик и однажды получили ответ. Там писалось, что „американский представитель Говард Бленк готов принять их по интересующему их вопросу в гостинице „Европейская” в номере таком-то такого-то числа”. Мартыненко пришел туда, и действительно его ждал человек, говоривший по-русски с иностранным акцентом. Этот „Говард Бленк” объяснил ему, что для выезда из СССР существует легальный путь — через Президиум Верховного Совета. Мартыненко сказал, что этот путь для него невозможен, он рассчитывает на нелегальный выезд. „Бленк” сказал, что должен изучить этот вопрос, и попросил его ждать некоторое время. Мартыненко хотел было сообщить свои подлинные данные и адрес, но „американец” успокоил его: „Мы вас сами найдем”. И их действительно вскоре „нашли”: через 2 месяца они были арестованы. Конечно, они быстро во всем сознались. Велико было их удивление, когда следователь показал им их письма в американское посольство (но не все), которые попали в КГБ странным образом: говорилось, что некий гражданин нашел эти 2 письма на улице Чайковского в Москве, недалеко

от американского посольства. Они валялись якобы на тротуаре — вместе, — хотя и были отправлены в разное время. Прилагалось, как и полагается, заявление этого гражданина в КГБ.

Орлова и Мартыненко сначала обвиняли по статье 58-1а — „измена Родине“, но затем решили ограничиться „антисоветской пропагандой“, выразившейся в „восхвалении американского образа жизни“ в их письмах в посольство.

Что касается Говарда Бленка, то в их деле лежали документы: запрос КГБ в гостиницу „Европейская“ и в американское посольство об этом персонаже. Американское посольство сообщало, что в его штате нет человека с такой фамилией, гостиница сообщала, что в указанный день гражданин с такой фамилией в гостинице не останавливался.

В обвинительном заключении по их делу лишь вскользь констатировалось, что Мартыненко встречался с „иностранным гражданином“.

Мартыненко получил 6 лет лагерей, а Орлов — 4. Затем по кассации эти сроки были снижены соответственно до 3 и 2 лет.

Я был очень рад, что одиночество мое кончилось. Орлов — тоже. Несколько суток безумолку говорили мы с ним, делая перерыв только для сна. Только после одиночки чувствуешь так сильно радость человеческого общения, радость слушать другого и говорить самому. Я иногда пытался разговаривать и с надзирателями, но им было запрещено беседовать с нами. Все-таки некоторые, наиболее любопытные из них, интересовались, за что нас посадили. Появление в тюрьме молодых людей, студентов, естественно, не могло не удивить некоторых из них. Один надзиратель как-то рассказал мне, что они на политзанятиях спросили парторга, что, мол, это за люди. Парторг ответил, что как раньше были большевики и меньшевики, так вот и эти молодые люди тоже против партии, как бы меньшевики нового поколения.

Но в основном надзиратели вели себя сухо и придерживались инструкций. Это были люди лет 35-40, с низким образовательным уровнем. Одна из их задач была не допускать контактов между заключенными, и они тщательно смотрели,

чтобы мы не перестукивались. Тем не менее мы перестукивались, используя азбуку Морзе. Так постепенно мы начинали узнавать друг о друге.

Помню, меня перевели в камеру № 194, и я стал стучать в соседнюю № 193 и — безответно. Но я знал, что иногда люди боятся или не хотят отвечать. Через некоторое время я снова стал стучать. Вдруг открылась кормушка, и надзиратель сказал мне:

— Что ты стучишь? Там никого нет. В эту камеру никого не сажают. Там сидел Владимир Ильич Ленин.

— Вот как! — удивился я. — А почему же нет таблички?

Он пожал плечами.

Впоследствии я видел фотографии этой камеры в советских журналах. Ильич писал здесь молоком (тайнопись) свои программы и листовки и отправлял их на волю. Здесь же им написана работа *Развитие капитализма в России*.

Нам молоко было не положено, но раз в месяц можно было делать закупки продуктов на определенную сумму. Конечно, далеко не все разрешалось покупать, но купить масло, белый хлеб, сахар, сигареты мы могли. Кроме того, можно было получать продуктовые передачи, и не только от родственников, но и от друзей.

За перестукивание с соседями могли лишить и „ларька“, и передач. Но положение с питанием в это либеральное время было намного лучше, чем в 70-е годы. Сейчас в следственных тюрьмах принимают только 5 кг продуктов для одного заключенного в месяц. И в строго ограниченном ассортименте: нельзя передавать, например, шоколад, в ряде случаев — колбасу и т. д. Тогда никаких подобных ограничений не существовало.

Мы с Орловым стучали в соседние камеры, и в конце концов нам вынесли за это взыскание — лишили книг и шахмат на целый месяц. Без книг было тяжело, но шахматы мы сделали из хлеба, и надзиратель долго наблюдал в глазок, как мы переставляем хлебные фигурки по самодельной „доске“. Он размышлял, подлежат ли они конфискации. Решил, видимо, что нет.

Орлов очень остро переживал заключение. Он, как и я, еще ждал суда, и если прожитые в тюрьме 2-3 месяца казались адом, то мучительно было подумать, что могут дать 5 или 6 лет. Конечно, из этой тюрьмы после суда нас должны будут отправить в лагерь, а лагерь казался нам переменной к лучшему.

Поздними вечерами на Орлова находили приступы меланхолии, и он то начинал разрабатывать планы побега, то говорил о самоубийстве, то начинал надеяться на амнистию. Амнистия будет непременно, полагал он, — такая дата: 40 лет советской власти! От всех этих переживаний однажды ночью с ним случился сердечный приступ, мне пришлось вызвать стражника. Тот привел дежурного фельдшера (был, оказывается, такой), и Орлову сделали какой-то укол.

Как обычно случается среди маленьких коллективов, зажатых на небольшом пространстве, между нами начинались трения, росла взаимная раздраженность. До ссор дело, правда, не дошло, но я уже втайне желал сидеть в одиночке.

И внезапно это произошло: нас разъединили. Некоторое время я наслаждался одиночеством. Потом опять стал тосковать по человеческой речи, вспоминать Орлова, наши шахматные партии, споры...

В Ленинграде стояло жаркое лето. Здесь, в каменном мешке, мы не могли видеть ни одного зеленого листка, ни травинки. Можно было видеть лишь кусочек неба над головой во время прогулок, пробегающие облака, слышать издали традиционный выстрел пушки у Петропавловской крепости. Остальные звуки большого города не доходили к нам в колодец квадратного шестизэтажного здания, на дне которого мы „гуляли”. Мы были рады солнцу, когда оно заглядывало в колодец, Орлов даже пытался загорать, но надзиратели запрещали раздеваться на прогулочном двореке. А в окна наших камер, закрытые „намордниками”, солнечные лучи никогда не проникали. И только узенькая полоска неба над „намордником” меняла свой цвет. Было интересно следить за этими изменениями, за всеми оттенками светлоголубого или, когда ночь переходит в утро, жемчужного

цвета. На восходе эта полоска розовела, и тут мне вдруг попало стихотворение Блока, который, мне показалось, мог написать его, только наблюдая такой вот восход.

Но заалелся переплет окна
Под утренним холодным поцелуем,
И странно розовеет тишина...

Днем иногда доносился звук трамвая, и воображение до-рисовывало улицы, машины, спешащих людей — всю эту настоящую жизнь, которая была так близко и так далеко и которой, видимо, не было дела до нас... И порой приходила мысль: зачем я здесь? Ради чего я пожертвовал своей свободой? Было ощущение, что ты забыт всеми и одинок.

Но однажды летом надзиратель принес мне первую продуктовую передачу, и в квитанции, в графе „от кого“, я увидел „Орловский Э. С.“ И я был счастлив, теперь я знал, что не забыт.

Орловский делал сборы пожертвований среди свидетелей, он был нашим „Красным Крестом“. Он был, возможно, первым, кто решился на такой мужественный поступок после „Помощи политическим заключенным“ Екатерины Пешковой, переставшей существовать в середине 30-х годов. Мужественный потому, что власти не выносят филантропической деятельности в пользу „врагов народа“.

Для меня эти передачи имели особое значение, так как в Ленинграде у меня не было близких родственников и некому было помогать мне. Отец и мачеха знали, что я сижу в тюрьме, но я не получал никаких вестей от них.

Данилов тоже стал получать передачи от ленинградцев, незнакомых ему до этого.

Летом же в мою камеру ввели старого, по моим тогдашним представлениям, человека (на самом деле ему было 53 года). Его совсем недавно арестовали, и он еще не пережил полностью первого шока. Фамилия его была Калекин, он был крестьянин по происхождению, образование его — всего 3 класса. Он был участником и финской, и Отечественной войн. В последние годы он много пил, а выпив, начинал публично ругать Хрущева. Однажды на улице он

пытался бросить бутылку в портрет Хрущева. Его дважды привозили в КГБ, брали подписку, что он „больше не будет”, и в последний раз Рогов сказал ему: „Еще раз попадешь сюда — подохнешь в тюрьме”. Но Калекин не смог сдерживать себя, и его арестовали в третий раз. Теперь он спрашивал меня о пытках. Ему кто-то рассказывал, что в „Большом Доме” есть в подвале люк, куда выбрасывают расстрелянных заключенных. Я заверил его, что его не расстреляют и даже 10 лет не дадут. Я успокаивал его как мог.

Он получил всего 3 года, но умер, как и предсказал ему Рогов, в мордовском лагере, не отсидев положенного ему срока.

Сидеть с ним мне было гораздо тяжелее, чем с Орловым. Страх за свою жизнь терзал его беспрерывно. И я был рад, когда нас рассадили. Теперь он оказался в соседней камере, и мы иногда перестукивались.

Калекин рассказал мне о двух важных событиях того лета: разоблачение „антипартийной группировки” Молотова, Маленкова, Кагановича и побоище на Кировском стадионе в Ленинграде.

На стадионе произошло следующее. Футбольная команда „Зенит” — фаворит ленинградской публики — играла с приезжей командой. „Зенит” играл плохо, вратарь пропустил несколько мячей. Тогда с трибун вышел на поле один пьяный болельщик, оттолкнул вратаря и сказал: „Я буду стоять на воротах!” Вмешались другие болельщики и милиция. И на футбольном поле завязалась драка с милицией. Один или два милиционера были убиты, несколько ранены. Несколько человек из публики было арестовано, но установить, кто именно убил милиционера, было невозможно.

Конечно, это не было политическим выступлением, но показывало, что в народной массе существует ненависть к карательным органам, к милиции прежде всего. Спустя несколько лет подобные события повторились в Муроме, Коврове и Краснодаре.

Не один Калекин сидел в то время в тюрьме за публичные антихрущевские выступления. После запуска в космос пер-

вого советского спутника один рабочий из Ленинграда громко сказал в трамвае: „Спутники пускаете, а народ голодный! Дайте мне сюда Хрущева, я его своими руками задушу”. Он получил 4 года.

Таких одиночек из разных городов я много потом встречал в лагерях. Все они были рабочие в возрасте 40-50 лет. И все они выражали свое недовольство только в пьяном виде. Но „что у трезвого на уме, то у пьяного на языке” — народ был недоволен своей жизнью, но виной всему считал Хрущева только.

Встречались и более фантастические случаи. В нашей тюрьме сидел немолодой человек, фанатик порядка, считавший, что „народ распустился.” И когда он ходил по Ленинграду и слышал различные антихрущевские высказывания (а услышать их чаще всего можно было в пивных), то он не мог такого перенести. Он садился и писал Хрущеву письмо, где перечислял, в какой пивной Хрущева называли „дураком”, в какой — „кукурузником”. Эти его письма попадали в КГБ, и КГБ сочло, в конце концов, что за этим сочувствием кроется нечто другое, что этот доброжелатель косвенно оскорбляет первого секретаря, слишком уж обильно цитируя циничные выражения в его адрес. Доброжелателя арестовали и, несмотря на все его протесты и заверения, что он любит Хрущева, ему дали 2 года.

Со мной сидел недолго один ленинградский инженер, бурят по национальности. Этот был арестован за то, что критиковал Хрущева с просталинских позиций: он обвинял его публично и в письмах в искажении ленинизма и даже в троцкизме. Он не мог простить Хрущеву его разоблачения Сталина и с упорством догматика повторял одно и то же. С ним спорили и я, и Трофимов (мы сидели вдвоем в это время в одной камере), но не могли переубедить его. Наконец, мы решили не говорить с ним на такие темы и стали расспрашивать его о буддизме. И это было нам гораздо интереснее, чем бесплодные споры о Сталине.

С Трофимовым меня посадили в сентябре. Но я уже до этого знал, что, кроме нашей, в тюрьме сидит другая группа

или „организация”, арестованная двумя месяцами позднее. Их организация называлась „Союз коммунистов”. Такое название, как они говорили, должно было указывать на аналогичный союз времен Маркса и Энгельса и одновременно — на „Союз Коммунистов Югославии”. Этот „Союз” возник из слияния двух кружков: ленинградского (Трофимов, Голиков, Потапов и другие) и московского (Тельников, Хайбулин). До слияния москвичи называли себя „Союзом революционных ленинистов”.

Если нас было арестовано 5 человек, то их — 9, почти все — студенты. У них были выпущены листовки, они расклеивали их в пединституте им. Герцена.

Все они, повторяю, были молоды, почти все считали себя марксистами-ленинцами.

Тельникову удалось перебросить Пименову несколько записок (на прогулочном дворике). Все они заканчивались словами: „С коммунистическим приветом”.

Они получили большие сроки — до 10 лет, и в лагерях многие из них эволюционировали от марксизма к христианству. Только один из них — Тельников — эмигрировал, остальные живут в СССР. Хайбулин после лагеря окончил духовную семинарию и стал иеродиакonomом, он является членом „Христианского комитета защиты верующих в Советском Союзе”. Валентин Малыхин, единственный рабочий в этой группе, вернувшись из лагеря, не смог приспособиться к новым условиям жизни и вскоре после освобождения покончил самоубийством. Дмитриев сошел с ума после ареста и его направили в психбольницу.

Трофимов, как и Тельников, пытался перебрасывать на прогулке записки. Но у него не было карандаша и бумаги, и он использовал вместо них кусочки мыла, которыми нас периодически снабжала тюремная администрация. Это были его „визитные карточки”. Однажды и ко мне во дворик упал такой кусочек, и я прочитал на нем: „Виктор Трофимов, 4-ый курс истфака, ин-т им. Герцена, ст. 58-10, 58-11”.

В тюрьме преобладали студенты, и если удавалось установить контакт — перестукиванием, или еще как-либо,

– то первым делом спрашивали: „Какой институт? Какой факультет?”

Однажды Трофимов вышел на прогулку с таким кусочком мыла и уже размахнулся, чтобы перебросить его соседу, как в дворик ворвался старшина Шестаков. Он схватил Трофимова за руку, пытаясь ее разжать. Трофимов сопротивлялся. Шестаков крутанул руку так, что сломал ему указательный палец.

Это дело приняло неблагоприятный для КГБ оборот, так как через несколько дней Трофимову предстоял суд, а его руку положили в гипс. Миронов не хотел огласки. Он вызвал к себе Трофимова и сказал, что готов предоставить Трофимову некоторые льготы, лишь бы тот не заявлял жалоб на суде в связи со сломанным пальцем. Трофимов ответил, что он давно просит, чтобы к нему в камеру посадили второго заключенного, желательно студента. Миронов спросил, устроит ли его Вайль. Трофимов согласился, он уже немного слышал обо мне. Кроме того, Миронов разрешил Трофимову пользоваться карандашом и бумагой. И уже без просьбы Трофимова ему целый месяц выдавали „диетпитание”: стакан молока и 200 граммов белого хлеба – сверх обычной нашей нормы.

С Трофимовым мне легко было сидеть: видимо, наши характеры были более совместимы. Он много читал, в основном, Ключевского. Я же не мог заставить себя изучать древнюю русскую историю: бесчисленные русские князья, Всеволодовичи и Игоревичи, наводили на меня зевоту. Зато я прочитал здесь почти всего Достоевского и полюбил его. Здесь, в тюремной библиотеке, Достоевский был дореволюционного издания. Вообще там много было книг дореволюционных изданий. Говорили, что эти книги в свое время были конфискованы у арестованных (в 30-е годы приговор, кроме расстрела или тюрьмы, включал в себя и конфискацию имущества). Но, возможно, они были тут еще со времен Ленина.

В августе нас пятерых судили. На суд везли в „воронках”, а во дворе суда мы вылезали из машин и шли один за другим

цугом, руки назад, и одного от другого отделял вооруженный солдат. Какая-то женщина, увидев нас, вздохнула: „Какие молодые, а уже воры”.

В подвале суда были камеры, и здесь нас впервые посадили вместе, за исключением жены Пименова. И эти ежедневные встречи в течение недели, пока шел суд, были для нас праздником. С Заславским я только здесь и познакомился, жену Пименова видел до ареста только один раз мельком.

А потом нас ведут по роскошной лестнице городского суда, и тут мы видим своих друзей, которые остались на свободе. Они машут нам руками, подбадривают, и Пименов говорит мне: „Видишь, это же демонстрация сочувствия!” И так каждый день в течение недели. В эти дни ко мне вернулось уже знакомое ощущение полноты бытия. Оно наполняет и моих товарищей по скамье подсудимых, я вижу это по их лицам. Кто-то из них говорит мне: „У нас еще впереди много будет плохого. Тюремь, лагеря... Но об этой лестнице мы должны всегда помнить”. Да и как о ней забудешь?!

Одновременно с нами в горсуде слушались и другие, не политические дела. Судили большую группу — человек 30 — „расхитителей” из Ленинградской артели „Красное Знамя”. Поэтому, когда нас ввели однажды в камеру, где уже находились какие-то заключенные, кто-то из них спросил меня: „Вы по делу „Красного Знамени”?” Я никак не мог взять в толк, о чем речь. Я подумал, что „Красное Знамя” — это какая-то новая организация студентов, вроде „Союза коммунистов”.

Среди „расхитителей” были бухгалтеры, экспедиторы, кладовщики. Один из них спросил Пименова:

- А вас за что посадили?
- За то, что мы хотели сказать...
- Что вы хотели сказать?
- За то, что мы хотели сказать то, что мы думаем.

Это было слишком абстрактно для „расхитителя”. Этот кладовщик знал точно, за что он сидит и сколько стоит то, что

он присвоил. Но сесть в тюрьму за желание „высказаться”?

Суд был закрытым, но нам удалось добиться, чтобы свидетели после их допроса оставались в зале суда. Кроме того, в зале сидели судебные психиатры из разных городов. Дело в том, что суд пригласил профессора Случевского для освидетельствования Пименова. Случевский заявил, что он ведет курсы для провинциальных психиатров, и просил разрешить ему быть на суде со своими учениками. Их было 16 человек. Это была наша „публика”. Это был тот самый Случевский, который в 1949 году поставил Пименову диагноз „шизофрения”, а заодно диагностировавший рассказ Горького.

При Хрущеве не было практики заполнять зал суда специально подобранной публикой, а потом говорить: „В зале нет мест”.

На суде мы признавали фактическую сторону дела, но отрицали ее подрывной характер. Мы отрицали, что наша деятельность была антисоветской, в крайнем случае мы соглашались считать ее антиправительственной. И следователи, и судьи отмахивались от такой дифференциации: термины „антисоветский” и „антиправительственный” были для них синонимами. Что касается жены Пименова, то она вообще отрицала какую-либо свою вину.

Прокурор Демидов произнес очень грозную обвинительную речь, которая заканчивалась такими словами: „Чтобы у нас не повторились будапештские события, мы должны наказать как можно суровее подсудимых. Поэтому я прошу суд подвергнуть Пименова лишению свободы на 6-7 лет. И 3-4 года лишения свободы для Вайля не будет чрезмерным наказанием. Остальных можно приговорить к несколько меньшему наказанию”.

Суд последовал этому совету, и Пименов получил 6 лет, я — 3, а остальные — по 2 года каждый. Нам надо было радоваться такому легкому наказанию, но тогда оно казалось нам суровым. И мы все решили писать кассацию в Верховный Суд. Но через несколько дней мы узнали, что прокурор Ленинграда Ронжин опротестовал наш приговор, найдя его слишком мягким. Его протест также пошел в Верховный

Суд. Можно было предположить, что Верховный Суд скорее согласится с мнением Ронжина, чем с нашим. А пока мы должны были сидеть в тюрьме и ждать ответа из Москвы.

Впоследствии от наших адвокатов стало известно, что Демидов, потребовавший столь малого наказания для нас, и судья, проявивший „либерализм”, наказаны: судью перевели в адвокаты, прокурор получил выговор.

Была осень 1957, и по тюрьме ходили слухи о предстоящей — к 7 ноября — амнистии. Мы уже знали фамилии многих политзаключенных, сидевших вместе с нами. Я завел переписку с репатриантом Владимиром Фриде-Куликовичем, бывшим советским солдатом, сбежавшим когда-то в ФРГ. До середины 1956 он жил во Франкфурте-на-Майне и, по его словам, в политику не вмешивался. Правда, в эмигрантской газете он поместил однажды статейку под заголовком: „Советский спорт — товар на вывоз”. В Ленинграде у него жили родители, он получал от них письма. Когда он пришел к советскому консулу в Бонне, тот заверил его, что если он, Фриде, вернется в Союз, то ему ничего не будет. „Родина вас простила”. Несколько раз ходил Фриде к консулу и однажды принес ему списки какой-то эмигрантской организации, кажется ЦОПЭ (Центральное объединение послевоенных эмигрантов). Теперь-то, думал он, после такой помощи коммунистам, ему действительно ничего не будет. Он выехал в Восточный Берлин, и здесь советские чиновники, встречавшие его очень радушно, просили его выступить по радио — для эмигрантов в Западной Германии. Он выступил, рассказал „соотечественникам” о теплом приеме, оказанном ему в Восточном Берлине. Он призывал их порвать с „преступным прошлым” и вернуться на Родину.

Его арестовали, когда он уже пересек советскую границу, и привезли сюда, в „Большой Дом”, предъявили ему старый приговор, вынесенный ему заочно после его бегства: за измену Родине — смертная казнь. И некоторое время он ждал расстрела. Потом сказали, что приговор просмотрят. Теперь речь шла о 10-15 годах лагеря. Кроме „измены Родине” ему припомнили и „антисоветскую статью о советском

спорте". Он с горечью писал мне в записке: „Обещали мне квартиру в Ленинграде и работу. Вот она — квартира в Ленинграде — камера, а работа скоро будет — в лагере". Я его расспрашивал об эмигрантских организациях, и он охотно мне писал об НТС, ЦОПЭ, СБОНР. Можно предположить, что на допросах он говорил о них еще более подробно.

Аналогичная судьба была у советского лейтенанта Антонова, убежавшего после войны на Запад и работавшего консультантом в Пентагоне. Жена и старики-родители жили в Ленинграде, и он тосковал по ним. После 20-го съезда, поверив в перемены в СССР, вернулся. Поскольку у него было много имущества, он добирался в СССР пароходом. По его словам, одних только костюмов у него было 12 (это фантастика для советского человека). Сойдя с парохода, он был арестован и ждал теперь своих 10 лет.

В лагере мои приятели встретили бывшего диктора радио „Свобода" (тогда оно называлось „Освобождение") Ронжина, однофамильца ленинградского прокурора. Были еще десятки других случаев, всегда однотипных: человек убегал за границу или не возвращался в СССР из командировки, а через несколько лет, получив заверения советских дипломатов, что он не будет наказан, принимал решение вернуться назад. Как правило, все эти люди были нравственно неустойчивы: сначала они рассказывали американцам о каких-то советских военных секретах, а затем об американских секретах — советской разведке. Примеры Антонова и Фриде показательны и типичны в этом смысле.

В сентябре я сидел недолго в одной камере с Малыхиным, и он научил меня разговаривать с соседями через унитаз. Если предварительно выбрать оттуда тряпкой воду, наклониться, то вполне можно говорить и слышать. Через несколько лет после этого я узнал из воспоминаний народников и народовольцев, что они широко применяли в этой тюрьме такой метод общения, причем в таких беседах одновременно участвовало несколько камер с разных этажей.

Трофимова после приговора отсадили от меня, и я снова сидел один. И дни тянулись, похожие друг на друга, как

близнецы. Считать, сколько их осталось, было бессмысленно, так как приговор на 3 года был поставлен под сомнение. Оставалось ждать, что скажет Верховный Суд. В постоянной тюремной тишине у меня очень обострился слух, и, когда где-нибудь открывалась дверь камеры, я чутко прислушивался, прильнув к своей двери, в надежде услышать фамилию заключенного, вызываемого на допрос. Или подслушивал разговоры надзирателей между собой. Так я постепенно узнал их фамилии. Иногда слышал разговоры в соседних камерах. С прогулки шел мимо камер медленно и тоже вслушивался. Слышал однажды обрывок спора о Венгрии в какой-то камере. На свободе люди начали уже забывать об этом, а здесь все еще говорили о Ракоши, Имре Наде, Миндсенти...

Мне снился почти каждую ночь один и тот же сон: будто я тайком ухожу из тюрьмы, но к подъему мне нужно непременно сюда вернуться, и притом так, чтобы охрана не заметила, что я отсутствовал. Вся трудность заключалась в том, чтобы незаметно проникнуть назад в тюрьму, нужно было во что бы то ни стало это сделать, и это никак не удавалось. Проснувшись, открыв глаза и увидев голые тюремные стены, я всегда облегченно вздыхал: слава Богу, удалось! Я вернулся, я здесь, в своей камере.

Иногда были вариации: убежав из тюрьмы, я приходил домой (в свой курский дом), мачеха ставила на стол картошку, отец расспрашивал, как живется в тюрьме, мачеха, как обычно, жаловалась: все дорого, денег нету... А мне надо было спешить, некогда было сидеть здесь — к 6 утра я должен был вернуться в камеру. Что будет, если надзиратель, открыв кормушку, обнаружит пустую койку?!

Другие заключенные рассказывали мне, что им тоже порой снился подобный „лобег наоборот”.

В ноябре меня повели на свидание: из Курска приехал отец. От него пахло водкой (видимо, пропустил граммов сто для храбрости). Сразу же он накинудся на меня с бранью:

— ... твою мать! Зачем тебе все это было нужно?! Тоже мне политик нашелся! Я б тебя отлупил как следует, чтобы ты знал...

Ругань у него смешивалась со слезами. С нами был надзиратель, и отец, я чувствовал это, хотел подчеркнуть свою лояльность.

— Помните, вы мне сами когда-то говорили, — сказал я ему в ответ, — что мне надо посидеть в лагере, что это полезно для каждого. Вот я и поеду скоро в лагерь.

Он еще больше разозлился:

— У тебя пятьдесят восьмая статья! Ты знаешь, что такое пятьдесят восьмая? Враг народа!

Но постепенно он успокоился и стал расспрашивать:

— Хлеба хватает? А вши, вши есть?

Он слишком хорошо помнил Колыму, помнил и я, как буквально сметала моя бабушка вшей с его нижнего белья, прежде чем начать стирать, когда он вернулся домой. Но то был 1947 год, когда вши были не только на Колыме, но почти в каждом доме.

Он слишком хорошо помнил Колыму и не представлял себе, что мы здесь в совсем иных, королевских, можно сказать, условиях по сравнению с его лагерями на Колыме.

Я спросил его, что он слышал об амнистии. Он достал из кармана газету:

— Амнистия есть, но не для пятьдесят восьмой.

Я сказал, что 3 года — срок небольшой, тем более, я просидел уже более полугода. А в лагере есть „зачеты”: один день за три. Таким образом, меньше чем через год я буду дома.

Свидание длилось полчаса, и, обматерив и поцеловав меня на прощание, отец ушел. Мне не суждено было больше увидеть его, он умер, не дождавшись моего освобождения.

В Ленинграде отец встречался с Орловским. Трудно себе представить более непохожих людей, чем мой отец и Эрнст Орловский. Тем не менее, отец проникся к нему уважением. Орловский дал отцу книгу Джона Рида *10 дней, которые потрясли мир*, и отец, вернувшись в Курск, пробовал ее читать, но, как и в случае с *Кратким курсом* Сталина, не смог одолеть.

У других заключенных были порой более драматические

отношения с родителями. У одного из участников трофимовского „Союза коммунистов” отец был полковником МВД, и сын отказался разговаривать с ним на свидании.

Малыхин отказался от свиданий с матерью, потому что та рассказала в КГБ, что он хотел бежать за границу.

У Пименова же отец сидел в московской тюрьме КГБ: здесь не было конфликта „отцы и дети”. Прокурор Демидов на нашем суде сказал о роли его отца в „преступной деятельности Пименова” и в подтверждение этого процитировал письмо Пименова отцу в 1952 году, где говорилось: „Ты научил меня думать самостоятельно”.

Итак, амнистия нас не коснулась, хотя многие на нее надеялись. Но впереди был лагерь и пресловутые „зачеты”, которые могли сократить срок — подумать только! — в три раза. О зачетах нам рассказывали заключенные, которых в нашу тюрьму привозили уже из лагеря.

С Даниловым сидел один бывший курсант военного училища, которого посадили за недоносительство: его товарищ убежал за границу, он знал, что тот готовит этот побег, но не донес властям. Ему дали 2 года, и он был уже в лагере, когда Генеральный прокурор опротестовал этот приговор, и теперь курсант сидел в тюрьме, ожидая освобождения.

Встречались и другие лагерники. Словом, мы уже мечтали о лагере, об общении с людьми. Как и герои *Архипелага*, мы надеялись: в лагере будет лучше! И не могли оценить прелести одиночества, возможности углубленно думать, заниматься. Пименов со своей геометрией был мудрее остальных. Я не был таким усидчивым, часто трудно было сосредоточиться: отвлекали посторонние мысли, звуки в коридоре, перестукивания. Я пробовал читать по-английски — трудно, скучно. Уровень школьных знаний был таков, что на одно знакомое слово встречалось пять незнакомых. Я не хотел отстать от своих сокурсников и, зная, что они сейчас изучают политэкономия, попросил библиотечаршу принести мне учебник. Мне принесли единственный в то время учебник Поспелова, по которому учились все студенты. Я стал вгрызаться в „гранит науки”. Учебник этот был написан так сухо

и догматично, что, я думаю, мог навсегда отбить охоту к Марксу и политэкономии у кого угодно. А уж у студентов, для которых изучение этого учебника было обязательным, тем более.

Первую часть — „политэкономия капитализма” — еще можно было читать, но там не было ни одной мысли автора, это был мертвый конспект *Капитала*, но не процесс мысли Маркса, а лишь результат. Зато вторая часть — „политэкономия социализма” — представляла из себя ужасную тарбарщину. Я читал это с большим напряжением, почти как на английском языке.

Поспелов сумел внушить мне отвращение к этим проблемам, и уже после его *Политэкономии* я не просил ни Маркса, ни Энгельса. Я стал читать Метерлинка. Это было более увлекательное чтение.

Но, конечно, и общение с Пименовым, и чтение нашей машинописной литературы, где доминировала идея рабочих советов, — все это делало меня социалистом, если может называть себя таковым человек 18-ти лет. Пименов как-то, еще до ареста, отметил, что меня больше интересуют экономические вопросы. Сам он считал их второстепенными. С Трофимовым мы тоже много говорили о Марксе и Ленине, он продолжал считать себя коммунистом, „настоящим коммунистом”, ленинцем. „Мы, коммунисты, — говорил он, — и вы, пименовцы-социалисты, — мы все должны объединиться против сталинизма, за демократизацию”.

В декабре нас всех уведомили, что Верховный Суд СССР удовлетворил протест прокурора г. Ленинграда и, считая наши приговоры чересчур мягкими, постановляет судить нас вновь, в другом составе суда.

Новый, 1958 год я встретил в одиночной камере. Получил остроумную записку от Заславского: „С Новым Годом! С новыми годами!” — намек на то, что вскоре все мы получим новые, более тяжелые сроки.

В январе ко мне пришел новый, назначенный мне судом, адвокат. С места в карьер я спросил его:

— Вы член партии?

— Да, — ответил он.

— Как же вы будете защищать меня, который обвиняется в деятельности против партии?

— Мы, советские адвокаты, — сказал он, — всех защищаем: бандитов, убийц, контрреволюционеров. Вы можете мне доверять. Ни один адвокат никогда не был осведомителем.

— А что вы думаете о Венгерской революции?

— Какая революция! — воскликнул он, багровея. — Путч, попытка реставрации капитализма!... Да я сам освобождал Венгрию во время войны! Наше правительство правильно поступило...

Мы с ним поговорили еще с полчаса. Он сказал, что будет строить мою защиту только на моей молодости (что делал, впрочем, и адвокат на первом суде). Я сказал, что в таком случае я отказываюсь от его услуг и буду сам себя защищать. Я надеялся, что смогу убедить адвоката защищать меня в принципе. Одна лишь ссылка на молодость не устраивала меня.

— Пожалуйста, ваше право, — сказал он.

И, когда начался наш новый суд, я сразу заявил об отказе от этого адвоката. Однако судьи сочли мое ходатайство немотивированным, и адвокат остался при мне.

Этот второй суд был сокращенным повторением первого, но чувствовалась большая жестокость судей и прокурора, над которыми довлело указание Верховного Суда. Каждый из нас получил примерно в 2 раза больше, чем раньше: Пименов — 10 лет, я — 6, Заславский и жена Пименова — 5, Данилов — 4 года. Мы снова решили писать кассацию, хотя и Данилову, и мне хотелось скорее попасть в лагерь.

В нашей тюрьме мы были уже старожилками, надзиратели привыкли к нам, некоторые оказывали нам мелкие услуги: передавали наши записки друг другу, например. (Впрочем, у нас не было уверенности, что эти записки не читают в КГБ.) Они уже не смотрели так часто в „глазки”, потому что и так знали, что Пименов беспрерывно пишет, я хожу из угла в угол через каждые полчаса чтения.

После второго суда, уже перед самой отправкой в лагерь, нам стали давать свидания. Было удивительно, что свидания давались не только с родственниками, а вообще с кем мы хотели. Начальник тюрьмы сказал мне, что я могу говорить все, что угодно, меня не будет перебивать присутствующий надзиратель. Когда меня повели на свидание с моим товарищем Адамацким, надзиратель шепнул мне: „Смотри! Вас там будут прослушивать!” Но я и сам уже догадался, что, по всей вероятности, там установлены микрофоны. Не знаю, где они там были вмонтированы — возможно, в столе, который представлял из себя ящик по форме. Нас действительно не перебивали, как это обычно бывает, и я рассказывал Адамацкому про тюремные порядки.

Пименову дали свидание с женой, надзиратели предупредили и их о подслушивании. КГБ, видимо, считало, что знает еще не все о нас, и рассчитывало получить дополнительную информацию.

Дали мне свидание и с девушкой, в которую я был немного влюблен перед арестом. Она продолжала учиться в библиотечном институте. Между прочим, она сообщила мне, что Хрущев теперь совмещает две должности: первого секретаря и председателя Совета министров. Я ей не поверил: ведь Хрущев только год назад обвинял Сталина именно в этом. Я решил, что в голове девушки что-то перепуталось, так как ни одна наша студентка вообще не могла бы объяснить, чем отличается должность первого секретаря от председателя Совета министров. Это было труднее, чем мне отличить шелк от крепдешина.

Недолгое время я сидел в одной камере с протестантом нового типа. Это был рабочий И. И. Багрецов. Но для того времени он был нехарактерным рабочим: у него было 10-летнее образование, тогда как у основной массы рабочих тех лет было 5-6 классов. Багрецов был старше нас, участвовал в войне. У него была семья, дети, то есть, в отличие от нас, он должен был быть более осторожным. Багрецов работал наборщиком в маленькой типографии, печатавшей материалы по заказам Министерства легкой промышленности.

И вот, оставаясь по ночам на сверхурочную работу, он печатал листовки, приуроченные к выборам в Верховный Совет. Он призывал избирателей не голосовать за Хрущева, Козлова, Фурцеву, которые „погубят страну”. Там не было выпадов ни против партии в целом, ни против системы — лишь против руководящей группировки. Ценность этой листовки, я полагаю, была снижена тем, что там стояли слишком уж вольные эпитеты: „подхалим Козлов”, „проститутка Фурцева”. Багрецов говорил, что в типографии не хватало бумаги, и поэтому для своих листовок он покупал тетради в клеточку, на этой бумаге и печатал. Листовок было несколько сот. Он ходил по домам и опускал их в почтовые ящики квартир. Однажды он с женой пошел в универмаг покупать себе пальто. В одном кармане у него лежали деньги на пальто (тысяча с лишним рублей), в другом — сотня нераспространенных еще листовок. Его арестовали в универмаге, привезли на Литейный, сделали личный обыск. Эффектно разложили на столе листовки и деньги и сфотографировали. Получалось как бы, что между деньгами и листовками есть непосредственная связь. Уж не шпион ли он иностранных разведок, разбрасывающий за большое вознаграждение листовки? Рогов все добивался от него, кто „завербовал” его, кто ему дал „задание”?

Багрецов сказал Рогову, что жалеет, что не успел выпустить десятки тысяч подобных листовок. Этот человек был мужественным одиночкой, трезво решившим идти „вабанк”. Он получил максимум — 10 лет. Без сомнения, это был необычный рабочий. Он, например, даже слышал о Цветаевой, а в то время это имя знал не каждый интеллигент. Я воспринял его как предвестника нового типа образованного советского рабочего.

4. ДРУГАЯ РОССИЯ

В марте, наконец, нам сообщили, что Верховный Суд отклонил наши кассации, и нас стали увозить. В апреле пришли за мной, велели „собрать вещи” и повезли на вокзал, точнее, к тюремному вагону вдалеке от вокзала, чтобы нас, заключенных, никто не мог увидеть. Я был единственный политический в этой партии, и всеобщее удивление вызывало то, что я не был острижен.

Неясно было, куда нас везут: из Ленинграда могли везти куда угодно. Но постепенно выяснялось, что поезд идет на Восток. Значит, не в Архангельск, значит, едем на Урал или в Сибирь.

Меня посадили отдельно от всех (политическую статью, как правило, всегда отделяли от уголовников). Но переговариваться со спутниками я мог. На дорогу я получил в тюрьме 3 больших рыбины и 3 буханки хлеба. Это значило, пояснили мне попутчики, что до ближайшей пересылки мне надо будет ехать трое суток.

Мы проехали города Киров и Молотов, который снова уже назывался Пермь. Здесь некоторых из нас высаживали, других заводили. Уголовников набивали в „купе” до предела, я же барствовал один в купе, рассчитанном минимум на

троих. Кроме политических, отдельно должны были содержаться женщины и „малолетки” (те, которым не было 18 лет). На каком-то перегоне ко мне ввели двух малолеток. Для проформы им приказали со мной не разговаривать. Малолетки, которые были ненамного моложе меня, увидели, что я неохотно ем рыбу (после нее сильно хотелось пить). Я отдал ее им. Они в момент уничтожили ее, только кости хрустели.

Нас привезли в Свердловск, но дальнейший путь следования оставался неизвестным. Здесь мы должны были неопределенное время содержаться в пересыльной тюрьме. Поэтому из вагона всех пересадили в „воронок”. „Воронок” подъехал к тюрьме, нас вывели и завели, как это было положено, в „прожарку”. Здесь мы должны были раздеться, нацепить всю свою одежду на специальные крюки и сдать ее „прожарщику”, который в специальном помещении прокаливал ее в гигиенических целях. Нас же должны были отвести в баню. Здесь, в „прожарке”, мы сидели голые, и я впервые мог рассмотреть своих спутников, от которых меня отделяли в вагоне. Их было человек 20, это были молодые и средних лет уголовники, отсидевшие уже много лет в лагерях и тюрьмах, с множеством татуировок на руках, спине и даже — у некоторых — на ягодицах. Я для них был какой-то белой вороной, случайно залетевшей в их стаю. Здесь, среди голых людей, состоялось мое первое интервью. Они все меня расспрашивали, я отвечал. Вопросы были сугубо политическими. Особенно они расспрашивали меня о Бериин. Я сказал, что, конечно, не думаю, что он был шпионом, но уж смертную казнь он заслужил. Они были удивлены. Они считали, что Берия — их защитник, он сделал такую большую амнистию в 1953, по этой амнистии все они тогда вышли на свободу (правда, вскоре были снова арестованы). Я сказал, что Берия уничтожил много невинных людей. Они ответили, что, может, он сделал это затем, чтобы народ не выдержал и восстал против правительства.

Они расспрашивали меня о моем отношении к Ленину, Сталину, Троцкому. Большая ли у нас была организация? Нет ли наших людей в правительстве?

На прощанье один из них, который, это чувствовалось, обладал среди них большим авторитетом, чем другие, сказал мне:

„Когда придете к власти, пожалуйста, не забывайте о нас, ворах. Нам ничего не надо, только амнистии почаще делайте”.

После бани нас вывели на тюремный двор и стали по 2-3 человека уводить в камеры. Был вечер, я стоял перед кирпичной стеной тюрьмы, из окон камер, закрытых намордниками, неслась музыка (на пересылках радио разрешено и дают газеты). Вдруг я услышал вальс Хачатуряна к драме Лермонтова *Маскарад*. Это было как озарение: слушая эту бессмертную музыку, я вдруг понял, что начинается какая-то новая для меня жизнь, я попал в иной мир, в какую-то другую страну, невидимую для глаза обыкновенных вольных людей. Это была страна в темно-коричневых тонах, и она не сулила ничего хорошего.

Все это я слышал и как бы видел в мелодии хачатуряновского вальса. И, вслушиваясь в него, я, казалось, слышал призыв быть мужественным.

Каждый воспринимает музыку по-своему. Но с тех пор, слушая этот вальс, я вижу внутренний двор свердловской пересылки, своих молчаливо ожидающих спутников и вспоминаю это чувство вхождения в новый мир.

Меня ввели в мрачную камеру, где уже сидел какой-то человек. Он рассказал мне, что много лет сидел за воровство, а недавно в уголовном лагере сделал какое-то выступление против Хрущева. И вот теперь он получил политическую статью и считается политзаключенным. Я стал рассказывать ему о себе, и он в какой-то момент прервал меня: „Постой, мне так смешно: ты вот все время говоришь и не материшься! Я так не могу!”

Целыми днями он расспрашивал меня о „свободе”, где он давно не был. Когда я рассказывал ему, как живут студенты, он удивлялся: „Денег не хватало? А почему вы не воровали? Ну, может, ты и не воровал, а другие-то воровали? А девки? Девки, наверно, собой подрабатывали? Ну-ка, расскажи мне лучше про девок...”

Однажды мы гуляли с ним на прогулочном дворе, а на вышке стоял не солдат, а ... заключенный с винтовкой. Я был очень удивлен, но мой сокамерник разъяснил мне, что это „самоохрана“, что во время и после войны это было сплошь и рядом: заключенные охраняют заключенных. Но это был первый и последний „самоохранник“, которого я видел: этот институт прекратил свое существование.

Несколько дней просидел в нашей камере один заключенный, которого везли из Сибири в Москву. Тоже бывший уголовник, он живо интересовался политическими вопросами. Он сказал мне, что меня везут в „Озерлаг“, который расположен в Иркутской области. Он знал это методом исключения: раз Воркута и Мордовия остались позади, а на Колыму практически новых заключенных уже не посылали, значит, одна дорога — в Озерлаг.

Он подогрел мое воображение рассказом о том, что в лагерях существует много нелегальных организаций. В частности, он говорил о каких-то „ленинцах“. У них-де есть связи и на верхах. Я спросил его:

— А как разыскать эту организацию?

Он загадочно усмехнулся:

— Не беспокойся, эти люди сами к тебе подойдут.

Меня везли дальше на Восток. Теперь я ехал в „купе“ с пожилым человеком: борода клинышком, умные глаза. Был он латышом, о себе говорил мало. По его словам, он сидит в Омской области, но не в лагере, а „за зоной“ (существовало недолго для некоторых категорий заключенных такое „законное проживание“, разновидность „бесконвойки“). Сейчас его возили в Ригу, теперь везут обратно. Он сказал мне, что он „настоящий политзаключенный“, тогда как мне будут попадаться „не настоящие“. Настоящий политзаключенный, объяснил он, никогда не будет разговаривать с надзирателями, своими тюремщиками. Он считает это ниже своего достоинства. И уж тем более настоящий политзаключенный не имеет права ругаться матом. Обращаться друг к другу нужно только на „вы“ и по имени-отчеству.

Кроме того, Карлос Луцис (так его звали) советовал мне заниматься йогой: рассказывал, как нужно пить воду сначала одной ноздрей, потом другой...

Когда нас высадили в Новосибирске, я удивился, что старшина, принимавший нас в тюрьме, знал Луциса, дружелюбно поздоровался с ним первым. Тут нас развели.

В лагере я рассказал о Луцисе латышам. Они были удивлены: „Где ты его видел? Его еще не убили?“ Оказывается, этот Луцис был то ли министром, то ли замминистра внутренних дел Латвии, и как сподвижника Берии его арестовали и судили. Но он уничтожил многих латышей, и теперь власти всячески изолируют его, особенно от латышей. И, конечно, живет он в привилегированных условиях, „за зоной“.

В Новосибирской пересыльной тюрьме перед баней меня наголо остригли. Я сначала сопротивлялся. Но сержант спокойно сказал: „Будешь сопротивляться, наручники наденем. Все равно пострижем“. Уголовники советовали мне подчиниться: не только, мол, наручники наденут, но и избьют. Новосибирская пересылка — это тебе не свердловская. Они знали все пересылки и тюрьмы страны — и где какие порядки, и где как кормят.

Здесь в камере я познакомился с двумя очень разными людьми: один был до ареста вполне советским человеком и работал в отделе кадров какого-то сибирского завода, попал за „антисоветскую пропаганду“. Второй был одесский немец, обвиненный в соучастии при расстреле 5000 евреев. Эту группу одесских немцев — человек 9 или 10 — арестовали только теперь, в 1957 году. Всем им дали по 25 лет. Когда Отто спрашивали о его сроке, он говорил: „До конца советской власти“. Я думаю, что эти немцы непосредственно не расстреливали евреев, но членами „СС-зондеркоманд“ они все-таки были.

Оба новых моих знакомых нравились мне своим спокойным, уравновешенным характером. Во время войны они воевали друг с другом на фронте, а теперь делили между собой одни и те же нары. Вместе с ними я сидел в Новосибирске,

потом мы вместе ехали в Красноярск, из Красноярска нас повезли в Тайшет. Здесь, в Тайшете, мы и оказались в знаменитом Озерлаге (что должно, наверно, означать „озерный лагерь”, но никаких озер здесь не было).

Нас принял лагерь № 601 — пересылочный. Все прибывавшие в Озерлаг попадали в этот лагерь. Здесь происходила сортировка, отсюда заключенных отправляли дальше — по лагерям на восток, на „трассу”. После войны заключенные и японские военнопленные строили здесь дорогу Тайшет—Лена, которую теперь взялись продолжать. Это сегодняшняя БАМ. Вдоль нее и были разбросаны лагеря, это по-прежнему называлось „трассой”. Тайшет же был „воротами” Озерлага и его самой западной точкой.

В 601 лагере было несколько сот человек. Одни ждали, когда их пошлют на „трассу”, другие отбывали здесь срок. Когда я зашел в барак, то увидел, что здесь полно людей: одни располагались на двойных нарах, другие — под нарами. Мне места не было.

Уголовники и политические здесь были смешаны. Новичков, прибывших с „воли”, обычно всегда опекает кто-нибудь из старожилов. С нар поднялся человек уголовного вида и семитской наружности: „Еврей? — спросил он меня. — Давай, располагайся рядом, они подвинутся”. И, действительно, место нашлось, только всем надо было спать на боку. Мой „опекун” был одесским вором, и на следующую ночь он под страшным секретом рассказал мне, что он и несколько его дружков „идут в побег”. Но им не хватает одежды „вольного” образца (все здесь были одеты в лагерные „костюмы” из х/б — хлопчато-бумажной ткани, и новичков всегда можно было узнать по одежде). Он просил меня дать ему что-нибудь из моей одежды. „Для святого дела — не жалко”, — подумал я и отдал ему брюки, рубашку, куртку. Через несколько дней он неожиданно исчез. Я поинтересовался его судьбой у его дружка, тот ответил: „Уехал на трассу”. Когда я сказал насчет одежды, он засмеялся. „Побег” был типичным трюком, обманом, на который „кляют” новички.

Однажды я разговорился с одним молодым уголовником

из группы, которая держалась несколько особняком от других. Потом другой уголовник спросил меня: „Ты о чем с ним говорил? Смотри, это педерасты” (в лагерях так называют только пассивных гомосексуалистов). Я с удивлением посмотрел на этих молодых людей. Действительно, в них было что-то женственное, и почти все они были блондинами.

О гомосексуалистах я слышал и раньше, но когда рассказывал о них старику Калекину в Ленинграде, то он отмахнулся от меня: „Русский человек этим заниматься не будет”.

Постепенно я стал знакомиться и с политическими заключенными. Был здесь поэт из Средней Азии — Геннадий Бешкарев. Арестован он был недавно. Его стихи мне нравились. Он показал мне однажды на хмурого человека с обрюзгшим начальственным лицом, гулявшего вдоль барака: „Это полковник Карпухин. Он к тебе обязательно подойдет и будет спрашивать о Молотове”. На полковнике была накинута добротная офицерская шинель со следами недавно отпоротых погон. Он действительно вскоре заговорил со мной, расспрашивал, за что я сижу. Что говорят в Ленинграде о Молотове, Маленкове, Кагановиче? Нет ли слухов, что они намерены взять реванш над Хрущевым?

Карпухин сидел за сочувствие к „антипартийной группе”. Вся его вина заключалась в том, что он напечатал на своей служебной машинке письмо в защиту этой группы и с выпадами против Хрущева и послал его в ЦК. Несколько месяцев спустя его вызвали в Иркутское УКГБ — дело было в Иркутске — и молодой лейтенант показал ему его письмо. Потом сорвал с него погоны, и Карпухина увели в подвал — во внутреннюю тюрьму. Он получил 8 лет, и теперь надеялся, что „антипартийная группа” придет к власти и тогда его выпустят.

С ним позже судьба меня столкнула ближе.

Были здесь и различные религиозные группы, прежде всего — „Свидетели Иеговы”, которых госбезопасность сажала в больших количествах по всей стране. Я познакомился с двумя иеговистами (так называет их советская

печать), совсем молодыми, из Молдавии, и они охотно беседовали со мной. По их учению, приближается конец света, и спасутся только члены их секты. Я предложил им изучать эсперанто, т. к. на каком языке будут говорить спасшиеся? Поскольку это люди разных наций, им необходим интернациональный язык.

Интересно, что когда иеговистов судили, то на традиционный вопрос о национальности, они всегда отвечали: „**Бывший** украинец“, „**Бывший** молдаванин“ и т. д., ибо, став членами этой секты, они принадлежали теперь как бы Богу, а не той или иной нации или государству.

Эти молодые молдаване стали изучать эсперанто, но потом в лагере появился один из лидеров иеговистов. Он запретил им это делать. Я беседовал с ним.

— На каком языке будут говорить оставшиеся после Армагеддона люди? — спросил я его.

— На языке любви, — ответил он.

— А что это за язык? — спросил я.

— Язык любви, — сказал он.

— А эсперанто? — спросил я.

— Он нам не нужен.

Потом я догадался, что такое „язык любви“. Это, очевидно, вид телепатии, когда люди понимают друг друга без слов. В этом что-то есть...

Наконец, меня вызвали на этап на „трассу“. Нас была партия — человек 20, и конвойный выкрикивал фамилии, и нужно было отвечать статью и срок. Рядом со мной стоял молодой хромой человек. Он отозвался на фамилию „Черепов“ — статья 58-2. Я никогда еще не встречал людей с этой статьей, но знал, что она означает „вооруженное восстание против советской власти“. Но когда было у нас последнее вооруженное восстание? Я спросил его об этом. Он посмотрел на меня подозрительно и ответил: „Эта статья у меня — за участие в восстании заключенных в Норильске. Слышали о таком?“ Он был талантливый поэт, и я до сих пор помню наизусть несколько его стихотворений.

Нас привезли в лагерь № 19 или ДОК (Деревообделочный

комбинат, где работали все заключенные этого лагеря и много вольнонаемных). Этот лагерь был уже только для политических, но, кроме них, здесь были также и иностранцы — уголовники, в основном контрабандисты. Сколько языков и наций здесь смешалось! На „улицах” была слышна многоязычная речь. Здесь были корейцы и китайцы с советского Дальнего Востока (китайцы работали, как правило, на кухне и в прачечной), японцы, оставшиеся со времен советско-японской войны, афганцы, персы, греки (из тех, кто приехал в СССР из Греции после 1948 года), поляки, немцы-„фольксдейч”, прибалты, множество украинцев... Русские не были здесь большинством. Здесь было много и „военных преступников”, и если бы сейчас одеть заключенных в ту форму, какую они носили во время войны, то здесь, наверное, были бы представлены все армии Второй мировой войны и силы Сопротивления (например, русские, участвовавшие во Французском Сопротивлении) и коллаборационисты разных стран. И люди из нацистских концлагерей тоже были здесь.

Когда я зашел в лагерную парикмахерскую, то был удивлен, увидев на столах массу польских иллюстрированных журналов. Позже я узнал, что польское посольство в Москве заботится о заключенных поляках и присылает сюда много журналов. Многие поляки уже уехали в Польшу, другие ждут своей очереди, а есть такие, о ком идут споры — поляки они или западные белорусы (или западные украинцы).

В лагере еще существовал либерализм послесталинского времени. Правда, начальство не обращалось к заключенным „товарищи”, как это было кое-где в 1954-55 годах. Но можно было иметь при себе фотоаппараты (вышки и колющую проволоку фотографировать, конечно, запрещалось), ходить в жилой зоне в одежде „вольного” образца, носить волосы. „Красный Крест” ряда стран слал в лагеря посылки своим гражданам.

Но это еще не все! В лагере была, кроме обычной, так называемая „коммерческая столовая”: можно было питаться не лагерной баландой, а более нормальной человечес-

кой пищей, но зато, конечно, удерживали приличную сумму из заработка. В этой коммерческой столовой можно было, например, заказать торт! Заключенные 70-х годов вряд ли поверят в такие поблажки, но это действительно было. Однако, именно в последний год лагерного либерализма (1958) эта столовая и была закрыта.

Был, как и теперь, лагерный ларек. Но только тогда в нем были такие товары, которых сейчас нет не только в лагерях, но и во многих городах на „свободе”. Например, сгущенное молоко. Были там также растительное масло, белый хлеб. „Отовариться” в этом ларьке можно было не только на заработанные в лагере деньги, но и на полученные от родных. Вскоре и эта „поблажка” была отменена.

Посылки можно было получать тогда также хоть каждый день. Приходили посылки и из-за границы: от Красного Креста и от родственников — из ФРГ, Польши, США... Без ограничений можно было получать и книги — и от друзей, и заказывая их в магазинах.

Письма можно было посылать и отправлять без ограничения. Конечно, существовала цензура, но когда в лагере более тысячи человек и переписка не ограничена, то цензоры не успевают читать всех писем.

Но самое важное, самое существенное, что было тогда и чего нет сейчас, — это „зачеты”. Принцип „зачетов” заключался в следующем: если заключенный работал на физической работе и выполнял более 120% нормы, то один отработанный день ему засчитывался как 3 дня срока заключения; если же он не выполнял нормы, то никаких зачетов ему не полагалось. Для „придурков” же (библиотекарей, дневальных, учетчиков, хозобслуги) один день засчитывался как 2 дня, при работе без взысканий. Таким образом, в идеале 25 лет можно было отсидеть за 9 лет и 4 месяца (выходные дни выпадали из этой системы). Но это только в идеале, так как зачеты ввели только несколько лет до этого. Кроме того, не все могли выполнять нормы. Однако зачеты были таким мощным стимулом к труду, что были заключенные, которые просили начальство разрешить им работать и в выходные дни.

Некоторые, у которых было не 25, а 8-10 лет, успели к 1958 году освободиться благодаря этим зачетам. Поэтому, когда меня спрашивали о моем сроке и я отвечал: „6 лет”, то обычным был возглас: „Чепуха! Через пару лет освободишься”.

Существовало наказание, бывшее самым тяжелым, — лишение зачетов: за какую-нибудь провинность можно было лишиться части или даже всех зачетных дней.

Зачетами жили. Каждый заключенный вел свой собственный календарик, где перечеркивал каждый прожитый день и какой-то далекий еще день 1965 (или 1972) года, за который он отработал сегодня. Кроме того, в „спецчасти” лагеря специальные работники вели учет зачетов на каждого заключенного, и время от времени можно было подать туда заявление с вопросом: „Когда у меня конец срока?” И был ответ скажем: „25 августа 1972 года”. А через год — другой ответ: „30 сентября 1970 года”. И так далее. И это всегда волновало, и каждый боялся, что его могут обмануть, намеренно или нечаянно.

Вообще в этом лагере преобладали большие срока: 25, 20, реже — 15 или 10 лет. Надо мной и другими новичками всегда смеялись: „Детский срок!” А учитывая зачеты, мои 6 лет действительно казались смехотворными.

Впервые в этом лагере я испытал на себе антисемитизм, исходящий от военных преступников разных национальностей. Впрочем, один бывший гестаповец сказал, глядя на меня в упор: „Нет, ты не чистый еврей. Но по глазам вижу, есть у тебя еврейская кровь. Может, половина, может, четверть. Но есть.”

Я спросил, как может он так определять. Он расхохотался: „Нас же учили!”.

Антисемитизм коллаборационистов меня не очень волновал. Задевало другое: они ненавидели меня еще и как вчерашнего комсомольца. Помню, я проходил мимо группки полицаев (или гестаповцев?), и один из них громко сказал своим товарищам, указывая на меня: „Сволочь, комсомолец. Не попался мне в 41-м!” Я сделал вид, что не слышал

этого. Внутренне я негодовал: почему они не могут понять, что раз я здесь, то, значит, я уже не комсомолец, и что я вообще сижу за „дело"! Но они-то считали мне подобных людьми случайными, а себя — борцами с „жидами", „коммунистами" и „комсомольцами". Они говорили, что признают единственный способ борьбы — с автоматом в руках. Впрочем, среди военных преступников они были в меньшинстве. Большинство же помалкивало, „честно трудилось", всячески угождало лагерному начальству и готово было служить любому режиму в стране.

В категорию военных преступников попадали и власовцы. Только с одним из них я был в хороших отношениях, остальные, с кем довелось делить кусок хлеба, не внушали мне доверия. Конечно, было среди них много обыкновенных, безобидных, несчастных людей, но я сейчас говорю о тех, кто выделялся из общей массы либо как идеолог, либо в силу своего офицерского чина.

Многие в своих разговорах вспоминали Гитлера. С одним эстонцем-гестаповцем мои друзья проделали однажды такую шутку: глубокой ночью разбудили его, и один заорал: „Хайль Гитлер!" Эстонец вскочил с нар и выбросил руку в нацистском приветствии: „Хайль!" ... Глубоко еще сидела в них нацистская выучка.

Был летом 1958 года в этом лагере такой случай. Из Москвы прибыл „свежий" заключенный — адвокат Аронов. Он поселился в бараке, где преобладали гестаповцы. Наивный человек, он не скрывал свою принадлежность к адвокату. Почти в первый же день его побили и выгнали из барака. „Все вы заодно — прокуроры и адвокаты", — говорили гестаповцы Аронову. Думаю, тут сыграла роль и национальность Аронова.

Позже, в других лагерях, мне попадались бериевцы, но я ни разу не слышал, чтобы их избивали.

Итак, наслышанный о зачетах, о такой зримой и реальной перспективе досрочного освобождения, я с первых же дней стремился попасть скорей на работу, где мог бы получать „один к трем". Меня определили в одну из бригад, и первое,

что я сказал бригадиру, было: „Меня не интересует зарплата — мне нужны зачеты”. Помню первый свой рабочий день. Меня и еще одного заключенного поставили выгружать вагон с опилками. Оказалось, что это не так-то легко: через час я был уже мокрый от пота. Мы сели перекурить. Он оказался режиссером из какого-то сибирского театра, арестованным совсем недавно. Как и я, по статье 58-10. (Нам, арестованным по этой статье за „антисоветскую пропаганду” коллаборационисты дали кличку „язычники”, т. е. арестованные „за язык”, — „болтуны” иначе.)

После короткого перерыва — снова за работу, и часа через три я окончательно обессилел.

— Когда мы выгрузим этот вагон, это будет, наверное, 200% нормы? — спросил я его, все время помня о зачетах.

— Что ты, — ответил он, — чтоб получить 100%, нам с тобой надо выгрузить 2 таких вагона!

— Ну это же невозможно! Значит, нам не видать зачетов?!

Он успокоил меня: мы работаем, как можем, в полную силу, и бригадир нам поставит больше 100%. Поведал мне о „туфте”, о приписках, о том, что если бригада работает хорошо, то все члены бригады получают зачеты. Как там выкручивается бригадир — его дело. Но если мы не „филоним” (не лодырничаем), то за зачеты не нужно опасаться.

Когда я пришел с работы в барак, то смог только растянуться на нарах и лежать так до отбоя, с ужасом думая о завтрашнем дне. Нелегко же достаются эти зачеты! Особенно, когда год провалялся в тюрьме. Да и работать-то в жизни почти не приходилось...

Потом меня ставили на различные работы, так или иначе связанные с деревообработкой. То надо было стоять у конвейера и сортировать шедшие по нему отходы. То стоять у драночного станка, где моим напарником был старый заключенный, сидевший с незапамятных времен. Он все учил меня, что работать надо без суеты, экономя каждое движение, и все вспоминал какой-то Центральный институт труда в Москве в 20-е годы. Он учился или работал в этом институте у какого-то Гастева, которого потом, в годы террора,

расстреляли. Он удивился, что я ничего не слышал о Гастеве. „А про Тейлора ты слышал?” Теперь он решил приобщить и меня к работе в ритме этих „потогонных систем”.

Ставили меня и к огромным стеллажам с 6-метровыми лесинами. И я, вместе с другими, должен был накатывать их железными баграми на ленту транспортера. Работа была опасная. Однажды я с ужасом увидел, что на меня катится с высоты такое толстое 6-метровое бревно. Бежать было некуда и некогда. Еще секунда — и оно переломало бы мне ноги, но я совершенно без участия сознания выставил перед собой багор. Бревно остановилось, согнув мое орудие труда. Но я был спасен. Вообще травмы там бывали частенько. Порой такое внезапное падение бревна было неслучайным: так переломали ноги одному стукачу. При отсутствии элементарной техники безопасности невозможно было установить, в чем причина, это могло произойти в любой момент с любым из нас.

Затем с месяц я работал в бригаде „отвозчиков”. Мы должны были грузить доски и брусья на вагонетку и вручную передвигать эту вагонетку, толкая ее от складов к цехам. На каждой такой вагонетке было несколько тонн сырой древесины. Работа эта считалась тяжелой, труднее, чем на драбном станке. Но и платили здесь больше: я получал до 300 (в том, дореформенном измерении) рублей в месяц. (Заключенный получает примерно 1/3 своей зарплаты. Остальное удерживается как плата за его охрану и оплата питания и одежды. Кроме того, удерживают деньги за адвоката, если его не нанимали твои близкие.) Заработок этот был неплохой, но работа — слишком для меня тяжелая. Вот почему я обрадовался, когда мне предложили однажды стать учетчиком: начальству лесозавода нужен был грамотный человек, умеющий переводить кубометры леса в тонны и обратно, составляющий отчеты и т. д. Главным недостатком этой работы было то, что она считалась „придурочной” и я мог получать за нее только один день зачетов, а не два, как до сих пор. Я колебался: разница в зачетах существенная, но все же соблазн „отдохнуть” победил, и я согласился.

„Придурком”-учетчиком был я недолго. Система „туфты”, царившая на лесозаводе, требовала от меня постоянных приписок. Я должен был обманывать других учетчиков, таких же, как я, заключенных, указывая в своих документах больший объем сданной им древесины, чем было сдано в действительности. Этого прежде всего требовали от меня рабочие, ибо от этого объема зависел их процент выполнения плана, а следовательно, и зачеты. Начальство лесозавода не говорило мне прямо, чтобы я завышал цифры. Я завышал их, но, видимо, недостаточно. И однажды я узнал, что снят с этой должности. Разумеется, никакого приказа мне не зачитывалось, просто перевели снова рядовым рабочим в ту же бригаду „отвозчиков”, где я был до этого. Но мне передали слова директора лесозавода (бывшего заключенного, оставшегося здесь, в Чуне, после освобождения): „Мне не нужны такие учетчики, которые не умеют воровать”.

Я уже говорил, что на ДОКе работали вместе с заключенными и вольные. Это были, в основном, бывшие заключенные, и занимали они „придурочные” должности: плановики, бухгалтеры, бракеры. Зарплата у большинства из них была низкой, и некоторые не отличались ни одеждой, ни внешним видом от заключенных. Пользуясь этим, они незаконно проникали в нашу столовую и таким образом экономили на питании. Заключенные относились к этому снисходительно, более того, часто предлагали этим вольным селедку с нашего стола, и те уносили ее домой. За это вольные могли отправить письмо заключенного обычной почтой, помимо цензуры, или принести в зону водку или чай.

В самом поселке Чуна жила группа девиц легкого поведения, высланных из Москвы во время знаменитого Всемирного фестиваля молодежи в 1957 году. Причина высылки их из Москвы, как рассказывали, заключалась в их благосклонности к иностранцам. Здесь, в Чуне, они не работали, промышляли случайной добычей. Они, например, встречали заключенных, только что освободившихся из нашего лагеря, которые, естественно, истосковались по женщинам за годы и десятилетия тюрьмы. Содержимое их карманов, а часто

и одежда, если она была приличной, становилось добычей этих сирен.

Москвички и москвичи, высланные в Сибирь за разного рода коммерческие и любовные связи с иностранцами, встречались мне позже и в Тюменской области. Все они были жертвами указа о „тунеядцах”.

Ну, а по эту сторону колючей проволоки, в лагере, преобладали жертвы войны, в основном, простые „исполнители”. Конечно, виновники массовых расстрелов были казнены, и здесь, в основном, находились лишь те, чья вина была лишь косвенной или недоказанной. Много было участников национальных движений военного и послевоенного периода. Здесь я впервые мог узнать, например, о Бандере, чье имя — усилиями советской пропаганды и вследствие антиукраинских настроений в самой массе народа — всегда ассоциируется со словом „бандит”. Лишь постепенно я понял, что бандеровцы — вовсе не бандиты, а люди, борющиеся за свою национальную независимость.

Но прежде всего я искал в лагере своих коллег — „язычников”, а среди них прежде всего студентов.

В день своего приезда я шел по главной „улице” лагеря, и навстречу мне попался седовласый, упитанный человек.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я его, — здесь есть ленинградцы? Студенты?

— Есть, — ответил он, улыбаясь, — вот я, например. Я учился в Ленинградской Военной Академии имени..., — это был бывший капитан власовской армии, и занимал он здесь высокопривилегированную должность нарядчика. Поговаривали, что он „стучит”. Жил он отдельно, не в бараке, а в „кабинке”, как и десяток других хорошо устроившихся придурков. В этой кабинке он однажды и был найден мертвым. Голова лежала отдельно от тела... Много было допрошено по этому делу, но виновники так и не нашлись.

— Нет, — сказал я ему, — я бы хотел познакомиться с молодыми.

— Я вас познакомлю, — и через несколько дней он меня действительно познакомил с молодыми ленинградцами.

Постепенно я познакомился со студентами из разных городов, преимущественно из азиатской части СССР и с Урала. Видимо, существовало географическое распределение: тех, кто был арестован в европейской части СССР, посылали в Мордовию и Воркуту, тех, кто был арестован в Азии, — в „Озерлаг”. Меня же послали сюда потому, что хотели разъединить с моими однодельцами: Пименов попал на Воркуту, Данилов и Заславский — в Мордовию (туда же попал и отец Пименова), жена Пименова оказалась в женском политическом лагере в Кемеровской области, а я — в Сибири.

Студентов привозили в Сибирь весь 1957 год, а потом — и 1958, группами и поодиночке. До 1957 года их почти не было: после 20 съезда выпущены были почти все, сидевшие за „антисоветскую пропаганду”. В эти годы я познакомился со многими студенческими группами, близкими нашей и трофимовской. Тут я впервые понял, что мы были не одиночки: по всей стране в эти годы стихийно возникали группки, часто называвшие себя „организациями” и „союзами”. Я встретил такие группы из Алма-Аты, Барнаула, Свердловска и других городов. Свердловская группа была марксистской и называлась „Экономическое равенство”. Члены алма-тинской группы на своих тайных собраниях торжественно сжигали свои комсомольские билеты. Все эти парни и девушки были всего лишь на 2-3 года старше меня. Некоторые обвинялись в распространении листовок.

Позже уже прибыла группа студентов из Московского университета (человек 7 или 8), также марксистски ориентированная. Они попали в лагерь за книгу Джиласа *Новый класс*. Ее называли группой Машкова.

Барнаульские студенты — 3-4 человека — сдружились с Череповым. Вечерами, после работы, сидели где-нибудь на травке за баракom, за кружкой ритуального чая, и я, проходя мимо, мог слышать обрывки их разговоров. Насколько я мог догадаться, он читал им лекции по истории философии, но с преобладанием йоги и вообще индийской философии. В то время вышла как раз книга С. Радхакришнана *Индийская философия*, и для некоторых она открыла целый новый

мир. Но Черепов рассказывал своим слушателям и об оккультизме, о таинственных „розенкрейцерах“, о Елене Блаватской. Вся эта проблематика казалась мне надуманной и далекой от жизни. Но мои сверстники из Барнаула были в восторге от Черепова, его рассказов, его стихов. „Прана“, „нирвана“, „транс“, „астральное тело“ — все это, казалось им, делало их свободными от лагеря, тяжелой работы, беспроектных серых будней.

Однажды и я был приглашен „на чай“ к Черепову, тоже слушал его стихи. Расспрашивал он меня и о моем деле. Выслушав меня, он с сильным волнением сказал:

— Я бы таких Пименовых судил бы — судил бы как преступников совести!

— Как это? — спросил я, не понимая.

— Потому что преступление, — сказал он, — преступление вовлекать в политику таких молодых людей, несовершеннолетних.

Я был удивлен и не знал, что ответить. До сих пор подобные разговоры я слышал только от следователей КГБ. Но от заключенного... Сидевшего за „вооруженное восстание“...

Но Черепову, с его заоблачных трансцендентных высот, всякая политика казалась мелка, и только жаль было тех молодых людей, которых „пименовы“ послали на „заклание“ в лагеря. Я этого не мог понять и больше не ходил к нему „на чай“.

Интересно, что когда человек попадает в тюрьму, то он фактически не приобретает и в тюрьме свободы слова. Казалось бы, чего бояться, раз ты уже и так в тюрьме? Оказывается, надо бояться. До суда надо бояться приговора (могут дать больше), а после суда надо бояться... нового суда. Ведь ни для кого не тайна, что и в тюрьме и в лагерях у КГБ есть свои осведомители. Получается, что страх — тотален, нигде от него нельзя избавиться: ни у себя дома, ни в холодном карцере в сердце Сибири. Всюду приходится остерегаться, что „стены имеют уши“.

Как только „новичок“ прибывал в лагерь, его сразу же

предупреждал кто-нибудь из „старожилов”: „Не общайся с такими-то — они стукачи”. Потом подходил другой старожила и под большим секретом сообщал о других стукачах, причем тут ты узнавал, что именно твой предыдущий собеседник, оказывается, стукач. В конце концов, приходилось руководствоваться собственным чутьем, которое, конечно, иногда подводило.

Самым печальным во всем этом был факт невозможности обрести, наконец, даже в самом последнем каземате свободу выражения. Все время надо было опасаться, оглядываться по сторонам, допуская, что другие могут оказаться доносчиками.

Сейчас, когда прошло 20 лет с тех пор и я живу в свободной Дании, где каждый может говорить все, что хочет, и критиковать как угодно Анкера Йоргенсена, или президента Картера, или папу Римского, я снова встречаюсь с этим страхом — страхом перед советским строем. Тут, конечно, человек не боится, что его арестуют. Он боится другого: его не пустят, например, в СССР туристом, советское посольство не даст ему въездной визы. Поэтому он отказывается подписать петицию в защиту какого-нибудь политического заключенного, петицию, в которой нет ни слова критики советского строя. Психологически эти люди уже готовы жить в тоталитарном государстве.

Однажды нас согнали на „политзанятия” (в лагере посещение политзанятий обязательно, иначе попадешь в карцер), где капитан культурно-воспитательной части читал нам лекцию об уголовном законодательстве. После лекции можно было задавать вопросы. И я задал вопрос: „Может ли по советским законам человек, приговоренный к смертной казни, просить перед смертью о встрече со священником?” Капитан был раздражен этим вопросом и вместо ответа спросил, как моя фамилия.

Друзья ругали меня за этот вопрос. „Идиот, ты только обратил на себя внимание начальства. Раньше ты был неразличим для КГБ среди тысячи других, теперь они сделают пометку в твоём досье „задавал провокационные вопросы”.

Нельзя выделяться из толпы, — учили они меня, — надо быть серым и незаметным. Новый срок заработать нетрудно: 'антисоветские разговоры' среди заключенных — это ведь та же 'антисоветская пропаганда'."

... Они не знали, что я был уже на пути к новому суду, к новому сроку.

Дело в том, что тот бывший капитан власовской армии познакомил меня-таки с ленинградцами, прежде всего, с Олегом Синкевичем, молодым человеком, проявившим ко мне большой интерес. Олег попал в лагерь в 15 лет за угон мотоцикла. В уголовных лагерях много читал, занимался, и в 1956 году его уже в лагере судили по политической статье. Однажды, вскоре после нашего знакомства, он с места в карьер сказал мне, что в лагере создается подпольная организация, и пригласил меня на их конспиративное заседание. Меня несколько удивила та легкость, с которой я, мало знакомый им человек, был приглашен ими. Я спросил Синкевича:

— А собственно, какова программа организации?

— Программы у нас пока нет, — ответил он. — Мы будем сначала обсуждать устав организации.

— Как, — удивился я, — сначала устав, а потом программу?

— Да. Но вообще программы может и не быть. Вместо нее можно взять „Декларацию прав человека”, принятую ООН.

Я не слышал до сих пор о существовании такого документа, и Синкевич дал мне тетрадь, где четким, красивым почерком был переписан текст этой Декларации, незадолго до того ставшей известной в СССР. Приятели Синкевича переписывали этот текст и тайно распространяли по лагерям. Хотя в СССР и опубликовали эту Декларацию, никто не рисковал размножать ее открыто.

— „Декларация прав человека”, — сказал мне Синкевич, — вот основа, на которой можно объединить разные подпольные группировки в лагерях. Наша организация и стремится создать такое объединение.

Мне тогда не показалось странным или смешным, что молодой, суетливый 20-летний паренек берется за труднейшее

дело — объединить все тайные лагерные группировки. И я пошел на тайное заседание его организации (он, действительно, оказался ее главой и идейным вдохновителем), которое происходило в лагерьной библиотеке поздно вечером: оказалось, что один из членов организации работал библиотекарем.

Собралось 5-6 молодых людей. Они почему-то сразу стали смотреть на меня как на их полноправного сообщника.

Эта организация, которая в данный момент занята была рассмотрением своего устава, имела 4 отдела: организационный, связи, пропаганды и безопасности. Синкевич возглавлял отдел пропаганды и был одновременно неофициальным лидером всей организации.

Согласно уставу, организация должна была именоваться „Гражданский Союз” (сокращенно ГраСо).

Весь этот бюрократический антураж, который мог бы только вызвать улыбку взрослого, опытного человека, меня тогда не отпугнул. Я ехал в лагерь с надеждой найти подходящую для себя организацию, сильную и хорошо законспирированную. И вот, пожалуйста, ГраСо, где есть даже отдел безопасности, призванный охранять членов организации и следить за стукачами. Специализация и субординация, столь необходимая для каждой организации.

Не выясняя моего отношения к ГраСо, они ввели меня в отдел связи. Я не возражал. Я рассказал им о событиях в Ленинграде — все это еще жило во мне и продолжало волновать. Они попросили сделать письменный доклад об этом: хотели отправить его в другие лагеря, где у них были „их люди”. Мой доклад я потом сам же зашифровал (цифровым шрифтом), и, как я потом узнал, он действительно попал в другие лагеря и там (после расшифровки) читался. Это было единственное реальное дело, которое я сделал в ГраСо.

Но в то же время меня не покидало смутное ощущение, что это не совсем те люди, которых я искал. Было видно, что у некоторых из них — уголовное прошлое. Оно сказывалось и в их поведении, и в языке. Иногда мне казалось, что они недостаточно конспиративны.

Главная деятельность организации заключалась в ее рас-

ширении. Причем, неясно было, чем должны заниматься люди, вступив в нее. Предполагалось, что главная сфера приложения сил — на свободе, по ту сторону колючей проволоки.

Прошел примерно месяц, как я впервые посетил собрание „начальников отделов” ГраСо. За этот месяц я посетил эти собрания несколько раз.

И вот я познакомился с человеком, который помог мне правильно взглянуть на ГраСо и вообще на подобные авантюры, затеваемые в лагерях молодыми людьми, которые ищут приложения своим силам, уму, организаторским способностям. Этот человек, назовем его Артур, сказал мне, что ему не потребовалось большой наблюдательности, чтобы заметить, что я занят вместе с Синкевичем какой-то тайной деятельностью. Но если это заметил он, посторонний, то, очевидно, заметили это и стукачи. И вообще Синкевич ко многим в лагере подходил и вербовал в свою организацию, так что ее существование — это секрет полишинеля. „С этими людьми ты дальше Иркутска не уедешь”, — сказал он мне. (В Иркутске находилось областное КГБ, и туда увозили из лагеря на следствие по политическим делам.)

Беседы с Артуром заставили меня пересмотреть свое отношение к ГраСо. У меня не было внешнего повода порвать с ними, и я стал просто избегать контактов с этой организацией. Синкевичу, в свою очередь, было неприятно мое общение с Артуром. Ведь тот открыто подсмеивался над ним, над его кипучей энергией. Артур окрестил Синкевича за суету „сперматозоидом”.

Сам Артур сидел с 1952 года. Он был курсантом военного училища, и его посадили за антисоветские высказывания. В 1955 году, в лагере, он вступил в организацию „Группа революционных марксистов”. В отличие от ГраСо, это была действительно серьезная организация — без всякой бюрократической атрибутики. Существовала она на строительстве Куйбышевской ГЭС, куда были согнаны десятки тысяч заключенных. Среди участников этой организации были и заключенные, и вольные. Организация небольшая, человек около 20, но каждый имел хорошую теоретическую под-

готовку. Я потом познакомился с другими участниками этой организации и убедился, что каждый из них не только читал Маркса, Плеханова и Ленина, но и пытался практически освоить их работы. „Группа революционных марксистов” еще в начале 1956 года говорила о возможности революционного взрыва в странах Восточной Европы, когда трудно было предугадать события в Польше и Венгрии. Национальный состав этой группы был довольно представлен: русские, евреи, литовцы, украинцы — западные и восточные, татары. Я заинтересовался историей возникновения этой организации, но узнал только, что она зародилась в лагерях в начале 50-х годов, и одним из ее создателей был некий румынский коммунист. Искать непосредственную связь этой организации с исчезнувшими троцкистами или, тем более, меньшевиками было бесполезно.

„Группу революционных марксистов” арестовали вскоре после 20-го съезда. В том же либеральном 1956 году их судили, и сроки были тяжелые: 7, 8, 10 лет. Характерно, что в это же время в лагерях **освобождали** политзаключенных. Формально каждый политзаключенный должен был предстать перед авторитетной комиссией, которая после личной беседы с заключенным решала: освободить ли его или только снизить срок или вообще все оставить по-прежнему. И почти всех сидевших по 58-10 (т. е. „антисоветская пропаганда”) выпускали. Но этих людей не выпустили, и сроки им не снизили, хотя все они сидели за антисталинские высказывания.

Я жадно слушал Артура. Впервые я понял, насколько марксистская политэкономия способна объяснить советский экономический строй. Я больше и больше вдумывался в понятие „государственный капитализм”. Артур оперировал и такими категориями, как „государственно-бюрократическая буржуазия”, „советский пролетариат”. Нужно сказать, что ни Артур, ни его товарищи не читали еще *Новый класс* Джиласа, да и вообще они полагали, что сами пришли ко всем этим формулировкам. Но ведь еще не так давно я читал в Ленинграде листок, где говорилось о советском государ-

стве как „едином капиталисте, едином помещике, едином мыслителе”. Мысль о госкапитализме и „новом классе” витала в воздухе. Я часто встречал потом в лагерях студентов из провинции, которые, встретив своих коллег-заключенных, с жаром доказывали, что каждый из них самостоятельно додумался до этих определений и формулировок.

Я хотел теперь больше читать, прежде всего Маркса, но работа был настолько тяжелая, что, приходя вечером в жилую зону и поужинав, я чуть не засыпал от усталости. Серьезная книга выпадала из рук. В лучшем случае я мог только слушать Артура — а он был превосходным рассказчиком.

Организация ГраСо казалась мне теперь смешной и нелепой, а люди, создавшие ее — попросту неинтересными. Только Синкевича я мог выделить: у него был живой и быстрый ум, доброта и сообразительность. Но между нами как бы черная кошка пробежала.

Оглядываясь теперь на всю историю ГраСо, я могу сказать, что можно сколько угодно смеяться над попыткой создать иерархическую и бюрократическую подпольную организацию, которая копировала структуру Райкома КПСС (или даже ЦК). Но одно было хорошо понято Синкевичем: идея „Декларации прав человека” как краеугольный камень всякой политической деятельности — в лагере и на свободе. 20 лет назад этого никто не мог оценить по достоинству — ни Артур, ни другие, более мудрые, чем Синкевич, люди.

Идеи не могут жить без носителей этих идей. Но не всегда эти носители бывают самыми достойными „реализаторами” этих идей. Так случилось с ГраСо, который прекрасную идею прав человека утопил в своей бюрократической структуре. Так случилось и с большевиками, которые только казались наилучшими выразителями идеи социальной справедливости. Но они не могли, тем не менее, дискредитировать саму эту идею. Она жива и по-прежнему движет социальными устремлениями людей.

Познакомился я и еще с одним марксистом, который сидел с перерывами с 1937 года и гордо именовал себя

„социал-демократом вне партий”. Этот старик (по моим тогдашним понятиям. Ему было лет 50) рассказал мне жуткие подробности тюрем и лагерей конца 30-х годов. Как по-разному уходили люди на расстрел из камер Большого Дома: одни — обезумев от страха, другие — спокойно, со словами „Прощайте, товарищи”. И как в начале войны заключенных перегоняли пешком из лагеря в лагерь — сотни километров. Они сначала несли с собой свое жалкое имущество: мешки, чемоданы, а потом, обессилив, бросали эти чемоданы. А местные жители шли за ними и подбирали... Переполненные зловонные трюмы барж, голод, холод, и опять расстрелы, расстрелы... Все это стало для моего „старика” обыденным, и рассказывал мне он об этом без пафоса, буднично.

Такие люди помогли Солженицыну написать *Архипелаг*. Но сколько таких, кто уже никогда никому не расскажет...

Для нас, молодых, такие „старики” были живой историей Архипелага. Они хранили и определенные традиции заключенных, прежде всего традиции сопротивления или хотя бы несотрудничества с палачами.

Казалось бы, по сравнению со сталинским периодом теперь жизнь в лагерях была куда более нормальной: была и пища, и книги, никого не расстреливали. Но все-таки было чем сломить волю заключенных: зачеты, возможность выйти скорее на свободу. Да и сидели теперь качественно другие заключенные: „контрреволюционеры” и разнообразные „враги народа” были уничтожены или освобождены в 1956 году, а „студенты” (так стали называть всех нас, „свежих”) составляли только часть лагеря.

Существовала одна важная традиция, которую политзаключенные соблюдали несколько лет в эпоху „либерализма”: если работник КГБ или оперуполномоченный МВД вызывал кого-нибудь на беседу, то вызванный брал с собой товарища. Вдвоем они переступали зловещий кабинет, и вызванный говорил, что он будет „беседовать” только в присутствии товарища. Так исключалась возможность „стукачества”.

В мое время это почти уже не встречалось. Заявить офицеру КГБ, что ты беседовать с ним наедине отказываешься, значило теперь навлечь на себя всевозможные кары. И опять-таки главное, чего боялись, — лишение зачетов. Поэтому и шли, и „беседовали”.

Однако другая традиция сохранилась: всякий, кто побывал на „беседе”, должен был тут же по выходе рассказать товарищам — и не только товарищам, а всякому, кто его об этом спросит, — о чем его расспрашивали в КГБ-МВД. И можно было верить или не верить каждому пришедшему с такого допроса: все зависело от личности заключенного.

Сами вызовы происходили на глазах у заключенных: обыкновенно в барак вбегал дневальный и зачитывал список: такие-то и такие-то — к оперуполномоченному! Такой-то — к представителю КГБ! И только особые стукачи могли иметь особые, обусловленные заранее, встречи с их „шефами” или даже вести с ними переписку (что было даже проще).

Но стукачей, как правило, быстро демаскируют, потому что в лагерях все происходит на людях и трудно быть незамеченным. Всюду люди, всюду глаза. Люди здесь „тертые”, наблюдательные. Свое истинное нутро здесь трудно скрыть. Хорошо сказал один мой приятель: „В лагере люди ходят обнаженными”. Люди здесь руководствуются презумпцией недоверия и подозрительности. Тем не менее, заключенные — хорошие психологи.

Достоевский описал в *Мертвом Доме*, как человек страдает на каторге от невозможности быть наедине с собой. Всегда с людьми, всюду вместе: в столовой, на работе, на нарах, в уборной. В тюрьме же страдаешь от одиночества, от отсутствия общения, рвешься в лагерь — к людям.

После тюрьмы лагерь опьяняет своей свободой. Подумать только: можно ходить из барака в барак, дышать воздухом, не чувствовать на себе взгляд через глазок. Можно сколько хочешь раз ходить в уборную! Но постепенно понимаешь, что здесь тебя ожидает другая невеселая вещь: ты весь на виду и мучаешься от „принудительного сожительства”, принудительного „коллективизма”. Поэтому все заключенные

мечтают о лесе, тишине природы, уединенности, о семье, жене, детях — о том, чего они надолго — или навечно — лишены. Простые человеческие радости кажутся заветным раем.

Пресытившись лагерной „свободой“, устав от лагерной „обнаженности“, люди снова рвутся в тюрьму. Для этого нужно совершить какое-нибудь преступление. Срок, возможно, будет увеличен, но когда у тебя впереди 10-15 лет, то разница в 2-3 года не кажется существенной. Зато в тюрьме не будет такой изнурительной работы, будет — отдых, тишина. В лагере тюрьма кажется идиллией.

Но в те времена, когда существовали зачеты, мало кто рвался в тюрьму. Даже инвалиды с 25-летними сроками рвались на работу. Существовал специальный инвалидный лагерь. Там они и работали — „щипали“ слюду.

Но уже шли разговоры, что зачеты скоро отменяют. Конечно, никто не хотел верить этому всерьез. Тем более, никто не мог думать, что отмена будет иметь обратную силу, что будут отменены и заработанные уже зачеты. Как-то я сказал одному заключенному, что зачеты не отменяют — ведь если их отменяют, пропадет стимул к труду. Кто тогда будет работать? Он лишь усмехнулся: большевики найдут другой стимул! Придумают какие-нибудь 2/3: будешь хорошо работать — освободят по отбытию 2/3 срока. Или еще что-нибудь придумают.

Троцкий на одном из партсъездов сказал, что утверждение „принудительный труд не производителен“ является выдумкой буржуазных историков. Я своими глазами мог увидеть, что Троцкий был прав. Остался производительным наш рабский труд и после отмены зачетов.

Их отменили поздней осенью 1958, когда я был уже в Иркутской тюрьме. Это было настоящей трагедией для многих заключенных. Ведь одним, с учетом зачетов, оставалось сидеть всего несколько лет, другим — несколько месяцев, а были и такие, которые должны были освобождаться на днях. А теперь оказывалось, что впереди у них — еще 10-15 лет. Вчера еще люди освобождались по зачетам, а сегодня выяснилось, что все зачеты „пропали“. Один эстонец, ожидав-

ший освобождения через несколько дней, умер возле стенда с газетой, в которой оповещалось об этой отмене. И этот случай не был единственным.

Конечно, отменив зачеты, власти тут же обещали другую возможность досрочного освобождения: после отбытия 2/3 срока (наверное, мой недавний собеседник был каким-то образом информирован об этом раньше нас) суд может освободить заключенного при условии „хорошего поведения”. Я знаю 2-3 случая применения этого положения к политзаключенным. Но в 1961 году и эта льгота была отменена.

Как ни были потрясены заключенные отменой зачетов, сколько бы они ни роптали — производство не останавливалось, лесозавод давал свою продукцию и, как положено, с перевыполнением.

Но сколько было похоронено надежд! Сколько слез было пролито близкими! Все переживали отмену уже заработанных зачетных дней как гнусный обман со стороны правительства. Действительно, в этом есть что-то сугубо деспотическое: дать людям стимул и надежду, а потом одним махом уничтожить свое же собственное установление, показав людям, что их надежды были наивны и бессмысленны.

Сентябрьским утром 1958 меня вызвали по лагерному радио „на этап”. Был вызван и десяток других заключенных, и с удивлением я услышал в этом списке фамилии участников ГраСо! Артур успел сказать мне: „Ну, вот видишь, вас везут в Иркутск!” Тут же в барак вошли два надзирателя и офицер, и я был арестован. Это звучит смешно: арест в лагере, но, тем не менее, это был настоящий арест, с обыском и последующей изоляцией. Обыск проводили, как положено, с понятыми. Моему соседу по нарам, „военному преступнику”, предложили быть понятым, но он отказался. Офицер был возмущен: это был акт протеста. Да и я сам ни до, ни после не встречал такого: обыкновенно в качестве понятых берут людей, более или менее проверенных. А этот так и отказался: „Без меня обойдетесь!” Конечно, обошлись, нашли кого-то другого.

Всех арестованных повели в карцер и разместили по

одиначкам. Почти все были из ГраСо. А я ведь уже несколько месяцев не общался с этими людьми. И не считал себя членом этого союза.

Мы сидели по одиночкам и переговаривались между собой. Видимо, в коридоре не было надзирателя, так как никто не мешал нам беседовать (вообще разговоры между камерами запрещены, тем более, мы ведь были арестованными). Я слышал, как Синкевич выяснял, сколько человек арестовано, спрашивал у кого-то, арестован ли такой-то, удалось ли спрятать такую-то бумагу и т. д. Впоследствии мы узнали, что в одной из одиночных камер сидел наш бывший следователь из Иркутского УКГБ и все разговоры тщательно фиксировал. Конечно, он смог получить здесь кое-какую информацию о ГраСо. Более того, оказалось, что этот следователь, лейтенант Дубянский, приходил в лагерь в арестантской одежде в качестве заключенного, ходил по баракам, слушал разговоры, обедал с нами в столовой... При том большом количестве заключенных, какое было в 19 лагере, это было нетрудно.

Наш путь лежал через Тайшет, через знаменитую Тайшетскую пересылку. Теперь мы не могли попасть в лагерь 601, где я был еще полгода назад, а лишь в тюремную пересылку, где содержались следственные. В основном, это были заключенные, арестованные в разных лагерях по политическим и уголовным обвинениям. В Тайшете находился и лагерный суд Озерлага — спецлагсуд. (Это был последний год существования спецлагсудов. Впрочем, различные спецсуды, возможно, существуют и сейчас: например, в местностях, считающихся секретными.) Каждый день здесь кого-нибудь судили. Судьей была некая Павлова, известность которой достигала самых отдаленных лагерей Иркутской области. А известна она была тем, что приговаривала всегда только к максимальному сроку наказания, какой только был возможен по данной статье. И если там предусматривалась смертная казнь — приговаривала и к ней без колебаний. Во время слушания дела, допроса подсудимого или речи его адвоката она часто вынимала губную помаду, зеркальце и без зазрения совести красила губы.

Со мной в Тайшетской камере сидел человек, обвиняемый в убийстве. Сам он отрицал свою вину. Он шел на суд в уверенности, что его освободят (он был арестован на свободе). Его судила Павлова, и в камеру он уже не вернулся: его приговорили к расстрелу. Пришел надзиратель и сказал, чтоб мы собрали вещи приговоренного. Мельком удалось увидеть этого человека в коридоре. И я понял, что означает выражение „на нем лица нет”. За несколько часов все изменилось в этом человеке: походка, голос, внешность. Смертный приговор уже раздавил его... Смертные приговоры были не редки в Тайшете.

Почему-то меня всегда интересовало, как происходит смертная казнь. Помню, выезжая этапом из Ленинграда, разговорился с сержантом из знаменитой тюрьмы „Кресты”. Он просто и даже задорно отвечал мне:

— Конечно, приходится расстреливать — чего ж такого?

— А как? К стенке ставите? Спрашиваете последнее желание? — домогался я.

— Еще чего! В подвал, а потом — „лиф-паф”, какие могут быть разговоры?

Совсем недавно, в 1977 году, прокурор Камчатской области рассказал моему приятелю о новой, недавно введенной процедуре смертной казни. По словам этого прокурора, камеры, где происходит расстрел, оборудованы специальной, автоматически движущейся стенкой, которая прижимает смертника в угол. В этой движущейся стенке есть два отверстия для дул на разной высоте (на высоте сердца высоких и низких расстреливаемых), через которые солдат и стреляет. Таким образом, солдаты не видят, в кого они стреляют.

При расстреле непременно присутствуют 4 человека, 4 официальных лица: начальник тюрьмы, врач, прокурор и представитель КГБ (даже если расстрел по уголовному делу). Эти 4 лица и должны констатировать приведение приговора в исполнение. Смертная казнь осуществляется в областных (краевых, республиканских) центрах.

В Тайшетской пересыльной тюрьме я впервые увидел, как люди вскрывают себе вены. Нас было в камере не-

сколько человек, раздавали ужин. И вдруг один уголовник, который до этого затачивал об асфальт пола небольшой кусочек металла, стал перерезать себе вены! Брызнула кровь, он продолжал „пилить”, молчаливо и сосредоточенно. Мы застучали в дверь: это ведь как самоубийство! Однако надзиратели не особо взволновались: здесь такие случаи, оказывается, настолько часты, что все к этому привыкли. Наш „самоубийца” лежал на полу, возле него была уже лужица крови, а все вернулись к своему ужину. И — ничего! — ели, не оставаться же голодными. И я ел. Кто-то даже роптал: нашел, дурак, когда вены вскрывать! Людям ужинать надо, а он тут кровопускание устроил!

Наконец, надзиратели забрали его из камеры — за руки, за ноги: он был без сознания, а может, притворялся. Чего он добивался? То ли перевода в больницу, то ли перевода в другую тюрьму. А может, делал это просто из протеста. Это часто бывает от отчаяния: членовредительство, вскрытие вен. Об этом уже писали и А. Марченко, и Э. Кузнецов. Или такой сюрреалистический акт: бросается человек в уборную. Или лезет на колючую проволоку, чтоб быть убитым. И этот человек не сумасшедший, он нормален, но он не может дальше вынести всей этой тюремно-лагерной жизни, и если он не может уничтожить этот ужасный мир вокруг, то он пытается уничтожить его в себе. Или — в соседе.

Я помню молодого уголовника в Мордовском лагере, который несколько дней говорил всем окружающим: „Я больше не могу. Я должен кого-то убить”. Никто не придавал его словам значения, но однажды утром в колодце нашли труп другого уголовника, Кости „Глухого”. А тот молодой человек и не скрывал, что именно он убил Костю — ни за что, безмотивно, ведь он предупреждал, что должен кого-то убить. Убийца был приговорен к расстрелу.

Итак, из Тайшета нас повезли в Иркутск, где Иркутское УКГБ начинало следствие по делу „нелегальной антисоветской организации ГраСо, ставившей своей целью свержение советского строя”. Как могли 10-15 человек, сидящие в глухих сибирских лагерях, „свергнуть советский строй”?!

Формально дело ГраСо начиналось с доноса Мещерякова — „начальника отдела безопасности” ГраСо. Видимо, ему пообещали, что если он напишет такой донос, ему ничего не будет. В доносе он указывал фамилии участников ГраСо. Однако и сам он теперь был обвиняемым. Была особая ирония судьбы в том, что человек, призванный охранять безопасность членов тайной организации, предает их всех в руки КГБ. Но для КГБ он вовсе не герой: он такой же преступник, как и остальные, и наравне со всеми должен нести наказание. Поскольку донос Мещерякова легализован, КГБ уже не может пользоваться его услугами. Он — предмет разового пользования, теперь его можно выбросить.

Нас везли в Иркутск изолированно друг от друга, и в Иркутской тюрьме МВД №1 нас также держали отдельно. Это была большая уголовная тюрьма, знаменитая тем, что во дворе ее расстреляли адмирала Колчака, который, по преданию, пел перед расстрелом известный романс „Гори, гори, моя звезда”... Конечно, в годы советской власти здесь были расстреляны тысячи людей, но память заключенных связывала иркутскую тюрьму именно с Колчаком.

В этой уголовной тюрьме часть камер была занята политическими: сидели здесь мы, лагерники, сидели и люди, арестованные на воле, в Иркутске. В городе, как и в каждом областном центре, была своя внутренняя тюрьма УКГБ, располагалась она в подвале здания УКГБ, а в случае особо длительных и интенсивных допросов переводили в этот подвал на несколько дней. (Такая же система существует и в других городах, например, в Курске.) Сидел и я в этом подвале дня 3-4. Большим преимуществом здесь было то, что тут не было специальной кухни для заключенных и пищу приносили из столовой КГБ. Мяса, конечно, не было, но картошка иногда перепадала нам, и вообще все было лучше приготовлено, чем в тюрьме №1, где на кухне хозяйничали уголовники. Но зато изоляция в подвале была строже, там всегда стояла гробовая тишина.

В тюрьме №1 были большие камеры, и сидеть одному мне здесь почти не пришлось, всегда было 2-3 сокамерника. В

каждой камере было радио, каждый день давали читать местную газету.

Сидел со мной один пожилой иркутянин, напомнивший мне ленинградца-старика Калекина. Я читал приговор этого иркутянина: „клеветал на Первого Секретаря ЦК КПСС (фамилия Хрущева в таких случаях не упоминалась), восхвалял врага народа Троцкого, клеветнически утверждал, что в СССР не существует свободы слова”. За все за это — 8 лет лагерей.

Последнее обвинение позабавило меня своей абсурдностью. Если бы мы ничего не знали об СССР, кроме того единственного факта, что там судят за высказывания типа: „в СССР нет свободы слова”, то этого одного достаточно было бы, чтобы утверждать, что свободы слова там действительно нет. И напротив: Ленин утверждал в своей статье „Партийная организация и партийная литература”, что при капитализме нет свободы печати. Поскольку это утверждение печаталось в легальной прессе, следует признать, что тогда (1905 г.) в России была свобода печати.

В иркутской тюрьме я познакомился с двумя немолдыми людьми, которые тогда же были признаны сумасшедшими и отправлены в Казанскую психиатрическую лечебницу „на вечные койки” — ведь заключение там было бессрочным.

Один из них, бывший член партии майор Костюнин, сидел за то, что в своих письмах — которые он направлял по официальным каналам — он предсказывал скорый конец советской власти.

Второй „сумасшедший”, Рыбальченко, заявлял *urbi et orbi*, что им создана социал-демократическая партия. В лагерях он предлагал многим вступить в нее. Я читал его письмо к Хрущеву, где он предлагал Хрущеву легализовать его партию. Он заявлял, что социал-демократы будут лояльно относиться к КПСС и, возможно, будут выступать одним избирательным списком на выборах.

Не так уж часто в хрущевские времена признавали инакомыслящих сумасшедшими. Я, например, тогда мог не бояться, что это случится со мной или с моими друзьями.

Иное дело — в эпоху Брежнева, когда „психушки” стали обычной практикой.

Тем временем, следствие по делу ГраСо шло своим чередом. Один „начальник отдела” „раскалывался” за другим. Я, наученный опытом ленинградского следствия, уже не попадался на „крючки” следователей. Их приемы были аналогичны приемам их ленинградских коллег: запугивания и посулы. Я вел себя здесь так же, как Пименов на том следствии: только когда „начальники отделов” называли мою фамилию, я признал, что был у них на собраниях. Из лагерей непрерывно привозили все новых и новых свидетелей по делу ГраСо. Их было несколько десятков человек, некоторые давали показания, угодные следствию. Кто-то рассказал и о моей статейке „Из жизни ленинградского общества”. Помня, что в ней были только факты, а какие-либо политические оценки отсутствовали, я признал свое авторство. Следователи поспешили объявить ее клеветнической, антисоветской.

— Проверьте — все это подлинные факты! — говорил я им.

— Пусть факты, — отвечали они, — но тенденциозно подобранные. Стало быть, клеветнические и, следовательно, антисоветские.

Следователь Дубянский был молодой циник, как и Кривошеев в Ленинграде. Однажды он, не помню почему, завел разговор о прибалтийцах: „Ну, латыши и эстонцы — эти еще ничего. Но литовцы! Этих стреляй каждого второго — не ошибешься”.

Капитан Усов тоже не стеснялся показывать нам бутылку водки, стоявшую у него в столе, говорил, что прикладывается к ней, но только в конце рабочего дня.

У Дубянского на столе я однажды увидел пачку писем из-за границы, адресованную иркутским гражданам. Он не скрыл от меня, что занимается их перлюстрацией. Со знанием дела говорил он о НТС. (Между прочим, печатный текст программы НТС каким-то образом попал в наш далекий сибирский лагерь, и среди заключенных я слышал споры о „молекулярной тактике”, предложенной этой организацией. Насколько я понял, суть ее заключалась в том, что

отдельные члены НТС внутри СССР должны создавать небольшие, не связанные организационно между собой группы — „молекулы”. Фактически этот структурный принцип был противоположен бюрократическим выдумкам Синкевича.)

Пименов в это время был переведен из воркутинского лагеря в „Озерлаг”. Он узнал о моем новом аресте, о деле ГраСо и написал об этом в Ленинград Орловскому. Его письмо было перехвачено, и КГБ сочло, что он, Пименов, возможно, тоже причастен к ГраСо. Его тоже привезли в Иркутск.

Однажды начальник следственного отдела Иркутского УКГБ сказал мне:

— Вот пришло письмо от Рогова (его коллега из Ленинграда). Помните листовки, подписанные „Комитетом спасения Родины”? Не хотите нам рассказать о них?

Я ответил, что могу только повторить то же, что говорил год назад Рогову.

Он сказал:

— Напрасно упорствуете. Пименов здесь, в Иркутске, и он уже во всем признался.

— Что ж, давайте его сюда, на очную ставку!

Это была их грубая ложь, и, действительно, никакой очной ставки не состоялось.

Накануне нового, 1959 года я нечаянно подслушал разговор между замполитом УКГБ и каким-то младшим чином. Разговор у них шел о том, что КГБ должно организовать в своем здании елку для детей их сотрудников. И вот вовремя не купили елку, а теперь, 31 декабря, их уже нет в продаже. „Останавливай любую машину, — поучал замполит подчиненного, — на которой увидишь елку. Предъявляй документы и забирай, вези сюда. Понял?” Насколько я понимаю, в это время могли встретиться люди, которые везли елки из леса, где рубить деревья частным образом запрещалось. Так что КГБ руководствовалось в этом случае принципом „грабь награбленное”.

Среди свидетелей и просто заключенных, которых без конца привозили в Иркутск, оказался и мой старый знако-

мец подполковник Карпухин, сидевший „за Молотова”. Я очень удивился, что его посадили в одну камеру со мной: ведь обычно свидетелей не сажают вместе с обвиняемыми по тому же делу. У Карпухина в Иркутске жила жена, и ему стали давать свидания с ней каждую неделю. Он приносил со свиданий много продуктов, мне и другим сокамерникам выделял малую толику, остальное прятал под подушку. Ел он эти продукты по ночам, когда мы спали: если бы он ел все это на наших глазах, ему было бы неудобно не поделиться с нами. Утром, открывая парашу, я видел плавающую там кожуру от апельсинов.

Обычно Карпухин рассказывал, что в Иркутске он был преподавателем в военном училище. Только одним говорил, что преподавал военные науки, а другим — историю КПСС. Но однажды один сержант, симпатизировавший заключенным, рассказал мне, что Карпухин был подполковником МВД и возглавлял иркутский детприемник (организация, занимающаяся „малолетними преступниками”, беспризорниками, детьми, убежавшими из дома, и т. д., — карательный, по существу, орган). Но то, что он сидел „за Молотова”, было правдой. Карпухин вынужден был скрывать от всех заключенных, что раньше работал в МВД. Его могли побить, пожалуй, еще сильнее, чем адвоката Аронова. Из своих 8 лет срока отсидел он 4 или 5, его освободили досрочно уже из Мордовии. От меня он не скрывал, что его допрашивали обо мне. Но он мало чего знал.

Если бы Карпухин сидел в одной камере с уголовниками, ему, конечно, не пришлось бы есть продукты по ночам — все, что он приносил со свиданий, было бы немедленно у него отнято. В наших же камерах царили другие нравы и принудить человека к дележу считалось неэтичным.

С момента моего ареста на 19-м и все время в Иркутске меня очень угнетал тот факт, что меня снова будут судить, что я получу новый срок (это на языке заключенных называется „довесок”). За что? Если в Ленинграде — так мне казалось — я все-таки что-то сделал и, значит, сидел не зря, то теперь мне увеличат срок — за что? За молчаливое при-

сутствие на собраниях „начальников отделов” ГраСо? За чисто фактическую информацию о ленинградских событиях? Все это казалось мне большой несправедливостью.

Для заключенного вообще невыносимо сознавать, что он сидит „ни за что”. А сколько таких было! На моих глазах было реабилитировано несколько человек, отсидевших по 10-15 лет. Сама власть потом признала, что они сидели „ни за что”. Могу представить, что они чувствовали и во время и после этого „сидения”.

На 19-м сидели 3 журналиста из газеты *Советская Киргизия* — за „антисоветские надписи” на какой-то книге Ленина. А они просто на каком-то собрании, не имея под рукой чистой бумаги, писали друг другу записки на полях этой книги, и были там нецензурные восклицания.

„Плакали” и мои зачеты, которые я зарабатывал тяжким трудом: в случае ареста они автоматически отменялись. Впрочем, их было у меня не так много, как у других. Да их вскоре и вообще отменили.

С моими новыми однодельцами у меня не было тех уз дружбы, какие связывали меня с Пименовым, Даниловым. В лучшем случае, я воспринимал их как товарищей по несчастью.

В общем, настроение было тяжелым, все время не покидала мысль: сидеть — так знать, за что! Так родилась идея о листовках. Она, собственно, не могла не родиться, ее породили сами обстоятельства.

Дело в том, что из тюрьмы №1 на допрос в КГБ (я писал уже это) возили в тюремных машинах („воронках”) через весь город. В камерах этих воронок я заметил пазы там, где кожух над колесом машины врезан в пол. В эти пазы (или щели) легко можно было опустить письмо. Так я отправил несколько писем, рассчитывая на сочувствие иркутян заключенным. И все эти письма дошли до адресатов! А ведь неизвестный горожанин, поднявший такой треугольник с мостовой, должен был еще наклеить на него марку!

Но если можно письма, то почему не листовки? Со мной в камере сидел тогда один уголовник, Попов, который в

своем лагере вывесил какой-то антихрущевский лозунг. Теперь он ждал суда и изнывал от безделия. Я сказал ему об этой идее, и он с энтузиазмом подхватил ее. Зачем ему нужно было участвовать в этом деле? Ему хотелось вызвать ажиотаж в КГБ, „Пусть побегают, поищут!” — восклицал он.

Мой порыв „пустить по улицам” листовки был в значительной степени вызван той пропагандистской шумихой, которая развернулась в то время перед внеочередным 21 съездом КПСС. Газеты и радио беспрерывно кричали о нем, рекламируя его как съезд, который откроет путь непосредственно к коммунизму. В то же самое время нагнеталась военная истерия: Берлинский вопрос, требование „освободить” Тайвань и т. д. Мне казалось, что вот-вот начнется война. Я хотел выразить в листовке свое отношение ко всему этому.

Итак, мы взяли бумагу из тетради в клеточку и каждый лист разрезали пополам. Текст листовки был на обеих сторонах листа, и озаглавлен он был так же, как каждая передовица газет тех дней: „Накануне внеочередного 21 съезда КПСС”. В листовке я призывал читателя „оглянуться вокруг”, чтобы увидеть низкий уровень жизни людей. Я говорил, что „колхозная система — это крепостное право”, что „интеллигенция вынуждена плясать под дудку ЦК”, что правительство ведет страну к войне... Помню, что там был и призыв к сопротивлению.

Листовку я подписал „Социалистический Союз России” — надо же было указать как-то автора этого воззвания. Я пытался, как мог, изменить свой почерк.

Попов одобрил текст, и поскольку в это время меня на допросы уже не возили, то он сам взялся распространить их.

На другой день его вызвали на допрос, и он захватил с собой листовки. Приехал вечером и сообщил, что все в порядке.

Прошло несколько дней, Попова продолжали возить на допросы, и все шло по старому. Попов стал нервничать: он предполагал, что листовки и в городе, и в УКГБ произведут фурор — ему, собственно, только этого и хотелось. Но к нам,

в нашу камеру, никаких отголосков о „фуроре” не доходило. Наконец, он не вытерпел, и однажды на допросе сказал своему следователю:

— Что у вас в городе происходит, подумать только!

— А что, собственно, происходит? — спросил тот.

— Как что? Пьянство, драки, листовки...

— Листовки? Откуда ты знаешь? — не скрыл своего удивления следователь.

— Да у нас в тюрьме по радио говорили. (По тюремному радио, в самом деле, часто были передачи о борьбе с хулиганством, воровством и пр., причем, на материале уголовных дел Иркутска.)

В тот же вечер к нам в камеру вошли человек 6 солдат и офицеров, и был произведен, что называется, „тотальный шмон”. Они отобрали у нас химический карандаш, которым и писались листовки, бумагу в клеточку... Нас разъединили, но первоначально подозревали только Попова. Но дня через два эксперты-графологи идентифицировали мой почерк, и одновременно Попов признался во всем. После этого и я подтвердил, что листовки написаны мною.

Несколько раз на допросы ко мне приходили высшие чины Иркутского УКГБ и негодовали: „Зачем вы это сделали?” Один из них сказал мне, что они получили из Москвы большой „нагоняй”: видимо, такое ЧП, как распространение в городе листовок **заключенным**, невозможно было скрыть от вышестоящего начальства.

Теперь меня держали в строгой изоляции и перед тем, как везти на допросы, тщательнейшим образом обыскивали, раздевали догола. Впрочем, нижние чины делали это с незлобивой усмешкой: „Ну, говори, где листовки?”

Самым интересным во всей этой истории была реакция жителей Иркутска. Я читал рапорты милиции и заявления граждан — все это было в деле.

Попов выбрасывал листовки порциями, по пути из тюрьмы в УКГБ. Таким образом, они появились на разных улицах, но в одном районе.

Первыми листовки нашли пионеры. И отнесли их в мили-

цию. Сразу же к месту „происшествия” направили группу милиционеров, которые тоже обнаружили одну листовку возле городского сада. Им была дана команда: к листовке никого не подпускать, с земли ее не поднимать вплоть до прихода служебно-розыскной собаки с проводником. Пришла собака, ей дали понюхать листовку, но она не смогла „взять след”.

Тем временем еще один гражданин принес листовку. По его словам, „она летела в воздухе”.

Был допрошен некий инвалид войны, который тоже поднял летящую листовку и, прочитав ее, счел нужным отдать ее парторгу фабрики, где он работал. Почему парторгу? — „Там было написано что-то вроде „Социалистическая партия”, — объяснял он в КГБ, — а я беспартийный. Вот и отдал парторгу”.

И, наконец, один старик, член партии с 1926 года, подняв листовку, осмотрелся вокруг. По его словам, в это время по противоположной стороне улицы проходил молодой человек в очках. Он, конечно, не может утверждать, что листовки бросал этот молодой человек, — объяснял он в КГБ при допросе, — но все же... К тому же молодой человек был „нерусской наружности”.

... „Жиды, поляки, студенты, революционеры”...

Из 55 выброшенных листовок в УКГБ поступило 16, причем 5-6 вместе принесли школьники. Если учесть, что опергруппа с собакой тщательно обшаривала улицы и тротуары, так что вряд ли какая-нибудь листовка могла затеряться, то мы могли быть довольны результатом.

Этот эпизод попал в мой новый приговор (и в приговор Попова тоже). Судья Авдеева воскликнула во время процесса:

— С вашими листовками люди в уборную ходят!

— В уборную с *Правдой* ходят, — ответил я.

Итак, теперь я знал, что сижу не зря. Я был уверен, что меньше 10 лет мне не дадут. И эта уверенность придавала мне смелости и бодрости духа, как ни странно. Снисхождения ждать не приходилось, и иллюзий, которые питают каждого

арестованного, тоже не было. 10 лет, думал я, не больше и не меньше, 10 лет...

В Иркутской тюрьме №1, которая до революции называлась „Тюремным замком“, довелось мне впервые посидеть в карцерах.

Карцер — это тюрьма в тюрьме. Это камера в сыром и холодном подвале: цементный пол, параша — и ничего больше. Есть возможность ходить из угла в угол. Телогрейку днем отбирают, отдают только на ночь, и тогда она и одеяло, и подушка. Но если учесть, что это зима в Иркутске, и на улице — минус 40, то понятно, что телогрейка не спасает в этом подвале. Ночью я каждые полчаса просыпался от холода. Да еще в глаза мне бил желтый свет никогда не гаснувшей лампочки над дверью камеры.

Кормят в карцере так: один день — хлеб и трижды в день „баланда“, другой день — только хлеб („сытые” и „голодные” дни). Воду дают по потребности, разрешают держать в камере жестяную миску для этого, которая по ночам служит подушкой.

Здесь, в карцере, человек считает не только дни, но и часы, оставшиеся до конца его „карцерного” срока. Я чувствовал себя здесь заживо похороненным. Кажется, впервые я почувствовал какое-то метафизическое одиночество и ужас смерти. После карцера возвращение в камеру казалось возвращением к жизни, невообразимым счастьем. Все познается в сравнении...

В Иркутске меня дважды сажали в карцер: один раз за недозволенную переписку с другим заключенным (с социал-демократом Рыбальченко), а во второй раз за то, что я обозвал офицера МВД „фашистом”. Офицер этот вошел в нашу камеру, а я лежал на нарах после гриппа. И не встал с них (по правилам, заключенные должны вставать при входе в камеру тюремщиков). Я сказал ему, что болен. Он раскричался и ушел и тут же прислал врача. Врач констатировала, что температура у меня нормальная. Я сказал, между прочим, врачу, что этот офицер — фашист.

За оскорбление офицера — 15 суток карцера, за переписку

с Рыбальченко — 7. Это был февраль 1959, и в карцере я встретил свое 20-летие.

В это время в стране проходила Всесоюзная перепись населения. И ко мне в камеру пришел человек со значком счетчика этой переписи. Я спросил его, будут ли после переписи опубликованы данные о количестве заключенных в СССР. Он усмехнулся:

— Вы по какой статье сидите?

— По 58-й, — ответил я.

— Оно и видно: задаете провокационные вопросы.

Впрочем, Синкевич предложил оригинальный метод для такого подсчета. В лагерях у нас висели типографские плакаты, ориентирующие заключенных на „перевоспитание”. Они были разные, но в основном преобладал лозунг „Честный труд — дорога к дому”. В углу каждого плаката, среди издательских данных, указывался и тираж данного плаката. Гипотеза Синкевича состояла в том, что количество плакатов, развешенных в каждом лагере, пропорционально численности заключенных в этом лагере. Сколько было заключенных в нашем лагере, мы знали точно, сколько таких плакатов висело — тоже. Отсюда уже нетрудно было высчитать и численность заключенных в стране, умножив тираж плаката на число „человеко-плакатов” в нашем лагере. Но это была численность лагерных заключенных, так как в тюрьмах таких плакатов почти нет. У Синкевича получалось что-то около 2 миллионов. Сравнивая эту цифру с позднейшими расчетами Чалидзе, можно считать, что это было недалеко от истины. Но плакатов специально для политлагерей не существовало, поэтому о численности собственно политзаключенных мы могли судить только по рассказам людей из разных лагерей.

В 1959 году кампания политических арестов несколько утихла по сравнению с 1957-58 годами. Теперь студенты прибывали большей частью с Украины и Прибалтики.

В Иркутске я начал, наконец, читать всерьез марксистскую литературу. И начал, как ни странно, не с Маркса, а с Розы Люксембург: ее книга *Накопление капитала* была в тюрем-

ной библиотеке. На меня произвели большое впечатление стройность и логичность ее работы, убедительность аргументации, хотя теория „автоматического крушения капитализма” на практике оказалась ошибочной. Я понимал, что где-то в этой теории кроется изъян, но обнаружить его не мог. Может быть, полезно для меня было начинать именно с этого полемического и ошибочного сочинения, ибо такая полемика пробуждает мысль, тогда как безапелляционность и догматизм советских учебников способны только вызывать отвращение не только к марксизму, но и к политэкономии вообще. Также обстоят дела и с философией, социологией, литературоведением. А уж если говорить об ошибках Люксембург, Маркса, Гегеля, Спинозы..., то ведь ошибки могут быть плодотворны.

После Р. Люксембург мне было легче и интереснее читать *Капитал* — труд, якобы ставший Библией в СССР, но на самом деле читаемый только в вузах по принуждению. Только сотня-другая молодых людей прочитала его добровольно. Я не говорю о советских ученых-экономистах и философах, которым по долгу службы надо знать *Капитал* — ведь он хлеб, „проценты” этих прислужников Государственного Капитала.

В марте в Иркутском областном суде судили ГраСо. Нас было шестеро на скамье подсудимых, „начальник отдела безопасности” Мещеряков сидел среди нас. Синкевич все порывался набить ему морду, и мы буквально за руки удерживали его: за такой поступок ему дали бы еще срок — за хулиганство. Перед процессом мы сидели какое-то время в клетках в специальном помещении здания суда и пытались разговаривать между собой (решетчатые двери клеток выходили в общую комнату). Конвой предупредил, чтоб мы молчали, но Синкевич снова заговорил с кем-то. Тогда его выволокли и надели ему наручники необычным способом: заведя одну руку через плечо за спину. А через некоторое время повели судить. Я видел, что хотя Синкевич и молчал, но лицо его было искажено от боли, на глазах выступили слезы. Тут, в зале суда, самое бы время и место сказать о

таким бесчеловечном обращении. Но кому, кому? Это было не в Ленинграде, публики и родственников здесь не было. От адвокатов мы сами отказались, когда они пришли к нам всего за час до суда (это в провинции обычная практика. Считается, что раньше знакомиться с подзащитным нет смысла). Только в первый день суд проходил в зале (пустом), а на следующий день, под предлогом ремонта, этот зал закрыли и повели нас в кабинет судьи — обыкновенную комнату, не более 20 квадратных метров, где мы сидели буквально нос к носу с нашими судьями. Кроме них были секретарь, прокурор и конвой. И никто в самом Иркутске, конечно, не знал, что в этот день судят организацию, провозгласившую „Декларацию прав человека” своей программой.

Мещеряков, пытаясь загладить свою вину перед нами, в знак солидарности тоже отказался от адвоката. Но тогда прокурор, обвинявший нас, стал фактически его адвокатом, всячески подчеркивал тот факт, что Мещеряков написал донос на нас.

Последние слова подсудимых были весьма лаконичны. Г. Луков („начальник орг. отдела”) сказал, обращаясь к судьям: „Мне с вами говорить не о чем”. Я тоже сказал только одну фразу: что виновным себя не признаю, считаю существующий у нас строй фашистским и государственно-капиталистическим.

Синкевича, Муху и Лукова приговорили к 10 годам, Ржаницына — к 5, Мещерякова — к 4. Мне дали 7 лет (у каждого этот новый срок поглощал неотбытую часть предыдущего срока). Я был несколько удивлен, что мне дали меньше, чем первым троим. Думаю, это объясняется тем, что они были „начальниками отделов”, а меня судили, в основном, за листовки. В 1965 году их приговоры пересмотрели, сроки этим троим снизили до 7 лет. И мы освободились в один день.

Вскоре после суда меня повезли из Иркутска на север области, в лагерь №410 (Вихоревка Братского района). Хотя лагерь находился и недалеко от строящейся Братской ГЭС, к самому этому строительству он непосредственного от-

ношения не имел: заключенных водили, главным образом, на лесоповал.

Это был „штрафной” лагерь, т. е. сюда помещали нарушителей и разных „опасных” преступников. Меня туда привезли как рецидивиста, хотя официально этот термин тогда ко мне еще не прилагался. Деления на виды режима как такового еще не было, и „штрафной” лагерь мало чем отличался от „общего”. Однако уже были созданы специальные лагерные тюрьмы („спецы”), и в одной из них, в нескольких километрах от меня, сидел Пименов.

Я быстро нашел в этом лагере близких себе людей — друзей тех моих друзей, с которыми я познакомился на 19-м.

Был здесь и С., участник „Группы революционных марксистов”. Мы решили вместе с ним писать работу по истории СССР, с марксистских позиций. Я помню введение к ней. Мы доказывали, что ни одна новая форма общественно-экономических отношений не может наступить, пока не изжита окончательно предшествующая формация. Насильственно, искусственно навязанные обществу новые формы неизбежно перерождаются и хиреют, а старое, неизжитое содержание торжествует. Поэтому победоносные восстания рабов в глубокой древности вели лишь к возникновению новых деспотий. А победы в России в 18-м веке? При Пугачеве был бы, вероятно, более тиранический абсолютизм, чем при Екатерине. И напротив, победа декабристов (или победа Наполеона) привела бы Россию к более раннему и успешному развитию демократии и капитализма.

Написанную до этого момента рукопись можно было еще хранить в лагере. Но поскольку дальше речь должна была идти о 1917 годе, то надо было прежде обдумать, как писать работу дальше, но не оказаться снова арестованным.

И вдруг однажды, майским утром, меня вызвали в кабинет к „куму” (так называют в лагере оперуполномоченных МВД). Кроме лагерного „кума”, там был и „кум” отделения. (Отделение объединяло несколько лагерей, а управление — несколько отделений.) И вот они стали вербовать меня в осведомители МВД! Это предложение вызвало во

мне такую цепь мыслей: раз предлагают „стучать”, следовательно, не подозревают, что я делаю что-то нелегальное. Значит, можно и дальше писать нашу работу. Согласившись, я могу обезопасить себя. А кроме того, можно проникнуть в их тайны, узнать их сеть осведомителей. А если они кем-либо будут интересоваться, то, значит, это не их человек, не стукач. Значит, думал я, есть смысл согласиться на их предложение. О том, что, согласившись, надо давать им материал, — об этом я в тот момент и не подумал. Был в моем решении, во всем этом теоретическом построении определенный авантюризм. Мало, видать, меня еще била жизнь, если я готов был продолжить игру, которую не удалось вести в нашем институте Саше С. Конечно, сказывалась молодость, непонимание того очевидного факта, что не может один человек, даже и очень хитрый, перехитрить эту коварную, опытную и бесчеловечную машину.

Они мне ничего не сулили, только очень туманно говорили о возможности досрочного освобождения. Но меня обольстил сам факт, что я — вне подозрений. Это были офицеры МВД, а не КГБ (но обе эти организации работают в тесном контакте, и фактически в этом союзе главенствует КГБ). Поэтому текст подписки, которую они мне предложили, был точно такой же, какой был предложен в свое время Солженицыну: „даю обязательство сообщать о готовящихся побегах заключенных...” Далее у Солженицына многоточие, и неясно, продолжался ли текст. В моем случае он продолжался: „поджогах и подкопах” (я запомнил это из-за одинаковости первых букв: побеги, поджоги, подкопы). Я намеревался в случае следующих вызовов говорить, что о побегах, поджогах и подкопах мне ничего неизвестно. Я выбрал псевдоним (они предложили: Борисов) и подписал подписку о неразглашении.

Вернувшись в барак, я тут же рассказал обо всем случившемся С. Он был старше и мудрее меня. И, конечно, он отругал меня, говорил, что теперь очень трудно будет выкрутиться, что скоро они начнут требовать от меня „материал”. Надо было отказаться, говорил он, а не заниматься

авантюрами. Теперь надо придумывать, как выпутываться из этой паутины.

Примерно через месяц „кумовья” снова вызвали меня. Я сказал, что о „побегах, подкопах, поджогах” ничего не знаю.

„А какие настроения в лагере?” — спросили они.

Я не мог сформулировать какого-либо ответа на этот вопрос. Они стали просить меня изложить это на бумаге. Я сказал, что не знаю, что писать. Я не сразу понял, что им нужна „отчетность” перед вышестоящим начальством, что как-никак, а их осведомители работают. Хотя бы это было и сообщение типа „ничего не происходит”. Но я не стал писать ничего.

Снова они меня вызвали в июле. Как раз в это время в лагере появились вши. Вши были редкостью теперь, пережитком сталинских времен, и заключенные роптали, не зная источника этой напасти. Когда я снова сказал „кумовьям”, что ничего не знаю о поджогах, подкопах, побегах, и снова услышал вопрос о настроениях, то, недолго думая, сообщил о вшах. Они ухватились: „Вот и напишите об этом”. Я согласился и написал: „В лагере появились вши. Заключенные недовольны. Борисов”. Это была единственная бумажка, которую они получили от меня. Но им, конечно, этого было мало. В сентябре они снова вызвали меня, но к этому времени я твердо решил порвать со всей этой игрой, которая только действует мне на нервы, но никаких гарантий безопасности не дает: с каждым разом „кумовья” относились ко мне все настороженнее. И, будучи вызван в последний раз, я сказал им, что не желаю с ними сотрудничать, ничего ни писать, ни говорить не буду, и пусть они меня больше не вызывают. Они, конечно, были раздражены, все пытались выяснить: почему? Но я ничего не объяснял, только стоял на своем. Вышел из кабинета — и словно гора с плеч свалилась. Я понимал, что они будут мне мстить, но радостное сознание, что я от них все-таки отделался, перевешивало.

Месть не заставила себя ждать. В ноябре получилось как-то так, что у меня не оказалось валенок: не в чем было пойти на работу. И я не пошел. Меня вызвали на вахту и, как ни

объяснял я им, что пойду на работу, как только дадут валенки, погнали в карцер на 15 суток. Я шел по снегу в тапочках, мороз стоял приличный. Тогда еще я не догадывался, что это — месть „кумовьев”.

Лагерный карцер был еще более холодный, чем тюремный. Хлеб, который нам давали по утрам, через несколько часов промерзал весь и оттаивал только во рту. Но здесь было много народу, так много, что все не могли одновременно лечь на нары, кто-нибудь должен был ходить или стоять. Помню одного верующего, баптиста или иеговиста, который избрал для себя эту жертвенную участь: стоять, переминаясь с ноги на ногу, часами. Но как бы ни было холодно и тесно, как бы ни мучил голод и отсутствие табака — все-таки это было общество, и я уже не испытывал тех приступов отчаяния, которые посещали меня в карцерах иркутской тюрьмы.

Тут наступило 7 ноября, а накануне этого дня в лагерных карцерах обычно делается „амнистия”: начальник лагеря выпускает „нарушителей” из карцера в зону. Так было и в этот раз: майор Этлин освободил в моей камере всех, кроме меня и этого верующего. Мой приятель, только что освобожденный из этого карцера, зашел к Этлину просить, чтоб тот выпустил и меня. Но Этлин отказался: „Вайль? У нас к нему счет особый”.

Последний раз КГБ напомнил мне о злополучной подписке через 15 лет. Такие вещи они не забывают никогда, как никогда не теряют надежды завербовать человека, сколько бы судимостей у него ни было. Не теряют надежды сломить человека. И эти надежды иногда бывают оправданными: удалось ведь им победить Якира, Красина и некоторых других.

Надо сказать, что в это время в этом лагере были и попытки побегов, и подкопы. Один заключенный, из уголовников, предложил мне бежать вместе: у него была карта Братского района и оригинальная идея делать подкоп из уборной, так как она стояла рядом с запретной зоной. В идее побега меня больше всего смущала проблема денег и документов.

Допустим, я убежал, что дальше? Как жить без документов? Чем питаться? Мой собеседник усмехался: „Углы раскалывать будем” (это означало, что будем воровать чемоданы). Я отказался бежать, но он вскоре нашел себе единомышленников и каждый день опускался на дно уборной и копал. Входили в уборную заключенные — он замирал. На него лились нечистоты — он терпел.

Когда подкоп был почти готов, то о нем уже знало человек 10, все они собирались бежать. Но вдруг один из них донес о подкопе, и всех их арестовали.

Все лето 1959 мы с С. продолжали писать нашу книгу. Мы довели нашу историю до времен коллективизации. Тут у нас уже не хватало материала. К тому же, С. перевели в другой лагерь. Так наша книга и не была закончена. Хранить ее в условиях периодических обысков было опасно, поэтому перед очередным этапом я уничтожил ее, но не всю: вводную часть, где не говорилось об СССР, я хранил долго и даже вывез на свободу.

В лагере существовал и существует своего рода самиздат — это религиозная литература: Евангелие, молитвенники, библейские тексты. Их распространяли заключенные верующие, прежде всего Свидетели Иеговы, адвентисты Седьмого дня, баптисты. Можно было удивляться, какой компактности текста добивались они в своих „изданиях”. Например, все Евангелие, переписанное мельчайшим почерком, помещалось на ладони: величиной оно было сантиметров 10, толщиной — 1 см. Так удобнее было прятать его от обысков. Религиозную литературу власти периодически изымали, но она снова воспроизводилась и размножалась. У Свидетелей Иеговы были хорошие связи с волей, и, даже находясь в далеком лагере, они ухитрялись получать свой журнал *Башня Стражи*, который выходил в Бруклине, США.

Были здесь и православные, в основном так называемые „истинно-православные”, которые не признавали иерархов официального советского православия.

Прибыл с воли молодой энтузиаст православия Борис К. Он сел за то, что, работая в архивах Московского Патриар-

шества, скопировал какой-то официальный документ. Этот документ свидетельствовал о том, как советское правительство использует православную церковь для своего проникновения в страны Ближнего Востока.

Верующие сидели много лет в советских лагерях. Был один старик из секты „ильинцев”, бывший в этом плане вне конкуренции: он сидел с перерывами с 1916 года. Он по-прежнему верил, что в образе некоего капитана Ильина являлся на Землю Иегова. Два моих знакомых пятидесятника (одного из них через 10 лет встречал в лагере А. Синявский) сидели в нацистских лагерях смерти — Бухенвальде и Дахау. Советские лагеря воспринимались ими как естественное продолжение нацистских. И там, и тут они сидели за веру.

Больше других мне были симпатичны литовские католические священники. Вообще среди литовцев у меня было много друзей и приятелей, и я жил в „литовском” бараке. Литовские священники и украинские интеллигенты получали польские журналы и внимательно изучали их. Это давало им и информацию о мире, и пищу для дискуссий и размышлений. Это были серьезные журналы: *Studia filozoficzne*, *Myśl filozoficzna* и другие. Они пересказывали мне и другим заключенным содержание интересных статей.

Литовцы ввели обычай совместно праздновать в лагерях Рождество (24 декабря). И на эти рождественские ужины собирались русские, евреи, татары, католики, православные и атеисты. И здесь царила атмосфера дружбы и братства. Это был настоящий праздник солидарности заключенных.

Послесталинский „либерализм” постепенно шел на убыль. Уже не было зачетов и коммерческих столовых, режим становился все жестче. Вдруг было запрещено носить бороды. Старики-верующие особенно упорно сопротивлялись. Надзиратели (двое-трое) заламывали такому старику руки, а экпарикмахер проходил по подбородку. Некоторых стариков избивали.

Заключенные не были едины, никакого организованного сопротивления подобным издевательствам не возникало.

А ведь лагерный „либерализм” возник не только из-за

смерти Сталина и расстрела Берии, но и как уступка властей после грандиозных забастовок заключенных на Воркуте, в Норильске, на Колыме.

Однажды и в нашем лагере возник стихийный взрыв. Началось с того, что надзиратели избили (в карцере) до полусмерти одного украинца. Тогда другие украинцы стали бросать камнями в надзирателей, и те убежали из зоны. Было решено на работу не выходить. На следующий день к воротам, где побригадно выстраивались для выхода на работу, не подошел никто. Я был возбужден: впервые я был свидетелем и участником такой забастовки. Но вдруг мы увидели, что с вышек на нас наведены пулеметы. Более опытные заключенные хмурились: если на вышках пулеметы, то радоваться нечему. Потом какой-то полковник выступил парламентаром: он призывал нас идти на работу, а иначе, говорил он, „будут приняты меры”. („Принять меры” — это стрелять из пулеметов по безоружным людям.) Они открыли ворота и стали приглашать желающих на работу. И продолжали угрожать. И вот я увидел, как один за другим люди отрывались от нашей толпы и шли к воротам. Первыми были те, у кого были небольшие срока: 5-6 лет.

Так, стихийно начавшись, забастовка стихийно же и сочилась. Никто ее не организовывал, никто не сформулировал требований, которые можно было бы предъявить сейчас этому полковнику.

КГБ, как водится, искало после этого „зачинщиков”. И термин, который оно применило к забастовке, сам по себе интересен: „волынка”. Это общепринятый советский полицейский термин для обозначения стачек и забастовок. В царские времена полиция называла вещи своими именами.

На Вихоревке я сблизился с одним азербайджанцем, бывшим студентом, сидевшим за попытку бегства в Иран. Звали его Чингиз Джафаров (Чингиз Зейнабоглы — другая его фамилия). Узнав, что я марксист, он спросил меня: „А ты читал Гегеля?” И, получив отрицательный ответ, сказал авторитетно: „Нельзя считать себя марксистом, не изучив Гегеля. Да и вообще — все лучшее у Маркса — от Гегеля”.

И он предложил мне заниматься Гегелем. Каждый день 2-3 часа он читал мне вслух и тут же комментировал. Он оказался блестящим знатоком Гегеля и завзятым гегельянцем. Читали мы с ним *Феноменологию духа*. Потом читали и *Пролегомены* Канта. Книги Гегеля и Канта были единственным имуществом Чингиза.

В те времена и Гегель, и Маркс были популярны среди заключенных. Я знал, что Синкевич и его друзья по ГраСо тоже штудировали Гегеля. Черепов же более уважительно относился к Шеллингу. Шеллинг стал „модным” философом позже, в 70-е годы, вместе с ростом религиозности и мистicismа среди советской интеллигенции.

На штрафном лагере возник, независимо от меня и моих друзей, кружок заключенных, изучавших *Капитал*. Это были, в основном, бывшие уголовники. Один из них, Анатолий Кушнарев, был через несколько лет расстрелян, о чем я расскажу еще.

Я до сих пор благодарен Чингизу за то, что он открыл для меня диалектику Гегеля.

Чингиз пользовался большим авторитетом среди заключенных за мужество и непреклонность. В чем-то он был „восточным человеком”: иногда покуривал гашиш, например. Однажды пригласил меня пойти к подпольному торговцу наркотиками. Там торговец сделал ему и мне укол морфия: Чингиз считал, что надо знать, что это такое. Действительно, весь вечер после укола я испытывал то, что можно назвать блаженством, жизнь казалась глубоко прекрасной, колючая проволока как бы исчезла. Но на следующий день я не выразил желания повторить этот эксперимент. Слишком я хорошо знал, к чему ведет привыкание к наркотикам.

В лагере много наркоманов. Это бывшие уголовники, и все они — падшие люди, готовые за грамм морфия продать и друга, и брата. Кроме наркотиков, для них в мире уже ничего не существует. А сколько их умирает от заражения крови, от неправильной дозировки!

В СССР существуют целые подпольные синдикаты по производству и сбыту наркотиков. Кокаин, морфин и гашиш расходятся по разным городам страны, а особенно по уголовным лагерям, где находится основной их потребитель. На несчастье этих обездоленных заключенных, у которых осталась только возможность забыться в наркотических грезах, подпольные бизнесмены зарабатывают сотни тысяч рублей. Деньги открывают дорогу их товару в любой лагерь.

Случилось так, что работы в 410-м лагере на всех не хватало, поэтому часть заключенных оттуда перевезли в другие лагеря. А потом и всех оставшихся перевели в другой лагерь (№411), ближе к лесоповалу. Но мне вообще в тот год повезло: мой приятель — заключенный-врач — „диагностировал” мне такую высокую близорукость, что я был освобожден от работы „по зрению”. (Но очередная медицинская комиссия — уже в Мордовии — определила, что моя близорукость не такая уж страшная, и меня погнали на работу.)

Лагерь №411 запомнился мне тем, что там не было питьевой воды. Обыкновенно колодцы копают прямо в зонах — жилой и рабочей. Здесь, копая колодцы, всегда натывались на трупы, и воду из этих колодцев совершенно невозможно было пить: это была какая-то вонючая, тухлая, что ли, вода. Отвратительный вкус не исчезал и после кипячения. Говорили, что это „трупная” вода — слишком уж много захоронено было здесь людей. Пробовали копать в разных местах лагеря — результат оказывался один. Или наш лагерь действительно располагался на огромной братской могиле наших предшественников? Мы знали, что когда-то эту строящуюся дорогу Тайшет — Лена называли „трассой смерти”, тысячи и тысячи заключенных и военнопленных погибли здесь.

Эту „трупную” воду мы не использовали даже для бани. Баня была один раз в 10 дней, а воду привозили из отдаленного колодца, и каждый мог получить не больше двух тазиков, литров 10. Я был в этом лагере только зимой, когда проблема ежедневного умывания решалась просто: умывались снегом. Для питья тоже использовали снег, растаивая его.

Из Тайшета к нам на штрафной привезли группу студентов. До этого все они (у всех их были небольшие сроки, 4-6 лет) работали на копке картофеля в так называемом „сельскохозяйственном лагере”. Работали месяц без выходных: им обещали, что первый же дождливый день будет для них выходным. И вот однажды пошел дождь, но их упорно гнали на работу. Часть заключенных вышла в поле, а эти — отказались. И вот теперь они были с нами, а это значило, что они не могли освободиться по отбытию 2/3 срока: досрочное освобождение не распространялось на штрафные лагеря.

Но эти молодые люди не унывали: каждый свободный час они использовали для занятий. Некоторые из них изучали иностранные языки, другие — математику или философию. Среди этой молодежи был человек, годившийся всем им в отцы (его и звали по-французски *père* — отец): Ефим Борисович Гольцберг. Он был здесь центром притяжения, мудрым советчиком, моральным авторитетом. Он создал вскоре нечто вроде философского семинара: делались доклады на разные темы, устраивались обсуждения книг. Помню, и я однажды реферировал книгу Бокля *История цивилизации в Англии*. Первое, с чем я столкнулся, была множественность дефиниций понятия „цивилизация”. Вокруг этого и крутился спор после моего доклада.

Благодаря таким людям, как Гольцберг, молодежь находила пищу для ума, пополняла свои знания, мыслила и спорила. Даже уголовники тянулись к этому кружку. Гольцберг и их привечал и пытался перевоспитывать. Был он по взглядам позитивистом и наибольший упор делал на изучение математики.

Молодые мистики и йоги также имели свои кружки, и мне иногда было интересно послушать их беседы.

Словом, интенсивность духовной жизни была гораздо выше, чем, например, в мою бытность в Курске. Концентрация одаренных, оригинальных и просто умных людей заставляла меня иногда думать, что я нахожусь в столице, а не на глухой станции Вихоревка Братского района Иркутской области.

Здесь дикая и по-своему прекрасная природа: тайга, сопки, закаты в красках Рериха или Р. Кента. Но летом, конечно, досаждали комары и гнус, а зимой — морозы. Официально считалось, что если мороз ниже минус 40 по Цельсию, то заключенные могут не работать. И если это правило соблюдалось, то только потому, что охрана сама не хотела замерзать в своих овчинных полушубках.

С Вихоревкой у меня связано и сугубо личное, романтическое воспоминание. Здесь я прочитал в газете *Известия* письмо некой студентки об изучении политэкономии в вузах. И я написал ей (минуя лагерную цензуру) о политэкономии, о *Капитале*, об омертвлении официального марксизма... Завязалась переписка, и через 6 лет эта студентка стала моей женой.

В апреле 1960 года нас стали перевозить в Мордовию. Всех грузили в „телячьи” вагоны, и только 25-30 человек с нашего штрафного разместили в „столыпине”. Считалось, что в „столыпине” везут самых опасных преступников. Действительно, здесь были руководители украинского и прибалтийского подполья, несколько лидеров разных сект. Но я не мог понять, почему я тоже оказался в этой компании. Позже я догадался: начальство маркировало меня как отказавшегося сотрудничать с ними.

В пути следования нашего эшелона (нас было более тысячи заключенных), в Куйбышеве и в других городах кому-то удалось выбросить из вагона листовки. В них описывалось положение политзаключенных, наш эшелон: вагоны для скота, пулеметы охраны, собаки... Потом, в Мордовии, КГБ безуспешно разыскивало авторов листовки.

В дороге я познакомился с интересным человеком. Лет 15 назад он был матросом. Потом поверил в Бога и прикнуд к так называемой истинно-православной церкви. Эти люди не берут никаких документов, в том числе и паспортов, и нигде не ставят своей подписи. Собственно говоря, их за это и преследуют. В лагере такое поведение осложняет их жизнь: нужно ведь расписываться за посылки и передачи, нужно получать квитанции за сданные в каптерку вещи.

У моего спутника пропал таким образом чемодан с вещами, и он ничем не мог доказать, что чемодан у него вообще был.

Из сибирской суровой зимы мы оказались в теплой весне Мордовии. Все казалось нам здесь милым: березовый лес за проволокой, теплое солнце, заключенные, встречавшие нас, „сибиряков”. Здесь тоже было много молодежи: поэты, мистики, марксисты...

Не нужно думать, что в лагерях тех лет конфликты существовали только между политическими и уголовниками, или политическими — и военными преступниками. Они возникали и среди „свежей” молодежи. Конечно, кровавых стычек и резни не было. Но я замечал некоторую элитарность отдельных групп по отношению к „массе”. Собственно, и на свободе это часто встречается: интеллигент, далеко ушедший вперед по умственному развитию от своей среды, начинает презирать „мещан”, „обывателей”, „конформистов” — народ. Часто такой интеллигент приходит к выводу, что ради этого „испорченного” народа, ради „мещан” не стоит жертвовать собой. И если он не эмигрирует, то сам становится конформистом. Некоторые интеллигенты-евреи начинают думать, что русский народ имеет тот строй, который заслуживает, и что евреям нечего делать в этой стране...

Но не только снобизм и элитарность я встречал в лагерях среди молодежи. Национальные предрассудки, национальная предубежденность очень сильны в лагерях. До поры до времени этого не сказывалось в нашем кругу. Но вот в Мордовии я впервые встретился с „русскими фашистами” (Коновалов и другие), которые не скрывали своих симпатий к Гитлеру и ненависти к евреям. Это были молодые люди, мои ровесники. Их кружок понемногу расширялся за счет „сибиряков”, т. е. ребят, прибывших вместе со мной. Между „фашистами” и „евреями” были кулачные стычки.

Впервые здесь, в Мордовии, я встретил и молодых монархистов, и будущих участников журнала *Вече*.

Находилась в то время в мордовских лагерях и организация Краснопевцева. Эти люди — студенты и преподаватели Московского университета — считали себя марксистами-

ленинцами и полагали, что могут давать советы ЦК — как вести внутреннюю и внешнюю политику. Сидели они за то, что обвиняли Хрущева в государственном перевороте. Из лагеря они продолжали посылать свои меморандумы правительству. Поскольку это никому не вредило, в этом не было ничего предосудительного, с моей точки зрения. Но они также полагали, что могут давать советы и лагерной администрации — как ей вести воспитательную работу. Сотрудничая в лагерной стенной газете, они фактически писали доносы: называли, например, кружок Е. Б. Гольцберга „буржуазным“, наклеивали ярлыки в духе советской пропаганды на разные группы и помогали КГБ расправляться с этими группами. О нет — они не „стучали“! Они „легально“ печатали свои выпады в легальной стенной газете, курируемой администрацией.

У Солженицына я впоследствии прочитал о том презрении, которое питали коммунисты и троцкисты в сталинских лагерях к социалистам и „казрам“. Так вот отношение „краснопевцев“ к остальным группам было сродни этому чванству „чистых“, „истинных“, „настоящих“ коммунистов.

„Русская действительность, — говорил Энгельс, — порождает странные, фантастические формы сознания“. Я убедился в этом в лагерях. Был среди моих хороших знакомых А. Ф., который считал себя поклонником Маркса и Гитлера одновременно. Он хорошо знал *Капитал* и другие работы Маркса, был материалистом. Одновременно он полагал, что миром правит плутократическая буржуазия — английская, американская, советская. И та, и другая, и третья — суть едины: это еврейская буржуазия. Если мы боремся с советской буржуазией, то, значит, и с еврейской — в мировом масштабе.

Несмотря на эти фантастические элементы сознания, А. Ф. — умный, начитанный и добрый человек. В 1964 году его вдруг увезли в ленинградский сумасшедший дом. Когда он вернулся, то сказал мне: „Встретил я молодого парня, очень толкового. Близок тебе по взглядам, тоже социалист. Запомни его фамилию: Буковский. Владимир Буковский“. Я запомнил.

В 1960 году, летом, мы прочитали статью в *Известиях* „Бездельники карабкаются на Парнас”. Там фигурировал Александр Гинзбург, редактор неофициального журнала *Синтаксис*. Кто-то сказал: „Раз *Известия* ругают, значит, он скоро к нам придет”. Почти так и оказалось: Гинзбург вскоре „приехал”, только не в наш, а в уголовный лагерь.

В Мордовии, вскоре по приезде сюда, мы узнали, что в 1957 году здесь, на 7-м лагпункте, в Сосновке, была забастовка. Несколько дней заключенные не ходили на работу, несколько дней они были хозяевами в жилой зоне. Забастовочный комитет выдвинул лозунги (и они висели на видном месте): „Долой антиконституционный, антидемократический 10-й пункт 58-й статьи!”, „Свободу инвалидам” и другие. В забастовочный комитет входили молодые заключенные: Мелешко, Анатолий Лупинос и, кажется, Александр Гидони, который потом стал давать показания на товарищей и впоследствии не раз бывал свидетелем обвинения. Руководители забастовки были наказаны: их увезли во Владимирскую тюрьму. Эта тюрьма славилась своим жестоким режимом и голодом. Около 300 человек попало в штрафной лагерь.

Нам в лагерях 1960-61 годов еще нельзя было говорить о голоде: черный хлеб тогда еще лежал в лагерных столовых на столах, и посылки еще можно было получать, хотя количество их и вес уже были ограничены. Конечно, мы не видели, в отличие от заключенных Западной Европы, молока, масла, фруктов, но этого часто не видят и „вольные” советские граждане. А во Владимирской тюрьме было значительно хуже, чем в наших лагерях.

Мой приятель, участник ГраСо, Алексей Ржаницын побывал в этой тюрьме и вернулся оттуда сумасшедшим. Его сумасшествие носило характер перманентного и какого-то сверхестественного голода. Как только он попал в лагерную столовую, он тут же съел 7 или 8 порций каши. И попросил еще чего-нибудь. Принесли буханку хлеба, он тут же расправился с нею. Затем несколько полных мисок борща... Даже издававшие виды эки приходили посмотреть на это чудо. Мы думали, что этот психический голод скоро пройдет у него.

Но нет, это продолжалось с Ржаницыным долго. И если поначалу ему охотно давали больше, чем другим, то потом он уже должен был выпрашивать лишнее у поваров. А хлеб тем временем лимитировали (как, впрочем, и в столовых на свободе).

Ржаницын внешне ничем не отличался от нормальных людей, но любой разговор он постепенно переводил в русло питания: сколько калорий, белков, углеводов в той или иной пище. Он даже написал и послал в редакцию одного журнала статью — думаю, вполне научную — на эти темы.

Другого моего приятеля, Булата Г. — члена „Группы революционных марксистов” — сумасшествие настигало периодически, и он заранее узнавал, что вот-вот „оно” настигнет его. В светлые промежутки, когда он был полностью здоров, он рассказывал, что „это” — сильнее его.

„Я иду, — рассказывал он, — и слышу голос: „Падай!” И я не могу не подчиниться этому голосу, я падаю”.

„Голос” этот приказал ему однажды плясать — и он плясал более суток подряд, не переставая, сначала в бараке, а потом в карцере: ведь не могли же надзиратели допустить, что кто-то пляшет в бараке после отбоя! И побили его как нарушителя дисциплины — только ему это было все равно: он не обращал внимания на пинки и затрещины — он продолжал плясать. Через несколько дней, отоспавшись и придя в себя, он пытался анализировать свою болезнь. В такие „светлые” промежутки с ним можно было говорить на любые темы. Особенно он любил обсуждать проблемы советской экономики. Он прекрасно знал предмет и помнил массу статистических данных. А потом снова надвигалось „затмение”: на моих глазах в лагерной столовой он бросил окурочку махорочной самокрутки в огромный котел с супом (порций, наверно, на 200). Повара тут же схватили его и стали избивать. Еле удалось оттащить их, и невозможно было доказать им и надзирателям, что этот человек просто болен и что надо не избивать, а лечить его. Какое уж там лечение! Побои и карцер, наручники и „рубашка”...

В лагерях и тюрьмах много сумасшедших, но это не бе-

спокоит администрацию. А здоровых людей — таких, как Плющ, Горбаневская, Лупинос, — посылают „лечиться” в сумасшедшие дома.

В Мордовии я встретил участников различных подпольных организаций из разных городов. Скорее, это все-таки были группы и группки, но КГБ всегда именовал их „организациями, ставившими целью свержение советского строя”.

В Тбилиси, например, арестовали трех юношей и одну девушку. Девушка работала в библиотеке, где один из молодых людей, Валерий Дунаевский, прочитал стихи о Маяковском, „антисоветского содержания”. А один из юношей готовил листовки. Часто человек, если уж думает бороться за свободу, то за свободу всего человечества. Вот и Степан (так звали этого юношу) планировал распространение своих листовок не только в Тбилиси, но во всем мире: их должны были сбрасывать с самолетов над Африкой, Азией, Латинской Америкой...

Два 20-летних парня были арестованы в Курске. Характерно, что куряне были из рабочих семей и сами были рабочими: окончив среднюю школу, они работали на крупном курском заводе. Они прочитали *Государство и революция* Ленина свежими глазами и увидели, что государство, в котором они живут, — не „ленинское”, а напротив, капиталистическое, государственно-капиталистическое. Наиболее близкой им казалась программа Союза Коммунистов Югославии, с ее критикой „этатизма”. И вот они выпустили листовки, которые заканчивались словами: „Да здравствует Союз Коммунистов Югославии!” Листовки были напечатаны на машинке. Они распространили их в курском кинотеатре „Комсомолец” во время сеанса.

А книгу Ленина они переплели в яркую обложку с изображением колючей проволоки и в таком виде давали читать рабочим. Самое потрясающее, что книга имела успех! В государстве, где Ленин обожествлен и где один вид его книг вызывает приступ зевоты, кажется невероятным, что кто-то будет добровольно читать его книгу. К тому же, эта книга Ленина не оригинальна: в ней компиляция идей Маркса и

практики Парижской Коммуны. Но первые же строки книги — о том, как правящие классы превращают революционных мыслителей в иконы для „одурачивания” рабочего класса, — били не в бровь, а в глаз советским правителям.

Разумеется, в приговоре молодым „ревизионистам” книга Ленина не упоминалась, как и восхваление правящей партии другого социалистического государства. Но все-таки Владислав Ильяков получил 7 лет, его товарищ — 5.

В лагерях В. Ильяков эволюционировал от ленинизма к идеологии журнала *Вече*. Сходную эволюцию — слева направо — проделал и бывший „ревизионист” Ю. Машков.

Познакомился я и сдружился с группой ленинградских марксистов, арестованных в 1958 году. Все они учились на философском факультете ЛГУ, один из них, Гаранин, был даже парторгом этого факультета. Они глубоко и серьезно изучали философию: Канта, Гегеля, Маркса.

Имя Плеханова, бывшее при Сталине как бы под запретом и упоминавшееся только в ругательном контексте, начинало тогда понемногу появляться на страницах журналов. Но столетие со дня рождения его, первого русского марксиста (он родился в 1856 году), не отмечалось в СССР. И вот эти студенты организовали экскурсию на кладбище и возложили венок на могилу Плеханова, что очень насторожило начальство. Причем, у них не хватало денег на венок (Плеханов родился в декабре, цветы в декабре дорогие), и студент Молоствов сдал свою кровь как донор, чтобы добыть недостающие деньги.

200 граммов собственной крови за марксизм в государстве, называющем себя марксистским, — это для начала. А потом он получит — за марксизм — 7 лет лагерей. Его товарищи: Солоухин, Гаранин, Козлов — все выпускники ЛГУ — тоже попадут в Мордовию на сроки от 4 до 7 лет. А их коллеги, их однокурсники станут официальными философами, и один из них — Борискин — приедет в мордовский политлагерь как лектор-атеист и будет читать лекцию на антирелигиозные темы.

Борискин был свидетелем обвинения по делу этой груп-

пы. Поэтому после лекции заключенный Молоствов задал лектору Борискину каверзный вопрос: „Вы доказали, что не было Христа. Сможете ли вы доказать, что не было и Иуды?”

Вопрос был понят, и за оскорбление приезжего лектора Молостова посадили в карцер.

Эта ленинградская группа, наподобие наших марксистов по делу Пименова, была сугубо теоретическая. У них не было никаких листовок, и вообще весь их криминал заключался в их частной переписке (после окончания университета они были направлены на работу в разные города).

В лагерях они продолжали изучать философию, переводили *Разрушение разума* Лукача, *Принцип надежды* Эрнста Блоха и неизбежно эволюционировали. В сторону, я думаю, более глубокого понимания сущности советского строя. В лагерях у них исчезали иллюзии, которые я назвал бы „медведевскими”, имея в виду Роя и Жореса Медведевых.

Помню свой спор с одним из этих марксистов. Он доказывал мне, что в СССР — социализм, только вот распределение не вполне социалистическое. Я отвечал ему, что, по Марксу, способ производства включает и производство, и распределение и нельзя отрывать одно от другого. Или, например, если я говорил, что в СССР фашистская система, то он отвечал: „Ну, это чисто внешнее сходство, а „внутри” между СССР и Третьим Рейхом большое различие”.

Но с течением времени сама жизнь заставляла моего оппонента отвечать более адекватно. Трудно в стране ГУЛага с его разнообразными методами насилия и унижения человеческой личности продолжать верить, что в этой стране — социализм, только с небольшими „извращениями”. Невольно приходит в голову мысль, что здесь и до капитализма еще далеко, и параллели с феодализмом и рабовладельческим строем напрашиваются сами по себе.

Встречались мне в Мордовии и другие группы, и отдельные интересные, запоминающиеся личности. Впервые в жизни встретил я (уже на особом режиме) живого троцкиста. Я думал, их больше нет на свете! (О том, что троцкисты

существуют за рубежом, и о 4-м Интернационале наша пресса тогда еще не писала.) А он продолжал считать себя троцкистом. Для него вообще время остановилось на 1927 году, когда его в первый раз арестовали. Этот человек, фамилия его Шенфельд, был тогда секретарем обкома комсомола Республики Немцев Поволжья. Посадили его за знаменитое „завещание Ленина“, которое тогда считалось „клеветнической фальшивкой“ и было опубликовано в СССР лишь в 1956 году. С 1927 года Шенфельд сидел почти без перерывов и жил по-прежнему в 1927 году. Он мог без конца рассказывать о людях, чьи имена знают уже только профессиональные историки КПСС, оперировал давно забытыми терминами вроде „сталинско-бухаринская группа“, „политизолятор“, „политпаек“ и т. д. Он рассказывал, что когда его арестовали в последний раз (где-то в провинции в 1958 году), то в кабинет, где его допрашивали, приходили чины КГБ и спрашивали его: „Правда, что вы лично знали Троцкого? Расскажите о нем“.

Хотя, как я уже писал выше, в приговоры и могло быть включено обвинение: „восхвалял врага народа Троцкого“, но сами следователи к этому легендарному персонажу испытывали только любопытство.

Встретил я и другого интересного коммуниста — одного из руководивших деятелей компартии Ирана Мизани. Он изучал Ленина и Сталина в иранских тюрьмах, а когда коммунисты были на легальном положении, он был даже комендантом какого-то города в Иранском Азербайджане. После запрета компартии в 1949 году, спасаясь от новых преследований, он бежал в СССР. Здесь ему хотели определить пенсию, но он заявил, что, как коммунист, он не может быть в стороне от созидательного труда. Он работал инженером на какой-то фабрике в Средней Азии и постепенно вживался в советскую действительность. Глаза стали открываться, и в 1952 году его посадили за антисталинские высказывания. После смерти Сталина его выпустили, но теперь, в 1958, посадили снова — уже за критику Хрущева. Несмотря ни на что, он продолжал считать себя коммунистом и очень радовался

своим контактом в лагере с молодыми людьми, в которых он видел надежду на реализацию своих социалистических идеалов. Это был типичный „еврокоммунист”. В 1962 году, когда я расставался с ним, он лежал в больнице с гангреной.

Был в том же лагере молодой человек из Ленинграда — Лева Бунин. Он служил в пограничных войсках на границе с Ираном. Однажды он сбежал в Иран, но иранские власти засадили его в тюрьму. Случилось так, что через некоторое время один иранский самолет заблудился, попал в Армению, и экипаж этого самолета был в руках советских властей. И вот был произведен обмен: СССР отпустил иранских летчиков, а Иран вернул Советскому Союзу Бунина. Бунин получил 12 лет за „измену Родине”. Можно себе представить, какие чувства он питал к шахскому правительству.

Был один молодой человек из Москвы, не помню его фамилию. Он решил сбежать на Запад через Румынию — Югославию. Ему удалось благополучно пересечь советскую границу. Но в Румынии, неподалеку от границы, его арестовали. Он не знал румынского языка и потому показался румынам подозрительным. Он прикинулся глухонемым, но вздрогнул, когда услышал лай полицейской овчарки. Полиции били его резиновыми дубинками, пока он не признался, что он — русский. Тогда полиция позвонила куда-то, и через полчаса явился офицер КГБ. У этого парня тоже было более 10 лет срока.

И опять, как и в Ленинграде, как и в Сибири, я встречал все новых и новых людей, добровольно вернувшихся из эмиграции: член НТС Андрей Новожицкий, диктор радио „Свобода” Ронжин, Михаил Васильевич Нестеров — кинопродюсер из Англии, Юра Аверкиев — по кличке „американец” — он жил в США и служил в американской армии. По его словам, он очень тосковал по Родине и регулярно ходил в библиотеку Конгресса США читать *Огонек* и *Крокодил*.

Каждый из сидевших в послесталинских лагерях может привести десятки подобных случаев. Легковерные люди, поверившие советским дипломатам, они быстро ломались от такого потрясения...

Рассказ мой о разных категориях заключенных — по необходимости далеко не полон: я не рассказывал о различных группах с Украины, Прибалтики, откуда продолжала прибывать молодежь, о военных преступниках, о бывших уголовниках, о многочисленных верующих...

Но вот маленькая группа, нехарактерная для лагеря: бывшие бериевцы. Их было несколько, генералов и полковников, — во Владимирской тюрьме и в Мордовии. В 1961 году я жил в одном бараке с бывшим полковником Мурадяном. Он со своими однодельцами обвинялся в том, что ловил на улицах девушек и доставлял их Берии. Сам он предпочитал об этом не рассказывать. Но он остался в душе верен и Сталину, и Берии. В лагерях эти люди устраивались неплохо: ведь нынешние работники МВД должны были проявлять солидарность к бывшим. Так, Мурадян работал библиотекарем. Надо полагать, он „стучал“, поэтому я избегал разговоров с ним, хотя он и тянулся ко мне, все хотел наставить на „правильный путь“. Дружил он с дневальным барака Розенбергом — однофамильцем и земляком гитлеровского идеолога, бывшим гестаповцем. Дружба бериевца и гестаповца поистине символична.

В 1961 году в наш 7-ой лагерь прибыла группа молодых грузин: один из них был лектором по эстетике, другой — студентом, словом, это были интеллектуалы. Обвинялись они в попытке покушения на Хрущева. Один из них, Отари Маквебашвили, был даже приговорен к смертной казни, замененной потом 15 годами лагеря. Суть дела была в том, что в Тбилиси, на торжества по случаю юбилея Шота Руставели, должен приехать Хрущев. Говорили, действительно, о том, что можно было бы убить его, и обсуждали, где, на какой улице удобней это сделать. Но у молодых людей не было даже оружия, и вообще весь разговор шел в сослагательном наклонении. Однако слух об этом разнесся далеко, и некий монах в монастыре, часто посещаемом туристами, решил предотвратить покушение: он полагал, что убийство Хрущева дорого обойдется грузинскому народу. Однажды в монастыре были какие-то высокопоставленные московс-

ские туристы, и монах сказал им: „Передайте Хрущеву, чтоб он не приезжал в Грузию — его хотят здесь убить”.

Хрущев так в тот раз и не поехал в Грузию, монаха арестовали (он тоже сидел с нами на 7-м), а потом нашли и группу интеллектуалов во главе с Маквебашвили.

Пропагандисты в Грузии после этого выставляли этих молодых людей как детей бериевцев, борющихся за утраченные привилегии своих отцов. Но это была ложь. Они не были заражены столь популярным в Грузии культом Сталина. О том, насколько несерьезно было обвинение этих грузин в терроризме, свидетельствует тот факт, что после падения Хрущева их приговор был опротестован и всех освободили.

Словом, картина лагерного неселения была достаточно пестрой. В одном углу барака бывшие уголовники режутся в карты, в воздухе висит матерная брань. Рядом молятся верующие. Бывший гестаповец начищает до блеска сапоги (они довольно чистоplotны, любят аккуратно застилать постели, наводить блеск на обуви). Рядом презирующие все внешнее марксисты спорят об Эрихе Фромме. И от одной группы к другой ходит сумасшедший и всюду вмешивается в споры. Уголовники водят пассивных гомосексуалистов на чердак. Картежная игра заканчивается порой ударом ножа. Словом, жизнь кипит.

Я уже писал, что в первые годы в лагере мне казалось, что здесь гораздо интереснее, чем, скажем, в провинциальном Курске (по крайней мере, я мог утешать себя этим). Но со временем сидеть в лагере мне порядочно „надоело”, а до конца срока оставалось еще 5-6 лет! Конечно, друзья, которых я нашел в лагере, были подлинными друзьями, и это было единственное спасение и проблеск в этой беспросветной действительности.

В мордовских лагерях тоже возникали подпольные организации наподобие сибирского ГраСо. В конце 50-х годов КГБ раскрыло так называемую „Прогрессивную партию”, которую возглавлял молодой белорусский студент Эрнст Сабилло. Конечно, слово „партия” было слишком громким для группы в 15-20 человек. А для карательных органов это

всегда подходящий предлог для более жестокой расправы. Однако идея создания подпольной организации среди заключенных, несмотря на провалы ГраСо и „Прогрессивной партии”, продолжала жить.

В 1961 году меня внезапно повезли в столицу Мордовии Саранск. Вместе со мной в Следственный изолятор КГБ (так теперь назывались бывшие „внутренние тюрьмы”) привезли десяток знакомых и незнакомых мне заключенных из разных лагерей Мордовии. Еще в пути следования стало ясно, что всех нас везут по делу недавно раскрытой лагерной „организации”. Я не помню ее названия, но помню, что создана она была еще в Сибири, в Озерлаге, а в Мордовии расширилась. Я близко знал тех, кто был теперь арестован в качестве руководителей этой организации: Владимир Тунев, Семен Бутин (из семьи маньчжурских эмигрантов, репатрировавшихся в СССР) и, что особенно меня опечалило, Чингиз Джафаров — мой учитель гегелевской философии.

Их организация напоминала ГраСо, провалилась она из-за нестойкого поведения одного из их товарищей, Георгия Зайцева, который был старше всех остальных и много лет отбыл на Колыме. Этот Зайцев, с которым я не был лично знаком, среди участников организации назвал и мою фамилию. Поэтому-то меня и привезли сюда, в столицу республики, где бригада следователей КГБ трудилась над раскрытием очередного „заговора”.

На первом же допросе следователь предложил мне рассказать об „антисоветской организации”, в которой я якобы участвовал. И сказал, что в случае моего чистосердечного признания ко мне будет проявлено снисхождение. И не надо, мол, упорствовать: им, следователям, уже „все” известно. Этот традиционный метод давления на свидетеля был настолько мне знаком, что этот следователь тоже показался мне старым, давным знакомым. Я уже мог предположить, что он будет говорить дальше, чем угрожать и чем соблазнять.

Все, однако, упрощалось тем, что я действительно не был участником этой организации. Конечно, косвенно я знал о ее существовании, но ни разу ее создатели не пытались при-

влекь меня в свои ряды. Меня продержали в тюрьме недели две, пока Тунев не сказал следователям, что я рассматривался этой организацией не как ее член, а как „сочувствующий”. После этого меня вернули в лагерь.

Однажды меня вызвал к себе в кабинет замполит КГБ Мордовской АССР подполковник И. В. Арбузов (кажется, он сейчас в этой же должности в Смоленском УКГБ). Он сказал мне, что вызвал меня не для допроса, а для беседы и что в принципе я могу отказаться. Но он хотел бы все же побеседовать со мной — просто так, без протокола — на идеологические темы. Ему хочется знать, почему я недоволен советским строем, что именно меня в нем не устраивает. Все это не будет фиксироваться (а как я мог это проверить?), и мои взгляды не будут мне ставиться в вину. Просто он, Арбузов, интересуется идеологией противников СССР.

Я решил, что лавировать или лгать ему не буду, и начал с Октябрьской революции, а точнее — с предпосылок построения социализма. Собственно, я пересказывал ему ту книгу по истории СССР, которую мы когда-то писали с С. Арбузов слушал внимательно и не перебивал. Когда я кончил, он воскликнул с пафосом: „Это какой-то экстракт из эсеро-меньшевистских концепций!”

Но от дискуссии уклонился, а стал говорить о том, что партия и правительство, дескать, понимают, что до полной демократии у нас далеко. Некоторые шаги по пути демократизации уже сделаны, но не все сразу! Сейчас мы должны поднять жизненный уровень населения, догнать США по производству продукции на душу населения. Это произойдет к концу семилетки — к 1965 году (разговор происходил летом 1961 года), а потом уж можно будет подумать и о демократизации, об амнистии политзаключенным (официально в 1958 году было заявлено, что в СССР нет политзаключенных). Напоследок Арбузов спросил меня: если будут достигнуты эти цели — высокий жизненный уровень и демократизация, — то буду ли я „бороться с советской властью”. Я ответил отрицательно, хотя, очевидно, надо было уточнить и понятие „демократизации”, и понятие „борьбы” с властью.

Этот Арбузов, возможно, и сам верил в хрущевские начинания...

А Бутин, Тунев, Джафаров получили тем временем 8-10 лет нового срока каждый.

В 1962 году меня привезли в лагерь 385/10 или попросту „десятый”, где собрали всех рецидивистов. К этому времени четко проявилось новое направление карательной политики: ужесточение режима. Уже давно не было тех привилегий для заключенных, которые я застал в 1958 году. Теперь вводилось 4 режима для заключенных вообще, а для политических — только два, но самых тяжелых: строгий и особый. Непосвященным трудно понять, что хуже: „строгость” или „особость”. Но Солженицын верно писал в *Архипелаге*, что в советской системе со словом „особый” связано всегда нечто злое. Те, кто, как я, имел две судимости, считались **особо** опасными рецидивистами и, стало быть, попадали на „особый” режим. Все прочие политические — на строгий. Поначалу „десятый” почти ничем не отличался от других наших лагерей. Но невдалеке от него строили новый тюремный корпус — именно там, в мрачных камерах приземистой тюрьмы, должны были мы сидеть, а не в бараках зоны. „Особость” нашего режима заключалась прежде всего в том, что это уже был не лагерь, а каторжная тюрьма. Ну и, разумеется, полная отмена посылок, большее ограничение переписки и свиданий. Перевод наш в эту каторжную тюрьму был вопросом времени — ждали, когда ее выстроят.

Строили „спец” заключенные — уголовники-иностранцы (корейцы, греки), которых к тому времени отделили от нас, и отчасти наш брат — политические. Это старая — и, наверное, не только советская — традиция: заключенные сами для себя строят тюрьмы. В этом есть какой-то глубокий символ, как и в том, что перед расстрелом люди сами копают себе могилу.

Из нашего лагеря посылали на стройку только тех, у кого оставался небольшой срок — полгода, год. Таким образом, эти еще могли рассчитывать, что сами они в этой тюрьме сидеть не будут. Они строили ее для нас.

Были группы заключенных, которые наотрез отказывались участвовать в такого рода строительстве: это были „святые” — баптисты, свидетели Иеговы. Но тут возникали споры: а что считать строительством? Те же баптисты работали на кирпичном заводе, который выпускал кирпичи для этой тюрьмы. И те, кто строил тюрьму, указывал на это, обвиняя баптистов в непоследовательности. Несколько человек подвозили кирпич на лошадях: можно ли их было считать строителями? Это вечный вопрос о соучастии, о границах и критериях. Как говорят в лагерях о некоем военном преступнике: „он не расстреливал, он только трупы оттаскивал”.

Как бы там ни было, поведение „святых” было героическим: за отказ работать на стройке их сажали в карцер, лишали и без того ничтожных льгот, но их совесть, их религия говорили им: тюрьму строить нельзя, колючую проволоку натягивать — аморально. Все другие рассуждали так: тюрьма все равно будет построена, сопротивляться бессмысленно. Но и тут, конечно, были единичные исключения.

Весной 1962 года в наш лагерь привезли полосатую одежду (сшитую, конечно, тоже в каком-то лагере), и первыми в нее одели „святых”. Было как-то дико и непривычно смотреть на людей, одетых во все полосатое: полосатые брюки, полосатые куртки и телогрейки, полосатые чепчики на головах. Особенно жутко было смотреть на движущуюся полосатую колонну. Такую одежду многие из нас видели только в кино: на ум приходил Бухенвальд, Освенцим... А с другой стороны, что-то клоунское, ненатуральное было во всем этом, какой-то зловещий карнавал. Мы недоумевали, зачем это было нужно властям? А им было нужно, чтобы мы всегда помнили, что мы — „особые”. Так они маркировали нас, выделяя среди других заключенных.

К полосатой одежде мы вскоре привыкли. И даже немного удивлялись, когда приходилось видеть заключенных из других лагерей: их серая или темная одежда казалась нам теперь какой-то блеклой, чересчур уж нейтральной.

Всю собственную одежду „вольного” образца нам велено было отправить родственникам. Причем никакой сопроводи-

тельной записки посылать не разрешалось. Иные родственники, получив из лагеря одежду своего сына, мужа или отца — без слова привет, — приходили в ужас: им казалось, что он расстрелян.

Впрочем, вскоре администрация лагеря стала действительно говорить нам, что, мол, „народ требует вас расстрелять”. Они говорили это на „политзанятиях”, в частных беседах, говорили и приезжавшим на свидания нашим родственникам. К Вольту Митрейкину приехала из Москвы мать, и один из офицеров сказал ей, что ее сын „плохо себя ведет”, у него плохие друзья — например, Вайль — и что, возможно, его из-за этого... расстреляют. Старой больной женщине стало плохо.

В 1964 году, вскоре после падения Хрущева, в наш лагерь приехал полковник из Грузинского КГБ. Беседовал с грузинами, с другими заключенными. И сказал, между прочим: „Хрущев брал курс на полное физическое уничтожение политзаключенных, прежде всего рецидивистов. Во время кубинского кризиса все было приготовлено для вашего расстрела — даже яма была вырыта”.

Не знаю, так ли это, но разговоры о нашем расстреле были, действительно, часты именно в 1963 году.

Объем применения смертной казни в 1961-62 годах значительно расширился: „хищения в особо крупных размерах”, „посягательство на жизнь милиционера” и т. д. А для заключенных была введена в кодекс новая статья — 88-1: „дезорганизация в исправительно-трудовых лагерях”, и по ней как максимум тоже полагался расстрел. Дезорганизация понималась широко: „терроризация заключенных, ставших на путь исправления”, „нанесение антисоветских татуировок на открытые части тела” и т. д. Смертные приговоры стали выноситься за избиение надзирателя, даже если тот оставался цел и невредим. Это было новое слово в законодательстве!

Я не забуду случай Анатолия Кушнарева. Он прибыл к нам из уголовного лагеря, где с двумя товарищами „подправил” огромный ленинский лозунг, висевший в их зоне: „Коммунизм есть советская власть плюс электрификация

всей страны". Они замазали слово „электрификация" и вместо него написали „терроризация". В лагерях он сел за изучение *Капитала* — вместе с другими бывшими уголовниками — причем без всякого постороннего влияния.

Лично у меня не было с ним какого-либо контакта: я настороженно относился к бывшим уголовникам, особенно после истории с ГраСо и с легкомысленным Поповым, распространявшим мои листовки по Иркутску.

В 1963 году Кушнарев вошел в кабинет начальника отряда Малярова и засыпал ему глаза махоркой, смешанной с толченым стеклом. Его приговорили к смертной казни, увезли, и больше его никто никогда не видел. А Маляров вскоре оправился, зрение его, вначале ухудшившееся, постепенно вернулось к норме.

В нашем лагере было еще, может быть, десять других случаев смертных приговоров. Чаще всего это было связано с татуировками. Тогда появилась „мода" у уголовников — делать татуировки на лице (на лбу, на щеках) типа „Раб КПСС", „Раб СССР". Врачи в больничных лагерях безжалостно срезали эти надписи вместе с верхним слоем кожи. А эти люди снова делали подобные татуировки — в другом месте. Для уничтожения татуировок применялась и какая-то машина, выжигавшая их. А потом последовал этот указ о расстреле. И этих „дезорганизаторов" увозили навсегда.

Впрочем, в лагерях жила легенда (живет и сейчас), что приговоренных к расстрелу не расстреливают, а увозят в какие-то таинственные лагеря в Заполярье, где они якобы добывают уран и медленно умирают от радиации. Но я никогда не встречал людей с этих рудников, вообще никого, кто мог бы как-то подтвердить эту легенду. А тем, кто приговорен к смертной казни, понятное дело, нужно до самого последнего момента надеяться на что-то, на чудо, на таинственные рудники. И эта легенда помогает им, наверное.

Строительство „спеца" было, наконец, закончено, и началась сортировка: одних рецидивистов — туда, других (у кого оставалось немного до конца срока) — на строгий режим. До этого мы хоть и носили полосатую одежду, но

жили как бы не на особом режиме: не в камерах, а в бараках. Теперь все приводилось к норме.

Меня вызвал „на беседу” лейтенант КГБ и напрямик поставил условие: буду с ними сотрудничать — попаду на строгий, нет — на особый. Я так же напрямую отказался от его предложения. Он напомнил мне (прошло 3 года), что я — Борисов и что когда-то дал подписку о сотрудничестве. Я сказал, что это была моя ошибка и что я ее не повторю. Разговор был короткий, и через несколько дней я сидел в камере „спеца”.

Здесь мне предстояло пробыть два с половиной года, и отсюда я вышел на свободу в сентябре 1965. Эти два с половиной года были самыми тяжелыми для меня. Но первый день, первый вечер — „новоселье” в этой тесной и темной камере — запомнилось мне внезапным преодолением ужаса тюрьмы, преодолением, разумеется, иллюзорным. В тот вечер бывшие уголовники достали гашиш, и я в первый и последний раз в жизни курил этот наркотик. Гашиш отличается от морфия по воздействию на психику: те, кто курят гашиш, обычно смеются, они всегда веселы. Самые обычные вещи способны рассмешить их до слез. Расплата за эту эйфорию — ослабление умственных способностей, в частности, памяти.

Выкурив самокрутку махорки с добавлением гашиша, я вдруг почувствовал этот прилив неестественного веселья: мне стала смешна и совсем уже не страшна эта тюрьма, эти надежные решетки и многочисленные замки. До чего же смешно и нелепо, что они посадили меня сюда! И вокруг меня хохотали, заливались от смеха мои сокамерники. Кто-то нечаянно уронил в „парашу” авторучку — как же смеялись все!

А наутро — будни: подъем в 6 утра, затем всех гонят на работу, в 6 вечера — снова в камере, и до утра — под замком.

Формально это был „исправительно-трудовой лагерь особого режима”, а фактически — это каторжная тюрьма, т. е. тюрьма с принудительным трудом. Труд был трех видов: швейная мастерская, строительство и — позднее — машин-

ный цех, где на старых прессах изготавливались детали для автомашин. Рабочая неделя — 48 часов, и, хотя по стране произошло сокращение рабочего дня до 41 часа, лагерей до сего времени оно не коснулось.

Воскресение — выходной, и этот день был по-своему тягостен, так как его приходилось проводить под замком. Работа была тяжела и почти не оплачивалась (все заработанные деньги высчитывались на питание, обмундирование и охрану), но все же она вносила какое-то разнообразие. В воскресенье же ничего, совсем ничего не происходило, ничего не доходило из внешнего мира, время останавливалось. Шесть дней ты ждал отдыха, но это не был отдых — это было мучительное изживание самого себя. Мертвый, потерянный день...

Почту приносили только в будние дни. И какое счастье, если было письмо, а в письме — фотографии родных тебе лиц. Самое дорогое у заключенного — письма и фотографии. Письма с воли часто зачитываются вслух, каждому слову придается особое значение, а фотографии переходят из рук в руки.

В воскресенье почту не приносят. В воскресенье только выпускают на прогулку-оправку — вынести параша и подышать свежим воздухом (возле уборной) на крохотном дворике, окруженном колючей проволокой. В уборную в это время очередь: в эти полчаса все хотят попасть туда, чтобы не сидеть потом на параше в камере. Толпятся во дворике люди в полосатой одежде, лица у всех нездоровые, землистого цвета, головы стриженные.

Можно, конечно, искать забвения в книгах, но не каждый может сосредоточиться, если в небольшой камере (около 30 квадратных метров) — 15 человек (поначалу было и больше) и каждый занят своим делом: разговоры, споры, картежная игра... Хорошо уходить от действительности в сон, что и делается часто после обеда в воскресенье, часто всеми одновременно. Может присниться сон, что ты на воле или что рядом с тобой — женщина. Сон у заключенных считается большой ценностью, и будить человека без особых оснований

— не принято. Ведь только во сне заключенный свободен.

Часто возникают споры: открывать или закрывать форточку. Всегда образуются две партии: одни боятся простудиться, другие же ценят свежий воздух. Курят почти все, поэтому в камере сизо от дыма. Некурящим остается безропотно терпеть. У „святых” — другое дело: там не курит никто, и воздух чистый. Но „святых” часто смешивают с „грешными”.

Одни бросают окурки и пепел на пол. Другие возмущаются: мы здесь живем, зачем же сорить? Зачем делать из камеры свинарник? На что первые резонно отвечают: нас всего лишили, всякой свободы, последняя свобода осталась — плюнуть и бросить окурочек на пол, — неужели и этой последней свободы мы должны лишиться?

У каждого своя точка зрения и свой вкус. „Святые” и бандиты, гомосексуалисты и бывшие коммунисты, туберкулезники и язвенники, сумасшедшие и талантливые... Все мы уже знаем друг друга, изрядно надоели друг другу. Одни и те же лица, одни и те же конфликты, одна и та же матерщина. И только сроки разные: одному остался год, и он уже считает дни, у другого — 15 лет впереди — и он надеется только на амнистию. Он жадно вчитывается в письма и газеты: не изменилось ли что на свободе? А вдруг — война! Тогда — конец тюрьме: может, на фронт отправят, можно будет сбежать, может, и расстреляют — но это тоже выход, все лучше (так им кажется), чем медленно угасать здесь, в этой яме. Все прекрасно понимают, что это не жизнь, а какое-то медленное гниение. Поэтому разговоры о войне как о каком-то приемлемом выходе, как об избавлении, разговоры эгоистические и кощунственные, все время вспыхивают среди заключенных. И их, этих людей, нужно понять: мир сузился для них до размеров камеры, никто и ничто не изменит их растянувшегося на долгие годы кошмара — и только война мигом разрубит все узлы и вернет им, возможно, свободу.

Где-то есть Крым, Ривьера, Адриатика — синее море, яхты, девушки... И к людям, вкушающим эти прелести

жизни, у заключенного появляется уже не зависть, а ненависть. Один лагерный поэт писал на Колыме:

Я хочу, чтобы людям в божественной Нище

Этой ночью приснились на горле клыки.

А нехватка чисто внешних ощущений! Все краски вокруг — серые, глазу не на чем остановиться, не на чем отдохнуть: одежда, лица, стены, дворы — все это до ужаса уныло. Правда, за заборами и колючей проволокой можно видеть зубчатый лес — но как он далек! Как какой-то недосягаемый мираж, голубеет он на горизонте. И не в километрах надо измерять расстояние до этого леса, а в годах — в годах своего срока.

На моей памяти в лагерях бывали случаи, когда человек, вышедший на свободу, снова возвращался в лагерь — с новым приговором. У уголовников это бывало сплошь и рядом. И врезался в память традиционный для такой ситуации вопрос: „Сколько времени ты на свободе пробыл?” Точно тюрьма, лагерь были нормальным состоянием, а свобода — редким и необычным. И потом, уже на свободе, часто снился мне сон, будто возвращаюсь я в лагерь, на 10-й, и знакомые до одури физиономии окружают меня: „Сколько ж ты на свободе пробыл?” И этот сон сбывлся, хоть вернулся я и не на 10-й.

Была на 10-м острая тоска по одиночеству. В лагере еще можно найти тихий угол, ходить где-нибудь за баракom одному, размышлять наедине с собой. Здесь же это казалось невыносимым. Но я нашел выход. В лагерь привозили кинофильмы — примерно 2 раза в месяц и, как правило, только советские, старые и плохие. Кино показывали в столовой, и тогда все мои сокамерники устремлялись туда. А я оставался в камере. Многим было трудно понять это, надзиратели тоже удивлялись: „А ты почему не идешь? Святой, что ли?” (Верующие в кино не ходили.) Эти полтора часа я наслаждался одиночеством и тишиной: перечитывал старые письма, всматривался в фотографии...

Как и в других лагерях, на 10-м все заключенные делились на несколько „мастей”: „святые” (верующие различных

сект и церквей — все они сидели за свою веру), „блатные” (бывшие уголовники), „глухари” (военные преступники) и наконец, „студенты” (которые не обязательно были студентами, но которые обязательно сидели либо „за язык”, т. е. за высказывания, либо за попытку убежать из СССР). А среди „студентов” были такие, которых уголовники называли „сосал-домкратами”. Кто-то когда-то из моих приятелей объявил себя социал-демократом, уголовники легко переделали это иностранное выражение в более простое и „понятное”. Кличка эта закрепилась, и сосал-домкратами блатные стали называть всех, кто читал в лагере Ленина, Маркса или даже Гегеля. И, конечно, меня тоже называли сосал-домкратом, но не вкладывали они сюда особого презрения, а лишь иронию.

Сложное было отношение администрации. Никто из офицеров, как правило, не читал не только Маркса, но даже и Ленина. Разве только Ленина „прорабатывали” они на различных занятиях, но за этим не стояло никакого реального изучения. Им принудительно вдалбивали какие-то цитаты, и этим офицерам (включая и офицеров КГБ) было трудно понять, как можно добровольно, да еще с карандашом в руке, изучать труды официальных кумиров. „Святые” были для них ясны: это сумасшедшие, которые верят в Бога. Библию, Евангелие, молитвенники был приказ изымать. Но никогда не было приказа изымать Маркса или Ленина. С другой стороны, почти никогда не признавая этого открыто, они понимали, что только сумасшедший может читать Маркса. И не просто сумасшедший, а опасный сумасшедший. „Святые” со своей верой, в общем, не были опасны, а эти „сосал-домкраты”, занимавшиеся тем, что постоянно сравнивали теорию и практику „самого передового общества”, были, безусловно, врагами. Офицеры не скрывали своей ненависти к „сосал-домкратам”, тем более, что те торпедировали их каверзными вопросами во время различных „политзанятий”, прибегая к советскому методу цитирования классиков. Не обязательно было быть марксистом, чтобы числиться в „сосал-домкратах”, достаточно было факта, что ты читаешь Маркса.

Разные были люди в лагере. Впервые в жизни я встретил на 10-м людоеда, точнее — вампира. Звали вампира Вася, лет 15 назад он с двумя другими заключенными бежал из казахстанского лагеря. Они попали в пустыню, где страшно мучились от жажды. Один из беглецов был за проводника: он хорошо знал эту местность. Он умолял их терпеть: скоро они дойдут до колодца. Но эти двое не выдержали, убили своего товарища, а его кровью утолили жажду. А через пару километров был колодец... Потом их, разумеется, поймали, и теперь они отбывали срок — 25 лет — за людоедство.

Вася очень боялся, что товарищи убитого им заключенного отомстят ему. Больше всего он боялся, что его убьют ночью. Поэтому он выработал в себе привычку не спать по ночам. Вообще в лагере после отбоя заключенный обязан лежать на своих нарах. А Вася ходил по бараку, ему разрешалось это. Администрация вообще благосклонно относилась к нему, говорили, что он сотрудничает с „кумом”.

Когда однажды в лагерь прибыли курсанты училища МВД из-под Ленинграда на практику, начальник лагеря им сказал: „Здесь сидят опасные преступники: убийцы и людоеды”. И показал им Васин приговор. Ясное дело, у молодых людей волосы встали дыбом, и они легко поверили, что мы все такие, что недаром на нас полосатая одежда.

Я работал с Васей в одной бригаде и долго наблюдал его вблизи. С ним почти никто не разговаривал, разве только по работе. Вскоре его перевели с особого режима на строгий, что было для всех нас заветной мечтой. Помню, я спросил начальника отряда:

— Почему вы людоеда перевели на строгий, а меня не переводите? У меня прошла ведь половина срока. (Половина срока — необходимое, но не достаточное условие перевода с особого режима на строгий.)

Офицер ответил мне так:

— Этот людоед честнее вас.

И не раз офицеры цинично разъясняли нам, что военные преступники, коллаборационисты ближе режиму, чем мы, „студенты”: они ведь преследовали шкурные интересы, а у

нас — идея, стало быть, мы опаснее. Была бы воля офицеров МВД-КГБ — запретили бы они держать в лагерях книги Гегеля, Маркса, Плеханова, а заодно бы и Ленина. Потому что те, кто читает их, не укладывается в четкие и простые рамки их понимания.

Далеко не все „студенты” считали себя марксистами. А иные (Осипов, Машков, Ильяков) эволюционировали от „ревизионизма” к русскому национализму. И на тех, кто оставался на марксистских позициях, многие из „студентов” смотрели как на монстров или на белых ворон. Тем, кто так круто эволюционировал, казалось, что марксисты просто слепы, иначе они непременно отказались бы от марксизма. Старая история: умен только тот, кто разделяет мою точку зрения.

Были люди и более широких взглядов, яркие личности, создававшие вокруг себя некое духовное поле притяжения.

Вдруг весной 1963 года к нам прибыло три москвича, „свежих”, как говорится, то есть недавно с воли (недавно — это около двух лет, а ведь у нас сидели люди, арестованные еще в конце войны). Три молодых человека были моими ровесниками, и звали их: Владимир Осипов, Илья Бокштейн и Эдуард Кузнецов. Было совершенно непонятно, почему их, впервые арестованных и имевших всего одну судимость, прислали на „особый”. И к смертной казни они не приговаривались, и сроки у них были небольшие — не более 7 лет (по новому кодексу). Почему же их „закрыли” на „особый”? Одели в полосатую одежду и не побоялись, что рецидивисты „испортят” их? Сами они не могли ответить на этот вопрос. Но я помню, как один надзиратель, которого кто-то при мне спросил об этом, ответил, подняв указательный палец с большой значительностью: „Нам на политзанятиях говорили: они — пропагандисты!” (И „пропагандисты” прозвучали в его устах так, что я почувствовал себя где-то в царской России, среди народников, сто лет назад...)

Я быстро сблизился с „пропагандистами”, вся вина которых состояла, в основном, в публичном чтении стихов на площади Маяковского. Каждый из них был личностью,

каждый имел свои склонности и свои философские симпатии. Больше, чем с другими, я беседовал с Эдуардом Кузнецовым.

Выглядел он плотным крепышом спортивного вида. Несколько восточный разрез глаз, который сразу навел на размышления наших антисемитов. Один из них сказал мне конфиденциально:

- Кузнецов-то твой — жид!
- Почему ты так думаешь? — спросил я.
- По глазам вижу.

(Лет через 10 я узнал, что он был наполовину прав.)

Эдуард рассказывал мне о московских событиях, о стихах на площади Маяковского. От него я впервые услышал фамилию Галанскова. Он привез с собой много книг, в том числе уже вышедшие тома философской энциклопедии, что было в лагере большой редкостью. Он интересовался философией и на свободе, и в лагере. Таков был склад его ума. Но, в отличие от Бокштейна, который мог справедливо считаться „не от мира сего”, Эдуард крепко стоял „на хорошо закругленной земле”. Он человек и действия, и мысли.

Условия в особом лагере становились все жестче. Люди голодали. Эгоизм уже не искал внешних благопристойных форм, и все чаще вспоминалась железная формула сталинских лагерей: „Уми ты сегодня, а я — завтра”. Трое молодых москвичей держались мужественно, и было ясно: эти не сдадутся (а случалось: старых, закаленных бойцов — ломали...).

Володя Осипов не был тогда еще редактором русского патриотического журнала *Вече*, он разделял анархо-синдикалистские взгляды. Помню, как-то он сказал мне, что первоочередная задача в России — создание свободомыслящей интеллигенции. Я удивился: разве по плечу кому-нибудь создать целый класс? Вслух я только спросил:

— А как это возможно, по-твоему?

— Возможно, — ответил он, — если в среде нынешнего образованного слоя распространять определенную информацию — вполне легальную и относительно доступную. Например, больше узнавать о жизни на Западе. В этом по-

могут такие вполне легальные журналы как *Курьер Юнеско* или *Америка*.

Я не мог воспринять такие рассуждения всерьез: казалось смешным и утопичным создавать новую интеллигенцию посредством журнала *Курьер Юнеско*. Однако лет через 10 я пришел к выводу, что Осипов был не так уж неправ. Новая интеллигенция создавалась (и создается) из числа тех, кто хочет получать неотфильтрованную информацию, прежде всего, информацию о своей стране. Кому тесны узкие рамки мертвой официальной идеологии и кто хочет знакомиться с иными идеями.

В сущности, тогдашние мысли Осипова перекликаются с правозащитными идеями: „Речь идет не о том, чтобы выявлять и объединять сторонников демократизации, способных к социальному действию, а только еще о том, чтобы создавать какие-то очаги мысли и чувства, которые ... будут способствовать возникновению необходимого социально активного меньшинства”. (В. Турчин, *Инерция страха*.)

Что касается меня и моих близких единомышленников, то в тот период мы верили, что традиционная марксистская схема классовой борьбы в СССР еще верна, что надеяться можно только на рабочий класс или шире — на пролетариат (потому что и советских крестьян и советских служащих также можно считать пролетариями). В Иркутске я сказал как-то на допросе прокурору Недоросткову, что если бы власти разрешили бы мне полчаса говорить свободно на заводе, то все рабочие поддержали бы меня, а не их. Прокурор возмутился: „Что вы говорите! Да рабочие просто растерзали бы вас!”

На самом деле все зависит от конкретных обстоятельств. Рабочие Новочеркасска вышли на демонстрацию и были расстреляны. Другие рабочие — дружинники — могут разогнать любую неофициальную демонстрацию.

Мы, однако, полагали, что рабочий класс объективно уже готов бороться с „государственной буржуазией”. Не хватает только партии, способной организовать рабочий класс. Таким образом, мы своими рассуждениями отбрасывались назад,

к 1903 году. Но условия 1903 и 1963 слишком разнились! Создать пролетарскую партию в 1963 году — это уже довольно фантастично. И конечно, мы не были такими догматиками, чтобы механически применять программы социал-демократии начала века к специфическим советским условиям. Создать партию, рассуждали мы, пока нереально, а вот создать союз, небольшую организацию — это возможно. И цели такого союза были „скромные”. Как говорилось в одном документе, одобренным несколькими десятками человек, целью такого союза является „защита, разъяснение и творческое развитие идей научного социализма”.

Но как все-таки может существовать такой союз в условиях тоталитарного государства? Тут начинались споры и размышления. Вспоминали „молекулярную тактику”, с пристрастием вчитывались в мемуары революционеров и участников Сопротивления — и ни к чему положительному прийти не могли. Один мой приятель сказал как-то, что мысли обо всем этом не дают ему спать по ночам, что долгие часы, когда вся камера спит, он думает, упорно думает все об одном и выкуривает пачку махорки за ночь.

Через несколько лет, на свободе, я понял, что во многом это были бесплодные думы. Наш главный анализ был верен, но чего-то существенного мы не учли, определенных течений общественной жизни не предугадали.

А создавать подполье — было бессмысленным и гиблым делом.

Как мы в лагере, так некоторые группы в эмиграции, в условиях оторванности от общества, от почвы, выдают желаемое за действительное. И вот уже кажется им, что существует в СССР рабочее движение. Или что „брошюрки о правах” не нужны, нужны более кардинальные действия.

На самом деле нет сейчас ничего более кардинального, чем изменение сознания людей в СССР. Нельзя возлагать надежд на рабочих, если их сознание еще в плену тоталитарного образа мышления, если официальная пропаганда еще находит отзвук в их душах. Если их успешно спаивают водкой и если они верят, что в 1968 году „неблагодарные чехи хотели отколоться от нас”.

В лагерной жизни, бесцветной и монотонной, дни и годы сливаются в одну неразличимую череду. Но 1963 год памятен для меня двумя-тремя событиями. В начале его дошел и до нашего лагеря *Один день Ивана Денисовича*. На 10-м один лишь я был подписан на *Новый мир*. Но знаменитый 11-й номер долго не выдавали мне на руки. Орловский написал мне из Ленинграда, что в нем какая-то повесть о лагерях. Я запросил цензора, тот ответил, что журнал читает прокурор. Недели через две я написал прокурору, и мне ответили, что повесть читает замполит лагеря. Потом все-таки выдали. Я прочитал — и немедленно стал давать всем заключенным. У меня образовалась целая очередь на прочтение! Приходилось устанавливать сжатые сроки. Бывший уголовник Пепеляев сидел после отбоя, читал *Ивана Денисовича* и плакал. Надзиратели делали обход и отняли у него журнал. Пришлось назавтра снова обращаться к начальству. Вернули. Я давал всем читать, даже явным стукачам. Потом приходили ко мне и брали некоторые офицеры.

Иван Денисович жарко обсуждался в лагере. Даже о языке и стиле повести были противоположные мнения. Бывший член партии, тульский экономист У. считал, что все жаргонизмы и мат в повести только портят ее. А поэт (из уголовников) Геннадий Темин восхищался поразительной точностью образов Солженицына: „Доели хлеб до рук, — цитировал он мне, — нет, представляешь, только заключенный может оценить это по-настоящему! И лучше ведь — не скажешь”. Были многие, кто критиковал Солженицына за неполноту: а где же забастовки? расстрелы? Слишком уж мирный день в этом лагере! Мы тогда не знали, что впереди у писателя — *Архипелаг*. Но я говорил, я пытался объяснить другим, что произведение надо оценивать не по тому, о чем в нем не говорится. Действительность одного, вполне мирного дня в лагере достаточно ужасна.

Самого же меня смущало другое обстоятельство, имевшее отношение к обстоятельствам публикации этой вещи, а именно: о лагере Солженицын пишет в прошедшем времени. Вся критика кинулась восхвалять *Ивана Денисовича*, и названия

статей были типа „Это не должно повториться”. Стало быть, полагал я, и этот Солженицын, и восхваляющие его критики участвуют в сокрытии той правды, что „это” уже повторилось, ведь мы сидим, как и Иван Денисович, в лагере особого режима, в голоде, в холоде. А они в один голос пишут о нашей реальности как о преодоленном прошлом. Мы читали *Ивана Денисовича* и статьи „Это не должно повториться”, и как раз в это время нас одевали в полосатую одежду, грозили расстрелять, ужесточали режим. Как мы должны были понимать этот либерализм в литературе и зажим в жизни? И не двусмысленна ли в этом роль Солженицына? Лагеря, описанные им, существуют, и в то же время все брошено на то, чтоб продемонстрировать, что это было во времена Сталина. А где же мы?

Начальник одного из отрядов нашего лагеря капитан Аюшев в простоте душевной сказал о Солженицыне: „Подумаешь, Америку открыл! Да мы это каждый день видим!”

В газетах и журналах все больше появлялось статей о Солженицыне, а один латышский литературный журнал писал, что настоящие коммунисты в лагерях должны были бы поднимать восстания против администрации, и критиковал Ивана Денисовича за смирение.

По меньшей мере странно было все это читать в лагере, где только что ввели смертную казнь за нападение на администрацию и на „исправившихся”.

Мы не могли узнать ничего более подробного о Солженицыне из советской прессы, и только из одного интервью в *Литературной России* я узнал, что он живет в Рязани и носит дома лагерную телогрейку. Этот последний штрих несколько обнадежил меня, и я хотел было заехать к нему после освобождения. Но так и не заехал (а вдруг прогонит? все-таки официальный писатель), но зато впоследствии послал ему через рязанских знакомых тот номер *Нового мира*, который был зачитан в лагере особого режима, весь в пятнах от пальцев эзков.

В том же 1963 году вышел досрочно на свободу мой однодевец Пименов. Из 10 лет он сидел 6 и был помилован. Хода-

тайство об его помиловании писали несколько академиков, в том числе его старый знакомый А. Д. Александров, и это помилование поддержал Твардовский, бывший тогда еще членом ЦК КПСС.

Выйдя на свободу, Пименов встретился с бывшим главой Ленинградского УКГБ Н. Р. Мироновым, который теперь был зав. отделом административных органов ЦК КПСС, и спрашивал обо мне. Миронов пообещал Пименову изучить вопрос о моем досрочном освобождении. Впрочем, Пименов знал, что я „плохо веду себя в лагере”.

Обо всем этом я не знал, и для меня было полной неожиданностью, когда однажды привели меня срочным порядком на вахту из рабочей зоны. Там царила атмосфера возбуждения, и сам начальник нашего 10-го, подполковник Толбузов, подметал веником пол. Потом меня завели в комнату, где полно было приезжих чиновников. Они мне представились: главным среди них был инструктор ЦК Ушаков, затем некто Иванов из Прокуратуры СССР, высокий офицер из КГБ при Совете министров СССР и т. д. Я не понимал, зачем они меня вызвали. Они стали допрашивать меня. Ушаков вел допрос: „Как вы попали сюда?” Я кратко сказал о 1956 годе, не забыв акцентировать доклад Хрущева о Сталине.

„Зачем же вы распространяли секретный документ?” — спросил Ушаков с неудовольствием.

Я сказал что-то о демократизации. Это слово привело его в ярость. „Демократизация! О какой демократизации можете вы говорить!” Потом они выставили меня за дверь и допрашивали обо мне оперуполномоченного МВД. Затем снова ввели меня, и тут Ушаков стал упрекать меня, что я „плохо себя веду” в лагере, недавно вот читал заключенным крамольные стихи. Я сразу же понял, что речь идет о стихах Галанскова „Человеческий манифест”:

Министрам, вождям и газетам

Не верьте!

Вставайте, лежащие ниц!

Видите: шарики атомной смерти

У мира в могилах глазниц...

Я вспомнил, что на-днях читал вслух двум друзьям на работе это стихотворение, а мимо проходил и слышал... кто? кто из заключенных проходил мимо?

В общем, досрочного освобождения не состоялось, хотя Миронов и предлагал Пименову такой обмен: Пименов пишет „покаяние” в газету *Известия*, а взамен Миронов освобождает меня досрочно. Пименов не стал писать покаяние, а Миронов вскоре разбился над Югославией.

С начала 60-х годов КГБ все чаще принуждает заключенных „покаяться”, выступить в печати (центральной или местной, лагерной) с „осуждением своего прошлого”. Взамен они обещают свободу или — так было в моем случае — перевод с особого режима на строгий. Искренность такого покаяния всегда сомнительна, и — я могу смело утверждать это — в ней-то КГБ и не нуждается. Здесь идет голый торг: „Вы — нам, мы — вам”. Известно много случаев „покаяний”: монархист В. Шульгин, деятель НТС Е. Дивнич, украинский критик И. Дзюба, П. Якир и В. Красин... Одни покаяния конкретно никому вреда не приносят, в них человек говорит только о себе, другие же (Якир, Петров-Агатов) могут использоваться в кампаниях против еще не арестованных людей. Но в любом случае, любые „покаяния” работают на советскую пропаганду, на дезинформацию.

Однако постараемся понять и тех людей, которые годами томятся в тюрьмах, лагерях, психбольницах... На 10-м были у меня хорошие, товарищеские отношения с активным участником латышского Сопrotивления Стасисом Янушансом. Этот сильный и мужественный человек был в конце войны „двойником”: будучи лейтенантом МГБ, он одновременно участвовал в латышском подполье. Вскоре после войны был арестован, получил 25 лет, а в лагере участвовал в одном из восстаний, получил новый срок, так что в описываемое время он отсидел уже 15 лет и столько же ждало его впереди. Однажды его повезли в Саранск, в Мордовский КГБ, и там известный мне Арбузов и другой подполковник Лапшин предложили ему написать статейку для лагерной газеты *На стройке* (органа политотдела Дубровлага) о том,

что он осуждает свое „националистическое прошлое”. Взамен обещали ему освобождение.

Янушанс пользовался в лагерях большим авторитетом, и не только среди латышей. Об этом предложении он рассказал Артуру и мне, и мы, конечно, просили его не идти на сделку с совестью.

„Легко вам говорить так, — сказал нам Янушанс. — У тебя, Борис, осталось сколько срока? Два с половиной года. У тебя, Артур, год. А мне сидеть еще 15 лет. Конечно, я не смогу их отсидеть, это немыслимо. Я знаю, что могу принести пользу на свободе, вместо того, чтобы загибаться здесь”.

И он попросил нас набросать для него текст „отречения”. Такой текст, который был бы составлен в наиболее мягких выражениях и никого бы не задевал. Мы снова и снова пробовали отговорить его от этой затеи, говорили, что вообще-то все это может не дать результатов, и КГБ не обязан выполнять своих обещаний. Он не согласился с нами.

Мы писали текст, скрепя сердце, споря между собой, что лучше: написать обычное безликое заявление, шаблонность которого давала бы понять читателю, что тут нет ни грамма истины, что человека просто вынудили это сделать. (Это было бы похоже на заявление от имени Гелия Снегирева, появившееся в *Литературной Газете* в 77 году.) Или же написать нечто оригинальное, двусмысленное, что можно было бы понять и так и эдак (метод Евтушенко). Остановились, наконец, на первом, и вскоре это заявление, почти без изменений, поместила газета *На стройке*. Янушанс никого, кроме нас, не посвящал в эту историю, и теперь его „отречение” произвело бурю в лагере. Но все это нам троим надо было предвидеть! Латыши первыми перестали общаться с ним, а за ними эстонцы и литовцы. Всеми уважаемый человек вдруг подвергся бойкоту и оказался фактически в изоляции. Мы, разумеется, продолжали общение с ним, но и на нас из-за этого некоторые стали бросать косые взгляды. Через некоторое время Янушанса увезли в Ригу. Мы думали, его выпустят там на свободу, а нет: поводили под конвоем по городу, свозили в передовой совхоз — смотри,

дескать, живет Латвия, и не нужны ей ни отделение, ни подполье. Люди веселы и счастливы. Ради чего же вы мучаетесь в своих лагерях?

Это было тоже тогда новинкой в практике КГБ: возили украинцев в Киев, балтийцев — в их столицы. И как правило, это были крупные деятели Соппротивления. Ходил заключенный особого режима в вольном костюме по городу, рядом — 2-3 чекиста тоже в штатском, и никто вокруг из мирных горожан не подозревал, какие бури разыгрываются в душе замаскированного узника. Это должно очень сильно действовать на психику. Особенно на того, кто давно не видел этой нормальной жизни. Я думаю, вряд ли можно спать по ночам в течение такого „отпуска”.

Что может увидеть заключенный за 2-3 дня этого странного визита на родину? Он будет просто ошеломлен видом людей, женщин, цветов... И, вполне вероятно, что-то надломится в нем: жизнь идет и без меня, а я всего этого лишен, да и требуется всего-то подписать клочок бумаги, которому никто не придаст значения.

Янушансу, однако, показывали Ригу уже после его отречения. Из Риги привезли назад в наш лагерь. Он, разумеется, все время напоминал им об их обещании. Лапшин отвечал ему: „Обождите, не так быстро все делается. Мы будем ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета о вашем помиловании. А пока вот вы выступите перед заключенными, расскажите, что вы видели в Латвии”.

Артура уже не было в лагере, со мной Янушанс перестал советоваться, да и логика уже требовала от него: сказав „а”, сказать „б”. Я понимаю его. Он думал: не выступлю — не освободят. КГБ все сильнее захватывал его в свои объятия и отделял от других заключенных. На его доклад собирали сначала одних прибалтийцев, но большинство из них отказалось идти. Администрация прибегала к насилию, и кое-кто из бойкотировавших был посажен в карцер. Я не был на его докладе. Говорят, он оправдал в нем ожидания КГБ. Вскоре его назначили поваром в столовую. Это было как раз время голода (в 1963 году и на свободе было плохо с хлебом, а у

нас в лагере вернулись времена *Ивана Денисовича*: некоторые вылизывали миски после других заключенных). Привилегированная должность повара многое могла означать... Янушанс в силу своей конституции с трудом переносил систематическое недоедание. Временами он разговаривал со мной, пересказывал свои беседы с КГБ. Но я не был уверен, что эти пересказы были достаточно полные. Расспрашивали они у него и обо мне. И я стал замечать, что в его рассказах об офицерах Мордовского КГБ, когда его снова возили туда, проскальзывала какая-то симпатия или, лучше сказать, какое-то уважение к ним.

А ненависть заключенных к Янушансу росла, хотя вроде бы он не делал им ничего плохого. Вот только доклад, угодный начальству, сделал. Поваром стал. Но кто-то же должен быть поваром. Другой, глядишь, будет хуже.

Долго КГБ водил его за нос с освобождением. Я вышел, а он еще оставался в лагере. Но впоследствии я узнал, что его так освободили досрочно: лет через 5 после „отречения”. И он приехал в Латвию, и здесь, в начале 70-х годов, был убит неизвестными людьми. Некоторые предполагают, что убит был как предатель.

А мне по-настоящему жалко его.

В те же времена начали практиковаться приезды в лагерь различных делегаций от национальных республик: актеры, писатели, работники КГБ. Задача у всех этих делегаций была одна — убедить заключенных, что они оторваны от своего народа, что живут они старыми представлениями, а в конечном счете — в необходимости „покаяния”.

Я помню приезд некоего белорусского писателя (вот фамилию, к сожалению, забыл), участника войны, автора повестей и романов. На встречу с ним сгоняли белорусов, но так как их было в лагере мало, то стали гнать и других. Туда же попал и я. Худой высокий человек в сером костюме рассказывал нам о том, как неузнаваемо изменилась Белоруссия, сколько новых домов построено в Минске, какую продукцию выпускают минские заводы. Потом замполит, сидевший рядом с писателем, разрешил задавать вопросы.

И вот встал старый белорус, сидевший в лагерях уже лет 20 и сказал писателю:

— Все это хорошо, что вы нам здесь рассказали, но почему вы не обращаете внимания на то, в каких жутких, нечеловеческих условиях мы здесь находимся? Почему вам безразличны страдания ваших земляков, страдания на протяжении многих лет? Неужели вам эта одежда ничего не напоминает? — и он указал на свою полосатую форму.

Писатель смутился, начал мямлить насчет того, что он-де не уполномочен расследовать условия жизни в лагерях, тем более конкретные дела. Я тут же спросил его, кто его направили в эту командировку. Он ответил:

— ЦК Компартии Белоруссии, Союз Писателей и Комитет Безопасности.

Это был крупный писатель, и он еще мог смущаться, мог выглядеть растерянным. Но он не видел ничего предосудительного в том, что его поездка финансируется КГБ, да и нужна, прежде всего, карательным органам.

Внешняя жизнь проникала к нам в лагерь через таких вот писателей. Какие-то сведения просачивались из писем родственников, изредка приезжавших на свидания, но основная, ежедневная информация — это были советские газеты. И они, конечно, давали и искаженную, и далеко не полную картину. Так мы никогда не узнали бы о событиях в Новочеркасске в 1961 году, если бы не один заключенный — латыш, Суссей, который опросил в тюрьмах и пересылках участников и свидетелей этого расстрела. А затем, оказавшись в нашем лагере, он написал листовки и вкладывал их в библиотечные книги. Эти листовки содержали в себе точное фактическое описание новочеркасских событий, вызванных повышением цен и окончившихся столь трагически.

Из Краснодара, где годом позже тоже произошло стихийное народное возмущение и нападение на милицию, к нам прибыл человек — участник этих событий, и приговор по его делу мы внимательно изучали. Почти одновременно в разных городах возникали бунты, быстро, впрочем, подавляемые. Казалось, эти народные волнения должны были бы воодуше-

влять нас: есть еще в массах революционный потенциал! Но на самом деле этого не происходило: нельзя было не видеть слабости и незрелости этого протеста. Но не в последнюю очередь это экономическое недовольство масс подтолкнуло Брежнева и Суслова подготовить государственный переворот. Очень уж непопулярной в народе фигурой становился Хрущев, слишком уж были недовольны люди отсутствием самых необходимых продуктов.

В самом начале октября 1964 года один из заключенных нашего 10-го прикрепил на самом высоком здании рабочей зоны черный флаг с белой надписью: „Концлагерь медленной смерти им. 23 съезда КПСС”. Этот флаг висел с полчаса, был виден издали, и несчастный рассчитывал, что его увидят с дрезины, которая курсирует между Потьмой и Явасом. Был он, конечно, немедленно брошен в карцер, и против него было возбуждено дело по статье 88-1, что вполне могло кончиться расстрелом. Но внезапное падение Хрущева спасло его от этого: он отделался несколькими неделями карцера. Да и вообще в послехрущевские времена перестали приговаривать к расстрелу по этой статье, хотя сама она осталась в силе.

Переворот 14 октября 1964 года, как когда-то смерть Сталина, спас кому-то жизнь, кому-то вернул свободу, хотя масштабы были значительно меньше.

И естественно, что после переворота стали постепенно увозить от нас бывших уголовников, сидевших с нами исключительно „за Хрущева”. Но они выходили не на свободу — их увозили в уголовные лагеря досиживать по своим предыдущим приговорам. И выпустили на свободу молодых грузин, осужденных за „подготовку к покушению” на Хрущева: из своих 10-15 лет срока отсидели они всего 3-4 года. А нам, кто был осужден за „пропаганду” и „организацию” не против Хрущева, а против „советского строя”, падение Хрущева не принесло никаких перемен.

Нас становилось меньше в этом лагере, но условия нашей жизни не становились лучше. Самоубийство в лагере особого режима было не таким уж редким явлением, и принимало

оно разнообразные формы. То заключенный белым днем лез на проволоку запретной зоны, и солдат с вышки буквально расстреливал его (я знаю не меньше пяти таких случаев в нашем лагере), то „антисоветские” татуировки, приводящие к расстрелу, то разнообразное членовредительство.

Все что пишут о членовредительстве в лагерях А. Марченко, Э. Кузнецов и А. Шифрин — правда. И я знал тех людей, о которых они сообщают. Среди других помню Парахневича: он отрезал свое ухо, вложил в конверт и послал в ЦК КПСС. Разумеется, дальше „кума” ухо не пошло, а Парахневич получил за это 15 суток карцера, откуда, впрочем, он и раньше месяцами не выбирался.

Карцеры на нашем спецу были двух видов: с окнами (разумеется, зарешеченными и с „намордниками”) и совершенно без окон. В карцере второго типа была лишь над дверью отдушина, выходящая в коридор. Окно, как бы ни было оно забрано и зарешечено, придает все же камере жилой вид. Камера без окна — это каменный ящик, и мне всегда она казалась жуткой. Мне казалось, что я непременно задохнусь в ней.

В таком карцере повесился молодой латыш Суссей, тот, что распростаял у нас листовки о Новочеркасских событиях... А вскоре его приятель, сидевший в одной камере со мной, Валентин Суслов, стал говорить нам странные вещи: „Я скоро освобожусь! Вы не представляете, как. Но скоро увидите...” — и загадочно улыбался. Мы, 7-8 его сокамерников, решили установить за ним круглосуточное наблюдение, не оставлять одного. Это было нетрудно.

Но однажды за обедом в столовой один сокамерник, указывая на Валентина, сказал мне: „Ты только посмотри, как он лопает кашу! С какой жадностью... Разве человек, решившийся на самоубийство, будет так жрать!”

Я мог удостовериться в правоте его слов: Валентин жадно вылизывал последние крупички из миски. Он любил поесть и особенной брезгливостью не отличался. Я смотрел на него, и наши подозрения мне тоже показались смехотворными. Нет, только человек, стремящийся выжить, исполненный

воли к жизни, а не к смерти, будет так жадно есть, да еще кося по сторонам, нельзя ли где урвать добавок.

А на другой день Валентин Суслов покончил с собой: сгорел, взявшись за провода высокого напряжения (в 5 тысяч вольт) на крыше цеха, где мы работали. И я видел его синий огонь. В камере, в его вещах, мы нашли тетрадь со стихами Блока и Гумилева, и там была записка: „Прошу передать это Вайлю”, датированная несколькими днями до самоубийства. Значит, решили мы, он действительно давно уже готовился.

Для старых лагерников это было непонятно: Суслову было 27 лет, и сроку оставалось всего около пяти. Как всегда в таких случаях, спорили; как всегда, большинство было против самоубийств. Находились и такие (из уголовников), кто говорил, что если уж убивать себя, то надо увести с собой на тот свет и десяток чекистов.

Другие говорили, что вполне понимают Суслова, что лучше уж разом кончить со всем, чем длить это бессмысленное прозябание, „лучше ужасный конец, чем ужас без конца”.

Чтобы отвлечь людей от мрачных мыслей, я начинал высказывать им некоторые парадоксальные соображения. Я, например, доказывал им, что мы находимся здесь в лучшем положении, чем люди на свободе: мы живем надеждой — надеждой на освобождение. У людей же там — такой надежды нет, и от этого вся их жизнь обесмысливается. И еще: мы здесь свободны, абсолютно свободны, свободны от быта, от денег, от пищи... У нас у каждого есть 50 сантиметров нар в ширину, и нам не надо искать себе ни жилища, ни работы. А там на воле все это надо искать, устраиваться, зависеть от многих людей, бояться, приспосабливаться...

Украинец Игорь Кичак не выдержал моих разглагольствований и сказал: „Ну, это я не согласен. На свободе я могу книгу какую хочу достать почитать, а здесь?” Был он книжный червь и дрожал при виде книг. Еда для него в шкале лагерных ценностей была на десятом месте.

Все эти тихие беседы и споры шли у нас после отбоя, т. е. после 10 вечера. Люди лежали на нарах, а я часто ходил взад-

вперед между нарами. Если кто-нибудь тоже хотел размять ноги, то я ложился, освобождая пространство другому (ходить вдвоем места не хватало). По лагерному обычаю, свет в камере в 10 часов гасился, но в окно к нам проникал другой свет — мертвенный отсвет с запретной полосы. И когда я ходил между нарами, тень моя металась по стенам камеры, а на двери всегда в одном и том же месте — решетка, это окно отбрасывало свою неподвижную тень.

Помню, говорил нам Мишка Некрасов, марксист с креном к русскому национализму:

— Вы думаете, США и СССР действительно конфликтуют друг с другом? Наивные вы люди! Да у них давно уже все сговорено, все поделено — за счет нас, за счет простых людей там и тут. И если вы читаете в газете про Вьетнам или там про Израиль, то не думайте, что это всерьез! Это все понт! Это они пишут, чтобы отвлечь наше внимание, чтобы держать людей в напряжении. На самом деле это одно и то же, и никогда они воевать друг с другом не будут.

— Миша, это китайская теория двух сверхдержав, — говорил я тут.

— Ну и что же? Значит, китайцы правы.

Я не представлял тогда себе, что попаду на Запад и что услышу здесь похожие теории из уст „новых левых”.

Встречал я и других заключенных, которые, не имея никакого доступа к источникам информации, сами доходили до концепций, которые выдвигались новейшими западными мыслителями. И разве Мишка Некрасов, никогда не видев книг Орвелла, не воспроизвел финальную мысль *Скотского хутора* о неразличимости свиней и людей?

5. СВОБОДА

Как ни казалось это невероятным, постепенно приближался конец моего срока. Я долго надеялся, что до этого меня переведут на строгий режим: там было много моих друзей, туда приходили свежие люди со свободы, тогда как здесь, на особом, годами были одни и те же люди, одни и те же знакомые лица... Одно время я взялся за работу и давал необходимые 100% нормы, чтобы только выполнить первое условие перевода на строгий. Но это не помогало. И представитель КГБ в нашем лагере Галушкин, и сменивший его Святкин уговаривали меня подписать „отречение” — тогда переведут на строгий. В конце концов я решил, что не стоит водить их за нос и что пора осознать, что на особом мне придется быть до конца срока. Так оно и получилось.

А за несколько месяцев до конца срока Галушкин и Святкин вызвали меня для того, чтобы прощупать мои „настроения” перед освобождением. И майор КГБ Галушкин сказал мне с хитрой улыбкой опытного чекиста: „Хотите, Вайль, я скажу вам, чем вы будете заниматься на свободе. Нет, открыто бороться вы не будете... вы будете сидеть в тиши, так сказать, в подполье, и думать о том, является ли в СССР рабочая сила товаром”.

Что я мог возразить ему? О, он был проницателен, этот Галушкин! Куда умнее, чем его подчиненный мордвин Святкин.

Чем меньше оставалось времени до желанного дня свободы, тем невозможнее он казался. Не выпустят! „Наматывают” новый срок! — такое ощущение появлялось у каждого перед освобождением. И эти опасения были реальны в отдельных случаях и сейчас, не говоря уже о сталинских временах.

Нам было положено 15 граммов сахара в сутки. Среди заключенных не была известна теория о том, что сахар — вреден. Напротив, мы знали, что сахар необходим для работы мозга. На фоне других продуктов: тухлой рыбы, плохо выпеченного хлеба — сахар казался единственным натуральным и неиспорченным продуктом, жизненно необходимым, и высоко ценился. Давали нам его раз в 10 дней, сразу 150 граммов. Никакой посуды у заключенного, кроме миски и ложки, не должно быть. Можно было хранить сахар в каком-нибудь бумажном кулечке и есть каждый день понемногу. Но на такой подвиг способны были разве только „святые”. А мы, получив свои 150 граммов в пустую миску, тут же пожирали его — кто всухую, кто разведя водой, — и это был праздник, ежедекадный „сладкий” день.

С начала 1965 года я стал вести счет оставшегося мне срока не по месяцам, а по количеству сахара, который мне предстояло съесть в стенах лагеря.

Я должен был выходить 26 сентября 1965 года и уже в начале сентября не мог сосредоточиться на чем-либо. Все эти годы на 10-м я работал на пошиве рабочих рукавиц на электрической швейной машинке. Работа эта — не тяжелая, но изматывающая однообразием и фактически бесплатная. Кроме того, в цехе, где нас, швейников, было человек 30, постоянно висела в воздухе пыль от раскроенных тканей. Но об охране здоровья и говорить было бы смешно. При норме пошива 90 пар рукавиц в смену я принципиально шил только 10 пар — необходимый минимум, чтобы не попасть в карцер. На это уходило у меня около часа, и остальное время я бездельничал или, если не было надзирателей поблизости, читал,

сидя за машинкой. Но в сентябре мне стало все труднее концентрировать внимание на чтении. Я все время думал о том, что меня ждет на свободе. У заключенных, и я знал это по другим людям, появляется некий страх свободы. В самом деле, как ни ужасно в лагере, а все же ты как бы „обеспечен” трехразовой бурдой, одной простыней, местом на нарах... А там? Всего надо добиваться самому, никто не подаст в кормушку хлеба, никто не позовет раз в 10 дней в баню. И все мы знали, как трудно приходится бывшим заключенным на свободе: не прописывают, не берут на работу... И бывшие уголовники снова идут воровать и снова возвращаются в лагерь.

Последние три-четыре ночи я практически не спал. А днем кое-кто из заключенных, зная, что я еду в Москву и Ленинград, растолковывал мне, как найти их родных, что говорить, о чем просить... Для них казалось нормальным, что через пару дней я буду в Москве, я же в это просто не мог поверить. И чем ближе был час прощания с лагерем, тем невероятнее, невозможнее он казался.

26 сентября после обеда меня забрали из камеры на обыск в пустующий карцер, и все мои сокамерники жали мне руку и прощались, а из соседних камер прощались со мной „устно”. И каждый хотел лишний раз закрепить в моей памяти свою просьбу: „Не забыл? Помнишь, что я тебе вчера говорил? — слышал я возгласы. — Пиши, не забывай нас!” А я уже не ходил по земле — я парил над землей. И сердце стучало: неужели? неужели?

После обыска, часов в пять вечера, надзиратели вывели меня через вахту на волю. У меня был мешок с книгами, и это было единственное мое имущество. Один литовец пожертвовал мне свой коричневый костюм, который был мне велик, так что брюки пришлось стянуть веревочкой, как восемь с половиной лет назад, когда я впервые входил под своды Ленинградской внутренней тюрьмы.

Перекинув мешок через плечо, я нерешительно пошел в сторону станции Ударное, оглядываясь на зону, где остались мои товарищи и часть моей жизни, на надзирателя, стоявшего

го на ступеньках. Он помахал мне рукой: иди, мол, не бойся. Был теплый вечер, солнце близилось к закату. Возле железной дороги несколько первоклассников с портфелями (конечно, дети надзирателей или офицеров, другого населения в Ударном не было) чертили на песке цифры, писать которые их научили сегодня в школе.

Я несколько лет не видел детей вблизи, и мне было так странно и так интересно разговаривать с ними. Я показывал им, как по-разному можно писать цифру „2”, а сам опускал голову, чтобы они не заметили слез в моих глазах. Это были слезы счастья. А детей не удивлял мой внешний вид, мой мешок — они ежедневно видели здесь заключенных, они выросли в „прилагерном” мире, они привыкли к нему.

Все во мне пело. Незримый для других полет над землей продолжался. Счастье переполняло меня.

Закат ясным сентябрьским вечером над забытой Богом, не отмеченной ни на одной советской карте станцией Ударное. Дети с портфелями, постигающие науку письма. Тишина вокруг и золото деревьев на горизонте — такого чистого счастья я не испытывал никогда позже. Недаром кто-то сказал перед моим освобождением: „Без вина пьяный будешь”. Но если это и было похоже на опьянение, то на самое легкое, как от шампанского. А на самом деле чувство счастья было глубокое и переполняло до краев. И, конечно, был в нем и эгоистический момент: мысль моя не возвращалась к аду, который я только что покинул.

А какое счастье, проснувшись утром, обнаружить, что ты проснулся не в камере, что нет вездесущего ока за тобой, что тебя не сопровождают повсюду солдаты с карабинами. К этому ко всему еще долго привыкать...

Мне было приятно смотреть на людей — не на офицеров МВД, которыми кишела дорога от Ударного до Потьмы и которых было много в самой Потьме, — а прежде всего на обычных молодых людей. Внутренне я чувствовал себя ровесником восемнадцати-двадцатилетних молодых людей, хотя слишком уж далек был от них по жизненному опыту.

В поезде из Потьмы в Москву я разговорился с девушкой

Катей. Мне было интересно знать, как изменилась молодежь за эти 8 лет. С удивлением я обнаружил, что Катя открыто поругивает правительство и государство. Я кратко рассказал ей о себе, за что сидел в лагере. При словах „венгерские события”, „венгерская революция” она наморщила лобик: что-то такое она когда-то слышала, но что именно — так и не смогла вспомнить. Да и неинтересно ей это было. Интереснее было устроиться в жизни, получить квартиру в хорошем районе Москвы, удачно выйти замуж. Еще сказала мне Катя, что обманывать государство — не позор, оно „не обедняет”. Украсть у человека — это, конечно, преступление, а государство само нас обворовывает.

Потом я понял, что взгляды Кати на жизнь достаточно типичны для советского человека вообще. Люди стали смелее за эти 8 лет, но также и циничнее. С удивлением я заметил: высказывания, которые раньше можно было услышать шопотом, наедине, тайно, теперь произносятся во всеуслышание. И раньше за утверждение „Хрущев — дурак” можно было получить несколько лет, а теперь ругают Брежнев, и это сходит с рук. Но, и ругая Брежнев, партию, строй, люди продолжают делать свое дело, голосовать на собраниях „за”, искать привилегий, „устраиваться” и „доставать”. Тогда-то впервые я и услышал новую народную мудрость: „Хочешь жить — умей вертеться” (т. е. обманывать, воровать понемногу и, в конечном счете, подличать).

Первое внешнее впечатление от свободы: люди стали лучше одеваться. В Москве, куда я приехал через сутки после освобождения, я не мог наглядеться на людей, их разнообразную и хорошую одежду. Конечно, я все время сравнивал с 1956 годом. Пока я сидел в лагерях, на свободе произошел какой-то сдвиг в материальном уровне народа: было построено много жилья, появилось много одежды и обуви, телевизор, холодильник, пылесос перестали быть предметами роскоши. Но потребности населения все еще были далеки от удовлетворения: жилья по-прежнему ждут годами, за синтетическими тканями и импортной обувью выстраивались огромные очереди. Выросли цены, но подня-

лась и зарплата. В целом уровень жизни повысился, и моему свежему взгляду это было заметнее, чем другим.

В лагерях, в тюрьмах я помню долголетних арестантов, которые мечтали, оказавшись на воле, найти внимательных слушателей и не спеша, день за днем, рассказывать им об „архипелаге“, неведомом для вольных граждан края. Очутившись в Москве, я понял, что найти таких слушателей, оказывается, не так-то просто!

В семье одного заключенного, который остался там, в Мордовии, его сестра и мать приняли меня радушно. Я сидел с ними за столом и рассказывал о лагере, об их брате и сыне, но, слушая меня, они, тем не менее, не выключали телевизора. Там был футбол. Расспрашивая меня, они не забывали бросать взгляды на футбольное поле, комментировали голы и вообще куда больше меня разбирались в футболе. Им важно было знать, что Иван — жив и здоров, а лагерная жизнь со всеми ее перипетиями интересовала их гораздо больше, чем перипетии спортивных сражений.

Что же тогда говорить о тех людях, у которых ни братья, ни мужья не сидели в лагерях? Почему они должны были интересоваться этим? Или люди Запада, которых мы постоянно упрекаем в отсутствии интереса к СССР?

Я мог с горечью констатировать, что Москва жила своей жизнью и москвичам не было дела до нашего „концлагеря медленной смерти им. 23 съезда КПСС“. Все же при каждом удобном случае я рассказывал людям, откуда я пришел, за что и как долго я сидел. И всегда люди удивлялись длительности: „Восемь с половиной лет!“ (А те, оставшиеся в лагере, удивлялись краткости: „Ты пришел — мы сидели, ты выходишь — мы сидим“.)

Один пожилой заключенный дал мне адрес своего брата в Москве, тоже сидевшего, но реабилитированного. Я позвонил в дверь квартиры на Ленинском проспекте, и этот реабилитированный опытным взглядом определил, что я „оттуда“. Он попросил меня подождать на лестнице, захватил из дома десятку, и повел меня в закусочную: „А то ведь дома жена, знаете ли... Не стоит, зачем ей знать? Здесь нам

будет удобнее. Поговорим, выпьем... Только, пожалуйста, не надо так громко. Зачем афишировать?"

А другой реабилитированный, мой дальний родственник фотограф Вайль с удивлением спросил: „Разве сейчас есть политзаключенные?" Многократно повторенная ложь Хрущева об отсутствии таких заключенных дала свои результаты: и в СССР, и на Западе кое-кто этому поверил.

Из Москвы я поехал в Ленинград, где надеялся обосноваться, хотя бы и за городом. И вдруг в вагоне я столкнулся с Синкевичем, создателем ГраСо и своим однодельцем. Мы не виделись несколько лет, но разговаривали холодно: давно уже не было симпатий друг к другу. Оказывается, освободились мы в один и тот же день, но из разных лагерей. Он ехал к матери в Ленинград, а в петлице его куртки сиял пурпурный Ленин. Я спросил с недоумением, зачем ему этот маскарад. Он ответил, что не хочет никому говорить, что он — бывший заключенный, он выдает себя за какого-то инженера, и люди ему верят. А носить такие значки с Лениным — сейчас модно, вот он и не хочет отставать от моды.

Через несколько лет Синкевич был арестован в Ленинграде и судим по обвинению в гомосексуализме. И после той беседы в вагоне я его никогда больше не встречал.

Я ехал в Ленинград с неким священным трепетом. Этот город навсегда был овеян для меня дымкой романтики: город моей краткой дотюремной юности, моего ареста, моих друзей... Помню разговор двух молодых ленинградцев в сибирском лагере:

— Вот бы сейчас в Ленинград! — вздыхает один.

— Что ты! Да я, — говорит второй, — целовал бы лапы сфинкса на набережной!

И вот я стою у этого самого сфинкса на Университетской набережной, моросит обычный ленинградский дождик, мимо пробегают люди в синтетических капюшонах. Все буднично, и такое ощущение, что я никогда отсюда не уезжал, время не прерывалось, а все тюрьмы и лагеря — дурной сон. А сфинкс на набережной был всегда, всегда будет — он вечен.

Я встретил в Ленинграде своих старых друзей, познакомился, наконец, с теми, кого видел только в суде. За эти 8 лет, после всяческих гонений и преследований, этим людям удалось найти работу, а некоторым даже восстановиться в КПСС. Но они не боялись встречаться со мной, не боялись спорить о настоящем и вспоминать прошлое.

Особенно меня интересовало: как же с „оппозицией” в Ленинграде? Существуют ли нелегальные организации, наподобие тех, что были 8 лет назад? Да, отвечали мне, существуют. Вот совсем недавно раскрыта организация в Ленинграде и в провинции, издававшая какой-то *Колокол*, организация марксистская, что следует из заголовка ее программы „От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата”. И все же, говорили мне друзья, тайные организации — это атавизм, не на этом пути пробуждается общественная мысль. А рабочие? После Новочеркасска мы в лагерях надеялись на какое-то рабочее движение. Нет, не соглашались мои друзья, совсем не на рабочих сейчас можно надеяться. Возникает новая активная сила, которой не было 8 лет назад, — „либералы”, которых мы тогда клеймили. Знаю ли я, что такое самиздат?

И они показывают мне *Реквием* Ахматовой, *Крутой маршрут* Е. Гинзбург, *Лебединый стан* Цветаевой... Я с удивлением гляжу на эту машинопись: это криминальные вещи или нет? Они в ответ смеются: Ахматова и Евгения Гинзбург на свободе, никто, кажется, не собирается их арестовывать. А каковы тиражи этого самиздата? Онижимают плечами: этого никто не знает.

О многом передумали мы в лагерях: о листовках, организациях, подпольных типографиях... А вот до самиздата додуматься не могли. Поистине, живая жизнь богаче наших теорий, она способна порождать совершенно непредсказуемые феномены.

Однажды мы с Пименовым пошли к адвокату, который его защищал 8 лет назад, проконсультироваться, можно ли жить мне в Ленинграде. Он тепло принял нас, но, видя нас опять вместе, допускал он, видимо, возможность того, что

мы опять занимаемся „крамолой”. Поэтому он стал говорить нам, что мы-де свое отсидели, теперь нам не надо никуда „лезть”. Вот тут же пришла нам „смена” — группа *Колокола*, пусть теперь молодые пробуют и т. д. А прописаться мне в Ленинграде практически невозможно, разве только я сам пойду и буду просить их помочь мне.

Радужно меня принял и мой бывший преподаватель литературы В. Мануйлов, и готов был снова дать деньги займа, но и он инстинктивно отталкивался от того больного, тревожащего душу и совесть, явления, имя которому „архипелаг ГУЛаг”. Мануйлов выражал симпатии лично мне, „пострадавшему”, и не больше того.

Думал я и о восстановлении в том институте, где до ареста учился. Но и это оказалось невозможным: мне сказали, что ректор Скрыпнев до самой смерти не простит мне. Ведь сам он получил выговор за то, что я создал в его институте „антисоветскую группу”.

Устроиться возле Ленинграда тоже было непросто, разве что только при каком-нибудь заводе, поселившись в холостяцком общежитии. Но я намерен был жениться: девушка, с которой я завел переписку из-за ее статьи в *Известиях*, три раза приезжала ко мне в лагерь. Теперь я ехал к ней, в Смоленскую область.

Совхоз „Васильевский”, где она работала учительницей, находится на стыке трех областей: Московской, Смоленской и Калужской. До Москвы от совхоза 230 километров, столько же — до Смоленска, а до Калуги вообще только 100. Но попробуй, доберись туда осенью или весной! Только на тракторе или еще надежнее — пешком. Ближайшая станция железной дороги — Темкино — недалеко, 16 километров, часа за 3 дойти можно.

Здесь все мне было внове: я ведь никогда не жил в деревне. Сравнивал ее с курской деревней времен своего отрочества, находил перемены к лучшему. Но задерживаться здесь не имело смысла: я хотел жить в городе.

Мы сыграли здесь свадьбу, и под новый 1966 год мы уезжали на мою родину, в Курск. После нам стало известно,

что вскоре после нашего отъезда из деревни туда приезжал офицер из Смоленского УКГБ, беседовал с директором школы о моей жене. Видимо, Смоленский УКГБ составлял досье на нее, раз она вышла замуж за такого „опасного преступника”.

Мой отец умер за два года до моего освобождения. Мои родственники не знали, что в лагере я получил новый срок, и в 1963 году ждали меня домой. У меня рука не поднялась писать им, что я приеду только через 2 года. Однако по моим письмам отец заподозрил неладное и написал начальнику лагеря письмо с вопросом: „Когда у моего сына конец срока?” Пришлось мне сообщать им неприятную новость.

В нашей квартире, в двух комнатах, на 22 квадратных метрах, жило нас теперь шестеро: я с женой, моя бабушка, моя мачеха с двумя дочерьми. Мачеха стояла на очереди на получение квартиры с 1953 года, но очередь практически не двигалась. Мы с женой ждали ребенка, и жить в такой тесноте казалось невыносимым. Я стал ходить по разным учреждениям и просить, чтоб мачехе дали квартиру, указывая на то, что она уже 13 лет ждет ее. И как это ни странно — квартиру дали. Правда, в старом доме, без удобств, но зато 2 комнаты. На 3 человека это не так уж плохо. Мачеха была счастлива.

Труднее был вопрос с работой. Моя жена по специальности зоотехник, а в Курске, как в любом областном центре, существует несколько крупных организаций, где работают специалисты сельского хозяйства. Главнейшее из них — Управление сельского хозяйства. Именно там, в отделе пропаганды передового опыта, оказалось вакантное место. Разумеется, о таких вакансиях не сообщается в газетах, они раздаются „по благу”. Оклад там был весьма невелик — всего 88 рублей в месяц, но работа считалась престижной (областное управление!). Мне пришлось использовать свой „блат” — в этом управлении работали мои одноклассники, ставшие, пока я сидел в лагерях, солидными людьми, людьми „с положением”. Один из них пригласил меня к себе в гости, куда должен был прийти один из руководителей управления, и там-то, за чаем или за коньяком, и должна была решиться

участь моей жены. Эта работа интересовала нас не как престижная. Просто речь шла о том, голодать нам или нет, нужен был хоть какой-нибудь заработок.

Найти работу мне было гораздо труднее. Никаких сбережений у нас, конечно, не было.

С ее работой вопрос решался не за чаем, а за покером. Эти начальники регулярно встречались за картами, засиживались до поздней ночи: времяпрепровождение, очень характерное для „тузов” областной администрации, как и для крупных дореволюционных чиновников. Пришлось и мне делать вид, что я очень интересуюсь покером, и улыбаться ее будущему начальнику, словом, лицемерить и заискивать. Без омерзения не могу вспоминать этот вечер, когда между двумя „прикупам” начальник согласился принять мою жену на работу.

А я продолжал ходить по заводам и фабрикам, всюду встречая отказ: неквалифицированные рабочие в то время в Курске не были нужны. В других же учреждениях, где требовались люди, начальство сразу же отказывало, узнав о моем прошлом. Скрыть его не было возможности: в паспортах, которые выдаются бывшим заключенным, есть специальная отметка, которая о многом говорит любому директору, любому начальнику отдела кадров. Да и каждый человек в СССР имеет трудовую книжку, а у меня ее не было.

Через полтора месяца безработицы я узнал, что в театр кукол требуются ученики актеров. Я плохо представлял себе, что такое театр кукол, но на всякий случай зашел и туда. Меня встретила директор — грузная женщина лет 50-ти по фамилии Таубе. Да, нужны мужчины-ученики, подтвердила она. И мне был назначен день испытаний: я должен был прочесть басню, стихотворение, кусок прозы и спеть песню. К своему удивлению, я со всем этим справился и был принят в театр! Такой мой успех объяснялся просто: театру катастрофически не хватало мужских голосов, никто не шел работать на те нищенские ставки, которые театр мог предложить. В самом деле, в первое время мне платили всего 50 рублей в месяц, позже — 60, по прошествии не-

скольких лет — 70. Что и говорить, с такой зарплатой разве что можно только „сводить концы с концами”.

Первые застольные репетиции в театре кукол производили на меня сюрреалистическое впечатление. В самом деле, сидят за столом взрослые мужчины и женщины, серьезные и солидные, у одного даже воинская колодка на груди и... кукарекают, мяукают, пищат, хрюкают. Куда я попал?

Но постепенно все становилось на свои места, я все больше привыкал к своей работе, к театру, к сослуживцам, к зрителям.

Таубе знала, что я был судим. Но ей, у которой муж был расстрелян в 1937 году, это не казалось страшным. Позже кто-то из коллег спросил ее, как это она не побоялась взять меня на работу. Она ответила: „У меня ведь не секретный завод, а театр кукол”. Так-то так, но до поры, до времени... Потом она не раз пожалеет, что совершила такой опрометчивый поступок.

Областные театры кукол были созданы, в основном, после войны. Экономически они себя не оправдывали, поэтому получали дотацию от государства. Конечно, можно было их сделать полностью бесплатными для детей, и такие голоса раздавались, однако в конце концов власти установили платность театра, и выручка от продажи билетов частично покрывала дотацию от государства.

Интересно проследить общий рост цен в СССР на примере билетных цен в театре кукол (аналогично повышались цены в кино и на другие зрелища). В 50-е годы такой билет стоил 1 рубль. Денежная реформа 1961 года „утяжелила” деньги в 10 раз. Казалось бы, теперь билет должен был стоить 10 копеек. Ан нет! Вместе с денежной реформой, так сказать, „под шумок” были повышены некоторые цены. И билет в кукольный театр стоил теперь 20 копеек. Вместе с тем был введен билет для взрослых, он стоил 30 копеек. Постепенно с середины 60-х годов все театры стали в гастрольных поездках продавать билеты по 30 копеек уже не взрослым, а детям. А для взрослых в типографиях печатались билеты по 40 копеек. Только на гастролях! Но потом уже и не на

гастролях, а и в „своей” области. Инициатива повышения цен исходила не от государства, а от директоров и администраторов, финансовые органы смотрели на это благосклонно, хотя, по идее, они должны были бы протестовать против самоуправства.

Что касается зрителей-детей, то они, конечно, роптали каждый раз, роптали и родители, но некоторые матери выдвигали неотразимый аргумент против своих супругов: „На водку не жалко, а ребенку на театр жалеешь”. Такой довод успокаивал и совесть директоров, поднимающих цены. В самом деле, сколько тратится на водку! А тут 20 или 30 копеек — велика ли разница!

В колхозах, больницах, воинских частях мы часто играли по безналичному расчету: колхоз или профсоюзная организация платили нам через банк, и на спектакль приходили все желающие. Но уже с середины 60-х годов Госбанк запретил колхозам делать это. Можно было обойти этот запрет, если в счете указывать „лекция” (а не спектакль), но представители колхозов все чаще говорили: „У наших колхозников деньги есть, пусть сами платят”.

Актерам театра было безразлично, сколько стоит билет в их театр: они были на окладе. Актерские оклады были настолько низкие, что приходилось считать каждую копейку. И только зарплата одного человека зависела от количества проданных билетов: это был администратор — „уполномоченный по организации зрителя”. В его задачу входит распространять через школы и детские сады билеты на спектакли и составлять график выступлений театра в разных школах и клубах. Уполномоченный получал 5% от выручки театра.

С лета 1967 года я стал таким уполномоченным, совмещая эту работу с актерской игрой. Это отнимало много времени, приходилось работать безо всяких выходных дней, но мои заработки повысились, теперь я зарабатывал больше жены.

Слова „театр кукол” вызывают обыкновенно у людей добродушную улыбку, но только тот, кто работал администратором в провинциальном театре кукол, знает, сколько нервной энергии нужно расходовать на этой работе. Взять

наше российское бездорожье. Ты договорился о выступлении в такой-то деревне, отдал туда билеты. Но завтра там прошел дождь, в деревню стало невозможно проехать. Можно перенести спектакль, но ближайшие дни всегда заранее распланированы, а через неделю дети в этой деревне уже растреплют свои билеты. А может, опять пройдет дождь... Или: сломался в дороге автобус, на котором ездят актеры и в котором находятся декорации. Нужна какая-то запчасть. Хорошо еще, если эту запчасть можно достать „левым путем“, а если нет? По нашим плохим дорогам машины часто ломаются. Дети ждут театр в какой-нибудь деревне, ждут час, другой, а театр застрял в грязи по дороге в эту деревню, администратор, разувшись, подвернув брюки, идет в сторону жилья искать трактор.

Часто дети были обижены на нас за опоздание или за то, что мы вообще не приехали к ним. Но не наша в том была вина.

Театр ставил 3-4 спектакля в год, и каждый из этих спектаклей должен был быть показан максимальному количеству зрителей, в городах и в деревнях. Театр сам подбирал себе репертуар, но, перед тем как показать спектакль детям, его смотрела специальная комиссия. Словом, все так же, как и у „взрослых“ театров.

Конечно, основой репертуара были сказки. Но не могло же Министерство культуры, которому кукольные театры подчинялись, допустить „аполитичность“ этих театров. Поэтому каждый областной театр имел в своем репертуаре сказку А. Гайдара *Мальчиш-Кибальчиш*, где были и „буржуины“, и мировая революция. Эту сказку обычно показывали к 7 ноября и к 1 мая.

В нашем театре было около 30 человек. В этом небольшом коллективе были свои сложные взаимоотношения, свои конфликты и свои интриги. Впрочем, на людях театра во все времена и во всех странах лежала печать богемы и легкого порока.

В нашем театре не было своей парторганизации, потому что у нас было всего два члена партии: директор и один из

актеров. Когда директора заставили уйти на пенсию, этот актер заявил нам: „Теперь меня должны поставить директором! Я здесь один партийный!” Но обком партии имел свою кандидатуру: желающих быть директорами театров хватает, не хватает актеров.

Я полюбил всех этих людей, с их пороками, слабостями, интригами. Все они любили свое искусство, отдавались ему как люди творчества, не „халтурили”.

Одного из актеров, того самого, что носил орденские колодки, все подозревали в стукачестве. Даже директор жаловалась, что он делает доносы на нее в Управление культуры. Этот человек сидел во времена Сталина, но за что — никто толком не знал. Говорили, что во время войны его видели в Курске в немецкой форме. Сам же он говорил о себе как о партизане.

Однажды он увидел в трамвае следователя, который в сталинские времена избивал его на допросах. Тут же он поднял скандал и хотел тащить этого чекиста в милицию. Но чекист и теперь продолжал работать в КГБ, поэтому во всей этой истории виноватым оказался наш актер. Из милиции в театр пришла бумага, где говорилось, что наш актер обозвал кагебиста „нецензурными словами”. По словам же актера, он обзывал своего бывшего следователя „бериевской сволочью”. В театре было собрание, посвященное этому инциденту, и кое-кто из актеров говорил, что не так, мол, надо действовать. Надо не кричать в трамвае, а прийти „куда следует” и сказать: вот человек, пытавший меня при Берии.

Тут я взял слово и сказал, что в нашей стране не преследуются те, кто при Сталине пытал или уничтожал невиновных. Поэтому предложенный вариант не пригоден. А про себя подумал: это вам не Западная Германия, где судят бывших нацистов. Наши чекисты работали при Сталине, работают и теперь.

Впрочем, с курским чекистом майором Прусаковым, который занимался как раз бывшими политзаключенными, случилась странная история. Прусаков был не только работник КГБ, но и журналист. Изучая архивы Курского УКГБ,

писал документальные повести, сценарий для кинофильма. Он недавно кончил учиться в Саратовском заочном юридическом институте и уже поступил там в заочную аспирантуру. Вдруг кто-то раскопал: Прусаков — авантюрист, у него всего 8 классов образования, все другие справки об образовании — „липа”. В Саратове он не учился, а лишь давал взятки за документы.

КГБ был вынужден избавиться от обманщика. Его перевели возглавлять областное спортивное общество „Спартак”. А из ведомственной квартиры не выселили. И все его бывшие коллеги-чекисты по-прежнему ходили к нему в гости: кто без греха? со всяким бывает. Кто нынче не дает взятки? Даже тот, кто берет взятки, в свою очередь, кому-то их дает...

Кроме театра, была у меня в Курске еще одна сфера деятельности, где я мог немного подрабатывать, — газета. Это была та самая газета *Молодая Гвардия*, в которой я подписывал еще в 1952 году! Ее редактором был теперь парень, с которым я вместе учился в школе. Он отлично знал, что я только что вышел из лагеря, но полагал, что ничего страшного не будет, если я буду печататься в его газете. Тем более, что будет проходить две цензуры. И стал печатать меня: рецензии, заметки на исторические темы, обзоры стихов. Я был у них также литконсультантом: отвечал на многочисленные рукописи, в основном, стихи, и, как правило, от графоманов. Задача заключалась в том, чтобы отвечать графоманам вежливо. Тут нужно пояснить, что каждая советская редакция, как и любое другое предприятие в СССР, имеет план. План редакции газеты состоит в том, чтобы получать от читателей возможно большее количество писем: такие письма свидетельствуют о читаемости газеты. Поэтому работники отдела писем шли на всякие хитрости: если, например, письмо читателя написано было на двух отдельных листках, то они регистрировали их как 2 письма и т. д. Словом, обманывали себя и других, как и на любом другом производстве.

Я часто писал резкие ответы графоманам, и когда ответственный секретарь редакции прочитал в архиве копии моих

ответов, то он ужаснулся. Нет, не тон мой его поразил и не содержание, а то, что теперь эти люди не будут писать в редакцию и таким образом сократится количество писем в редакцию! „Вайль отпугивает читателей” — был его вывод. И вскоре меня отстранили от этой работы.

В редакциях обеих курских газет — *Молодой Гвардии* и *Курской правды* — у меня появились приятели. Это были молодые журналисты и поэты, либерально настроенные, считавшие себя людьми прогрессивных взглядов. Если разделять советскую интеллигенцию по кругу ее чтения, то это были читатели Эренбурга и журнала *Новый мир*. Я с надеждой смотрел на них как на будущую смену старых журналистских кадров, сформировавшихся при Сталине. Конечно, неприятно было видеть, что их профессия требует жертв: в своих статьях им приходилось курить фимиам партии, и это они воспринимали как неизбежное зло. Некоторые из них были и партийцами, другие готовились вступить в партию, ибо без партбилета продвижение вверх невозможно. Думая об их партийности, я успокаивал себя известными примерами: Твардовский тоже член партии, и вот Виктор Некрасов — как его ни гнали, не хочет из партии уходить... Однако не все могут быть Твардовскими, и когда-то приходится делать выбор. В решающий момент человек голосует так, как того требует партия, а если при этом он держит кукиш в кармане, то это может обмануть разве только его самого.

В 1966 году я поступил на заочное отделение Курского пединститута (факультет русского языка и литературы). В институте тоже завязались товарищеские отношения с некоторыми студентами и преподавателями. Все преподаватели знали, что я пришел из лагеря, отношение ко мне было хорошим, но никто никогда не расспрашивал меня о лагерях: такие темы они боялись задевать. И все равно — интеллектуальный уровень за эти 10-12 лет возрос. Не было больше таких ярких фигур, как Овечкин и Искандер, но в институтах (их было теперь 4 в городе), в театрах, в редакциях появилось много талантливых и думающих людей.

Конечно, до уровня Москвы и Ленинграда нам было еще далеко, однако я не чувствовал себя здесь одиноким.

В своих курсовых работах в пединституте я писал довольно смелые вещи. Например, в работе по истории СССР писал о „преступлениях Сталина”, в работе по политэкономии ссылался на Бирмана. Все это принималось доброжелательно.

Помню один спор с преподавателем советской литературы Баскевичем. Он крупный специалист по возникновению литературы соцреализма, по Горькому и „пролетарским” поэтам. Я спросил его, как можно квалифицировать прозу Бунина. Он ответил, что Бунина нужно отнести к критическому реализму. А те произведения, которые написаны в эмиграции? С некоторым колебанием он и их отнес под эту же рубрику. Значит, и соцреализм, и критический реализм существовали одновременно, только по разные стороны границы? Он согласился с этим. Но, если творили в эмиграции Бунин, Цветаева, Ходасевич и другие, стало быть, можно сказать, что русская литература продолжала там существовать, только вне соцреализма? На этот вопрос он не смог мне ответить, сославшись на свое полное незнание „эмигрантской литературы”.

Побывал я и в своей родной школе. В школе стояла Доска Медалистов, и моя фамилия в свое время была записана там серебряными буквами. Но после моего ареста они стерли ее. Даже и сейчас, через много лет, внимательный наблюдатель мог заметить эту подчистку. Конечно, я первым делом зашел к директору школы, который когда-то объяснял мне, почему партия боялась Сталина. Я обратил его внимание на эту доску, и он, решив, что я реабилитирован, обещал восстановить мою фамилию. Конечно же, это не было сделано.

Встречал я и своих дружков 1955 года. В основном, все они „выбились в люди” и неохотно встречались со мной.

В 1966 году в Курске, как и во многих других городах, возникает „Клуб друзей кино”. Такие клубы создавались энтузиастами-кинолюбителями и целью их была пропаганда шедевров мирового кино, особенно тех фильмов, которые

почему-либо не пользовались всеобщим признанием.

В СССР, как и на Западе, существуют фильмы „кассовые”, дающие большие денежные сборы, и фильмы для немногих. Например, японский фильм *Голый остров* советская публика не приняла, он казался ей скучным. Другие иностранные фильмы власти, видимо, не разрешали показывать во многих кинотеатрах, искусственно ограничивая количество зрителей (фильмы Антониони, например). Так же обстояло дело и с советскими фильмами. Кассовыми же фильмами были когда-то трофейные фильмы, а теперь многочисленные индийские, пакистанские и арабские фильмы, буквально заполонившие экран. И сколько бы дней ни шел такой сентиментальный фильм, всегда он давал хорошие сборы.

„Клубы друзей кино” создавались как бы в противовес этому мещанскому засилью, создавались с целью развития вкуса зрителей, для дискуссий и обсуждений. Если по окончании фильма в обычном кинотеатре зрители расходились, наедине со своими мыслями, то в киноклубах они могли спорить, оценивать, отстаивать свои взгляды.

Ну, а ко всякого рода дискуссиям, да еще на отвлеченные темы, у нас относятся с подозрением. Ведь в них всегда есть элемент незапланированности, неуправляемости, неожиданности.

Формально каждый клуб, каждое объединение должно существовать „при чем-то”. Литературные кружки существуют при редакциях, филателисты — при Министерстве связи. Никому нельзя быть „самим по себе”. „Клубы друзей кино” формально значились под эгидой горкомов комсомола.

Мы с женой регулярно посещали этот клуб и были довольны его репертуаром: многие фильмы отечественные и зарубежные мы никогда не увидели бы вне этого клуба. Тут познакомились мы с фильмами Бергмана, Антониони, Феллини, Хуциева, Митты, Хитрука... В киноклубе собирались сливки курской интеллигенции: студенты, молодые инженеры, педагоги, врачи, актеры. Я помню даже генерала, пришедшего комментировать кинофильм *Если дорог тебе твой дом* — об обороне Москвы. Что-то властям не по-

нравилось в этом фильме, что-то пессимистическое они в нем нашли, и он был снят с экранов.

Число зрителей в киноклубе колебалось, но никогда не превышало 100 человек. Активных завсегдатаев было человек 20. Был среди них и молодой человек Сережа Пятовский, лейтенант милиции. Его хобби было рисовать безобидные карикатуры, он часто печатал их в *Курской правде*. Никто не знал, что Сережа Пятовский ходит в киноклуб не только как любитель кино, но и как сотрудник КГБ (штатным сотрудником КГБ он стал позже, а тогда был, видимо, внештатным). Он фиксировал все дискуссии, все беседы, которые велись на обсуждениях фильмов.

Известно, что русского человека, привыкшего больше к молчанию на собраниях, трудно подвигнуть на выступление. И вот после окончания фильма всегда было трудно найти первого, кто заговорил бы о фильме. Второй, третий, десятый найдутся сами, а вот первого... Обычно сидят и молчат. Председатель клуба частенько подталкивал к выступлению такими заявлениями:

— Ну что, товарищи? Прошу выступать. Не надо бояться. Здесь единственное место в Курске, где можно говорить свободно.

Однажды я в тон ему добавил:

— Конечно, ведь в КГБ никто не донесет.

Сережа Пятовский, естественно, фиксировал такие высказывания, это уже было нечто.

В другой раз на обсуждении одного итальянского фильма я процитировал слова Маркса о бюрократии. А однажды я говорил о том, что извечные человеческие ценности, Добро и Любовь, провозглашенные давным-давно христианством, когда-нибудь да восторжествуют. При этом я подчеркивал, что я — атеист.

Каким образом Пятовский фиксировал все это? Он ведь представил в КГБ подробный доклад о киноклубе, где приводились цитаты из моих выступлений. И если я до сих пор помню их, то только потому, что мне потом пересказывали отдельные куски из доклада Пятовского, и я был поражен их точностью.

Говорили, что у Пятовского была авторучка с вмонтированным в нее портативным магнитофоном. Однако специалисты утверждают, что это должен был быть не магнитофон, а миниатюрный передатчик направленного действия, а магнитофон мог находиться в соседнем здании.

Нет, не понравилось КГБ, что я нашел трибуну, хоть и выступал я редко, да и вполне лояльно. Может быть, говори все это другой, все обошлось бы благополучно, но вот то, что говорил человек, вышедший из лагеря... Чаша терпения КГБ переполнилась, когда меня избрали в Совет Клуба и даже командировали в Москву для связи с одним московским клубом и для приглашения столичных кинокритиков в Курск. И все это совпало с подписантской кампанией в Москве и с „пражской весной”. Как кто-то объяснял мне потом, курские власти не могли терпеть у себя свою собственную „пражскую весну”.

КГБ направило доклад Пятовского о киноклубе в обком партии. Там поднялся страшный переполох. Ни обком партии, ни обком комсомола фактически не знали, какую змею пригрел на своей груди горком комсомола в лице киноклуба. Для начала несколько работников горкома комсомола получили выговоры. А киноклуб было решено закрыть. Однако вроде и неудобно так вот взять и закрыть. Поэтому был придуман испытанный маневр: перерегистрация членов. Поэтому распускался „Совет Клуба”. И после такой „перерегистрации” клуб уже не возродился.

В докладе Пятовского, между прочим, говорилось: „В руководство киноклуба проникли люди, ранее неоднократно судимые по политическим мотивам”... Речь шла обо мне.

Не знаю, говорилось ли там о моей жене. Однажды в мое отсутствие шел в киноклубе венгерский фильм *Отец*. Там речь идет о Венгерском восстании 1956 года. Когда началась дискуссия, то в речах выступавших несколько раз прозвучало слово „контрреволюционеры”. Моя жена с недоумением громко спросила: „А кого вы называете контрреволюционерами?”

Думаю, что этот вопрос и послужил причиной того, что ее

выгнали в сентябре 1968 года с работы. Чехословакия была уже оккупирована, пришел черед расправляться и с внутренней оппозицией.

Судя по тому московскому кино клубу, который я посетил, можно полагать, что и в других городах эти клубы были некими очагами свободомыслия, но, видимо, всегда под контролем КГБ.

Со своим театром кукол я много ездил, прежде всего, по Курской области. С севера на юг проходит по нашей области автомагистраль Москва — Симферополь. Иностранцы считают, что это плохая дорога. Для нас же, курян, лучшей не существовало. В городках, расположенных на этой дороге, мы были частыми гостями. Еще одна, новая дорога проходила через нашу область: Орел — Киев. Была она построена в последний период правления Хрущева и проходила — конечно, не случайно — через его родную деревню Калиновку. Дети в Дмитриеве, Железногорске, Хомутовке любили наш театр и „валом валили” на наши спектакли. В этом углу области было особенно много детей: растущий город Железногорск — один из центров Курской магнитной аномалии — притягивал население из сел. Каждый раз, бывая в Железногорске, я отмечал, что здесь в магазинах есть и колбаса (правда, не более двух сортов), и — реже — мясо, не высокого, впрочем, качества. Тогда как в Курске, областном центре, этого не было в магазинах. Однажды я спросил какого-то мелкого местного чиновника, почему такая разница между Курском и Железногорском в снабжении. „Здесь же рудники! — воскликнул он. — Да если мяса не будет, завтра же рабочие забастуют”.

За Железногорском, за Хомутовкой, ближе к Брянским лесам, лежала деревня Калиновка, колхоз, называвшийся до 1965 года „Родина Хрущева”. Глухая окраинная деревня, отсталый, экономически слабый колхоз. Сколько же средств, сколько денег и техники было брошено сюда, чтобы превратить отсталый колхоз в „передовой”? И странно было видеть в обычном курском селе двухэтажное современное здание правления колхоза, стеклянный универмаг на пло-

щади и в довершение всего — пятиэтажную гостиницу. Предполагалось, что Калиновка станет центром передового опыта, что сюда будут ездить учиться аграрники не только из других областей, но и из-за границы. И вот — нет Хрущева, и никто не ездит в Калиновку за опытом... Стоит гостиница пустая. Решено было приспособить ее под сельхозтехникум.

А крестьяне Калиновки по-прежнему любят своего знаменитого земляка. И вспоминают: приезжал он ежегодно, и в огромном Доме культуры, построенном тоже благодаря ему, накрывались столы для общей трапезы, и вся деревня гуляла.

Поминали и мы, кукольники, Хрущева добрым словом: не будь его, все эти районы были бы недоступны для нас из-за бездорожья. Ведь есть же другие районы области, куда мы годами не можем пробраться.

И вдруг узнаем мы, что и новый генсек Брежнев — тоже наш земляк, курянин! Ну, не он сам, а его родители из деревни Брежнево, что километрах в 20 от Курска. И в эту деревню теперь срочно асфальтируют дорогу, возят железо для крыш — словом, повторяется история с Калиновкой. Съездили мы в Брежнево, поставили там спектакль, разговаривали со стариками и убедились, что, действительно, корни генсека отсюда. И все в этой деревне носят одну фамилию — Брежневые.

Начиная с 1965 года, я мог наблюдать, как все более пустеют прилавки курских магазинов. В 1965-66 годах еще можно было купить в магазинах мясные консервы (тушенку), а в кулинарных магазинах мясные полуфабрикаты — котлеты, шницеля. Потом тушенка как-то сразу и навсегда исчезла, но некоторое время продавались банки „Рисовая каша с мясом” или „Гречневая каша с мясом”. Потом и они исчезли. Мы все чаще ходили в кулинарию: больше купить мясо было негде. В один прекрасный день (в 1968 или 1969 году) в том отделе кулинарии, где раньше лежали мясные изделия, я увидел надписи: „котлеты морковные”, „шницеля капустные”. С тех пор никаких мясных изделий не стало в Курске. Бывали дни, когда вдруг появлялись в продаже

куры или колбаса, и надо было видеть очереди, выстраивавшиеся за ними!

В 1970 году в наш город приезжал Косыгин. По этому случаю в нескольких крупных магазинах „давали” колбасу. Очереди были огромными. Косыгин разговаривал с рабочими завода искусственного волокна, и они жаловались на „плохое снабжение”. Косыгин сказал, что так не только в Курске, правительство об этом знает, но трудности эти временные.

Я был в Курске в 1977 году, и там ничего не изменилось за эти 7 лет: все те же „временные трудности”.

Конечно, на базаре мясо все эти годы было, но цены все время росли. Если я зарабатывал 60-70 рублей в месяц, то мог ли я купить там курицу, которая стоила 15 рублей?

Куряне часто ездят за покупками в Москву: за колбасой, за яйцами, за обувью. Не перевелись и спекулянты, покупающие в Москве кофточки и прочую одежду и продающие это на курской „барахолке”.

Наш театр все время находился в дороге и часто — в деревнях. Поэтому все мы использовали эту возможность для покупки продовольствия. Чаще всего покупали мы яйца, которых в Курске тоже не было. Из каждой гастрольной поездки я привозил домой сотню яиц. Покупали мы и кур, и индеек — в глухих деревнях, где это стоило дешевле, чем на курском базаре. Часто заходили в крестьянские избы и покупали молоко — оно было вкуснее здесь, чем порошковое в городе, и дешевле. Иногда председатели колхозов кормили актеров бесплатными обедами. Они, наверное, знали, что актеры всегда полуголодны, и, в конце концов, это ничего не стоило колхозу — накормить группу людей однажды. А летом в пионерских лагерях, где мы были всегда желанными гостями, нас тоже ждал бесплатный обед или ужин. Директор Беловского детдома был наиболее щедр: он всегда угощал нас спиртом. Но в этом спецдетдоме актеры не любили играть: уж очень специфические дети там были, уроды и идиоты. Такими они были от рождения: у некоторых не было пальцев, у других руки были особен-

ным образом вывернуты, многие не могли ходить... Нам рассказывали, что эти дети — жертвы радиации, облучения, которому подверглись их родители. По другим сведениям, это были дети алкоголиков. Не знаю, что верно, но из нескольких сот этих детей не было ни одного, кто был бы вменяем. Наш театр играл там впустую, без подъема, фактически только для обслуживающего персонала. А основные зрители бессмысленно таращили глаза, издавали дикие звуки, тут же мочились, на нас и на наше представление не обращали никакого внимания. В очередной наш приезд туда актеры хотели даже забастовать, но мне удалось уговорить их не делать этого: уж больно радушен был директор этого детдома и выплачивал любую требуемую сумму за наш спектакль.

Видя этих несчастных не-людей (которым, видимо, никогда не суждено стать людьми), некоторые актеры вновь и вновь задают вопрос: почему их не умерщвляют? Всегда в таких спорах отстаиваются две концепции: одна гуманистическая, другая „гитлеровская”. Впечатление от этих детей-уродов — жуткое, гнетущее, и я прекрасно понимаю нежелание своих актеров играть там, ездить туда.

Этот детдом находится на юге Курской области, в отдаленном поселке, куда из Курска можно попасть только самолетом.

В 60-е годы наблюдался рост различных вспомогательных школ в СССР. В нашей области были школы слабовидящих, школы слабослышащих и, наконец, школы умственно отсталых, или попросту „школы дураков”. Количество „школ дураков” росло, и это отражало общий рост дебилов и кретин-ов среди детей по стране. Во всех этих типах спецшкол мы бывали регулярно, и в „школах дураков” нас особенно тепло принимали. Эти „дураки” почти все понимали, в отличие от пациентов Беловского детдома. Кроме того, они всегда помогали нам перетаскивать наши многочисленные ящики с куклами, декорациями, прожекторами... Была еще под Курском школа для туберкулезных детей. Были многочисленные детдома и интернаты, где содержались сироты и

дети, чьи родители были лишены родительских прав. И дети, родители которых отказались воспитывать их. Даже внешний вид этих сирот контрастировал с их сверстниками из обычных школ: приниженность, забитость, чрезмерная покорность... Впрочем, чрезмерная распушенность нам тоже не нравилась: частенько городские школьники во время спектакля открывали „огонь” по куклам из рогаток, и кусочки проволоки, отприкошетив от кукол, попадали в нас.

В деревнях зрители были лучше, непосредственнее. Спектакли в деревнях устраивались часто вечером, и тогда приходило много взрослых. Хотя я предупреждал их всегда, что спектакль — детский, но они все равно покупали билеты и шли в зал. Ведь не так уж часто бывает в деревнях городской театр, хотя он и кукольный. И одно дело смотреть его по телевизору, а другое — „живьем”. Да и телевизоров было в деревнях тогда еще мало.

Взрослые приходили к нам как на праздник — хорошо одетые, девушки и молодые женщины надевали порой вечерние платья. Это меня всегда забавляло. И лишь когда я сам стал деревенским жителем, я понял, в чем тут дело. Ведь у деревенских женщин есть хорошие одежды, но им некуда их надевать. В городе они бывают редко, работают часто без выходных. И вот приехал театр (не так важно, какой), значит, можно надеть все лучшее, блеснуть перед другими своими нарядами.

В городах, поселках, деревнях Курской, Орловской, Белгородской областей сколько самых разных людей подходило к нам, приезжим. Рассказывали свою судьбу, жаловались на жизнь, на начальство, на мужей, на жен... А мои многочисленные контакты с директорами школ и завучами, пионервожатыми, завдетсадами, председателями колхозов, инспекторами РОНО... С тысячами людей приходилось мне сталкиваться, и из этого опыта вырастал коллективный портрет русского советского человека. И если бы нужно было сформулировать его кредо, то вышеупомянутое изречение „Хочешь жить — умей вертеться” в наибольшей степени к этому подходило бы.

Были еще особые места наших выступлений: это школы в воинских частях. Как правило, это небольшие начальные школы, где учатся дети офицеров. В воинские части нам всем нравилось ездить: во-первых, туда и дорога всегда хорошая, не застрянешь в грязи. Во-вторых, в каждой воинской части есть свой магазин, где можно купить вещи, которых нет в городе. Наши женщины всегда покупали там себе белье, мармелад, консервы.

Воинская часть — это свой особый замкнутый мирок. Во всем чувствуется приказ и субординация. Или вот офицерские жены. Это уже какие-то другие женщины, по-иному одетые, с иным видением мира, чем, например, наши актрисы. Здесь свои интриги, свои романы, свои скандалы — своя провинция, изолированная от внешней. Говорят, если здесь показывают кинофильм, а генерал на него приходит с опозданием, то ленту перематывают, и фильм начинается заново.

Как уполномоченный театра, я разъезжал сначала один, заранее договаривался с клубами и школами, а потом приезжал уже с актерами ставить спектакль. В городских, поселковых, сельских гостиницах, общежитиях и „комнатах для приезжих” ночевал и беседовал с людьми различных возрастов, профессий и взглядов. Помню, один офицер милиции, нестарый еще человек, доказывал мне, что народ в стране „сильно распустился”. „Демократию, понимаешь, развели! Каждая уборщица тебе права качает!” Такие взгляды типичны для некоторой части „начальников”. „Демократия” и „порядок” для них понятия несовместимые. А „демократию” они видят в том, что люди стали чаще требовать соблюдения законов, например, трудового законодательства. Лейтмотив этой „оппозиции справа”: „при Сталине больше порядка было”.

В мае 1968 года в гостинице небольшого городка Суджа, что на юге Курской области, я ночевал в одной комнате с тремя солидными людьми — лекторами обкома КПСС. Все они преподавали „научный коммунизм” в различных вузах Курска и, кроме того, вели „разъяснительную работу в массах”. Я завел с ними разговор о партии, о том, какими со-

ображениями руководствуются люди, вступая в КПСС, они насторожились и отвечали мне в официальном духе. Но узнав мою профессию (это всегда настраивало людей на веселый лад), они мало-помалу становились откровеннее, холодок официальности улетучивался, и люди становились людьми. Мы проболтали полночи, и я услышал от них высказывания, достойные братьев Медведевых. Один из этих партийных идеологов сказал даже так о партийном руководстве: „обосрали социализм“. Другой рассказал, что однажды ему предложили в обкоме стать первым секретарем одного райкома КПСС, но он отказался, мотивируя это тем, что „партийная работа — абстрактная“. В обкоме обиделись на такие слова: в этом было неуважение к их работе, пренебрежительное и ироническое отношение.

Как я понял, главное, чем были недовольны эти три чиновника от идеологии, были размеры их окладов. Они считали, что они должны получать столько же, сколько руководящие обкомовские работники на своей „абстрактной“ работе. Здесь был источник их фрондирования, которое не шло дальше разговоров в узком кругу. То, что происходило в это время в Чехословакии, не особенно интересовало их. Вернее, им надо было знать о „пражской весне“ столько, сколько требовалось для ответов на недоуменные вопросы слушателей о ней. Они сами никогда не смогли бы стать Дубчеками местного масштаба.

„Пражскую весну“ обсуждали в интеллигентских кругах Курска. Впрочем, мало кто смог бы толком рассказать, что действительно происходит в Чехословакии. Советская пресса время от времени критиковала пражские газеты, но из этого трудно было представить ясную картину. Делегация курских комсомольских руководителей съездила весной в Чехословакию, и, по их словам, они были шокированы, увидев в пражском музее Ленина фотографии Зиновьева и Бухарина.

Наш театр уходил в отпуск каждый год в августе, все одновременно. В августе 1968 мы с женой поехали в Литву и Латвию, где жили мои приятели по лагерю, и среди них Викторас Пяткус. В Москве я встретился с Пименовым

и спросил его, между прочим, допускает ли он возможность ввода войск в Чехословакию. Пименов ответил, что этого не случится: западные компартии не позволят этого сделать. „Приезжал недавно Вальдек-Роше, — сказал Пименов, — и грозил Брежневу разрывом, если тот оккупирует Чехословакию”.

Вечером 20 августа мы ехали в Тракай — древний городок недалеко от Вильнюса — и на дороге Вильнюс — Гродно увидели колонну танков, движущихся на Запад. Моя жена сказала: „Страшно! Как будто война начинается”. Мы говорили о Чехословакии, о надеждах, связанных с мирным развитием в сторону демократии, но нам и в голову не пришло, что эта зловещая колонна пойдет через Польшу в Чехословакию.

На следующее утро мы узнали об оккупации. Я видел лица людей в трамваях, на улицах Вильнюса: все жадно вчитывались в сообщения газет, все переживали это событие как свое собственное горе — аналогия с оккупацией Прибалтики каждому приходила на память.

Молодой человек, к которому я обратился на улице по-русски, демонстративно отвернулся от меня. Только так он мог показать свое презрение к оккупантам.

Вечером этого дня мы смотрели в русском театре в Вильнюсе *Жаворонок* Жана Ануя (ставил этот спектакль гастролировавший смоленский театр). Пьеса о Жанне д'Арк, о сопротивлении иностранным захватчикам оказалась необычайно актуальной в те дни. Атмосфера в зале, как и во всей Литве, была наэлектризована. И не Жанне д'Арк аплодировали 21 августа, а Праге. По крайней мере, так мне показалось.

Мы вернулись в Курск и там снова окунулись в стоячую провинциальную среду, которую не всколыхнули никакие события. Рядовой житель Курска если и думал об оккупации Чехословакии, то относился к этому положительно. На собраниях ему разъясняли, что Чехословакия „открыла границы” и вот-вот ее захватила бы Западная Германия. Надо было, мол, спасти Чехословакию!

Оккупация Чехословакии стала водоразделом между мною и некоторыми моими приятелями. Казалось бы, эти люди все понимали, читали самиздат, критически относились к системе, но вот поверили же тому, что говорила советская пропаганда о „Пражской весне”!

А один из них, талантливый поэт, напечатал в *Литературной газете* после августа 1968 года стихотворение о России с такими строчками:

Величина моей Отчизны
Равна величию ее.

После такого стихотворения мог ли я считать его близким мне человеком?

И так, один за другим, те, кого я считал если не друзьями, то товарищами, отходили от меня, избегали общаться со мной. В конце концов я стал спрашивать каждого из них напрямик: „Ты боишься меня? Боишься общаться со мной?” Конечно, каждый горячо отрицал это, но в конце концов это оказывалось правдой: общение со мной вредило их карьере, их продвижению по службе. Одного журналиста не назначили редактором газеты из-за того, что в обкоме партии стало известно: „Он дружен семьями с Вайлем”.

Один из моих знакомых побывал с советскими танками в Чехословакии. Вернувшись, он рассказывал каждому, что он там видел, какие лозунги вывешивали чехи, как они встречали советские войска. И хотя его оценка вторжения была вполне официальной и он совершенно не сомневался в необходимости оккупации, его однажды вызвали в КГБ и предложили „меньше трепать языком”. Между прочим, этот мой знакомый рассказывал, что подружился в Праге с капитаном польской армии, участвовавшей в оккупации. Этот капитан, прощаясь с моим знакомым, сказал якобы ему: „До встречи в Румынии!”

После августа 1968 года Курское УКГБ усилило свою „бдительность”. В Курском пединституте была запрещена выставка, посвященная словацкому поэту Мирославу Валеку, хотя он показал себя уже тогда противником Дубчека. Без всякого сопротивления и бесшумно разогнали

киноклуб. Потеряли работу моя жена и мой дядя — журналист. Мою директрису Таубе вызвали в КГБ, требуя, чтобы она добилась моего увольнения. Я не захотел уходить из театра по доброй воле, а они не смогли найти подходящего повода для увольнения. Был прислан специальный ревизор, который тщательно анализировал финансовую сторону моей деятельности как театрального администратора — в поисках какой-нибудь „зацепки“, но ничего подходящего для придинок не нашел. Тогда власти запретили упоминать мое имя в курском телевидении и газетах, когда речь шла о театре кукол. А вскоре курским газетам было запрещено писать о театре кукол вообще. Один из журналистов, встречая меня на улице, каждый раз спрашивал: „Как? Тебя еще не посадили?“

Еще раньше один знакомый предложил помочь установить нам дома телефон. В Курске этого не могли добиться даже нерядовые чиновники: нужно было ждать несколько лет. А тут через несколько дней — пожалуйста! Все удивлялись и завидовали нам, но мы-то догадывались, что это неспроста, что, очевидно, этот телефон может использоваться как подслушивающий аппарат. Этот же знакомый, часто просил „что-нибудь почитать“. Что ж! Существовали такие произведения, которые можно было давать читать любому без риска сесть за это в тюрьму, — легальные, опубликованные произведения. Это *Один день Ивана Денисовича* Солженицына, мемуары Эренбурга, романы Булгакова, статья Белинкова в журнале *Байкал*. Правда, Солженицына вскоре изъяли из библиотек, как и Белинкова. Среди изъятых книг оказалась и историческая работа Некрича *1941, 22 июня*, изданная в 1965 году Академией Наук СССР и содержащая критику Сталина. Видимо, я слишком поздно узнал об этом, потому что в каталогах крупных библиотек Курска не было уже и следа этой книги. Книги изымались и тут же очищались каталожные ящики. В одной из ведомственных библиотек Курска заведующая рассказала мне следующее: однажды к ней в библиотеку пришла дама — инструктор из обкома КПСС и потребовала книгу Некрича. Книга была дома у самого шефа этого ведомства. Пришлось срочно отправлять

посыльного к шефу и отбирать у него Некрича. Затем обкомовская дама сожгла тут же в библиотеке — там было печное отопление — труд советского историка.

Бывал у меня и самиздат, но, разумеется, далеко не каждому я мог его давать. Помню впечатление от трактата Сахарова *Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе*. Мы в Курске не знали, кто такой Сахаров и чем он знаменит. Я даже сомневался, действительно ли он академик. Слыханное ли дело, чтобы советский академик написал такую смелую вещь? И мыслил этот Сахаров широко, глобально, без оглядок на какие-нибудь авторитеты. Он говорил ни более ни менее, как о всемирном правительстве! Никакого догматизма, никакой трескучей фразеологии — обыкновенные и честные размышления. Вот разве что его предложения казались несбыточными. Но и широта, и утопичность были сродни Толстому, Ганди, Эйнштейну... Пименов, встретивший Сахарова случайно на научном конгрессе в Тбилиси, сказал мне, что этот академик — простой и застенчивый человек и что он, действительно, автор знаменитого трактата.

Одна машинистка Курского комитета радиовещания и телевидения получила от своей подруги трактат Сахарова и перепечатывала его в рабочее время и в служебном месте. Внезапно возник возле нее сам председатель этого комитета Борис Солнцев. Она испугалась и инстинктивно стала лихорадочно прятать в стол машинопись. Солнцев заметил это и спокойно отобрал у нее „крамолу”. Увидев, что это, он тут же позвонил в КГБ. Через полчаса здесь были офицеры КГБ и допрашивали машинистку. Счастье, что никого не посадили за Сахарова, только потеряла работу одна журналистка.

Нужно сказать, что в Курске самиздат появлялся и помимо меня. Среди студентов, актеров, преподавателей циркулировали письма Солженицына, его романы *Раковый корпус* и *В круге первом*. Я думаю, не было в СССР такого областного города, где не ходил бы по рукам самиздат, хотя бы и в ограниченном количестве. Был он и в Белгороде, и в Орле, в Тюмени и в Архангельске... А в Литве был свой

самиздат, хотя, конечно, Солженицын и там был популярен, как и Сахаров.

Все эти годы я, конечно, ни одного дня не забывал, что надо мной постоянно висит дамоклов меч. Что если в Курске появятся листовки, то КГБ вполне может заподозрить меня. Что если арестуют моего друга в другом городе, то, вполне вероятно, придут с обыском и ко мне. Что я „меченый” на всю жизнь, даже если я ничего предосудительного делать не буду. Я всегда помнил жуткое пророческое название одной из повестей Г. Фаллады: *Кто хоть раз отведал тюремной похлебки, тот неминуемо, неизбежно отведаст ее вновь*. Я только утешал себя, что, может быть, моя вторая судимость и есть второе „отвеживание” тюремной похлебки. Но — нет, эта чаша не могла меня миновать вновь, и однажды теплым воскресным апрельским утром, когда мы еще не встали с постели, к нам в дом пришли с обыском.

Неприятное чувство — холодок страха — возникало у нас частенько поздними вечерами, если у нашего дома останавливалась легковая машина: шорох шин, звук открываемой дверцы... Но они, против ожидания, явились утром.

Раньше в нашем доме бывало много самиздата, а тут, к счастью, ничего не было — ну, совсем ничего, одна лишь поэма Коржавина „Начальник творчества”, которую мне, впрочем, впоследствии вернули. Лишь через некоторое время мы узнали, чем вызван был этот обыск. Оказывается, в научном городе Обнинске Калужской области была арестована с самиздатом наша хорошая приятельница, давнишняя подруга моей жены Валя Зиновьева. Просидев 3 дня в тюрьме, она дала показания, что самиздат брала в Ленинграде у Пименова, а в Курске — у меня. Что, будучи в Курске, размножала самиздат на моей машинке, что отправляла самиздат по моей просьбе в Сибирь и т. д. После таких признаний ее выпустили, а у нас с Пименовым сделали обыски. Допрашивали нас сначала как свидетелей по „делу Зиновьевой”, а потом мы стали обвиняемыми, причем Пименова арестовали, а я был на подписке о невыезде (возможно, разница была в том, что у Пименова нашли при

обыске самиздат, а у меня — нет). Дело наше начинала Военная прокуратура г. Обнинска (почему военная? Дело в том, что Обнинск — город первой в СССР атомной электростанции, „режимный” город, т. е. находится на особом положении. Вот и прокуратура там особенная, военная). Затем дело передали в прокуратуру г. Ленинграда. Казалось, что и судить нас будут в Ленинграде. Но в последний момент „наверху” решили судить нас подальше от столиц, чтобы меньше было публики, и выбрали для этого Калугу — город, где ни я, ни Пименов никогда до этого не были. Каждый раз, уходя на допрос, я не был уверен, что вернусь домой. Так не вернулся с одного из допросов Пименов. Но мне предстояло и на суд в Калугу ехать „своим ходом” и за свой счет: по советским законам, дорогу в другой город и гостиницу государство оплачивает лишь свидетелям, но никак не подсудимым.

Все мое обвинение в „клевете на советский строй”, а конкретно, в распространении самиздата базировалось на показаниях Зиновьевой. В частности, по ее словам, я давал ей статью Джиласа об оккупации Чехословакии „Русская революция вырождается в империализм”, письмо П. Якира о Сталине в журнал *Коммунист*, предсмертное письмо Бухарина „Будущему поколению вождей партии”. Последний документ (сохраненный для потомства вдовой Бухарина, выучившей его наизусть) следователи сами решили не считать „клеветническим” и сняли из моего обвинения. Среди других „криминальных” материалов, фигурировавших в деле, был документ „Праздской весны” — 2 тысячи слов, *Хроника текущих событий*, обращение Литвинова и Богораз „К мировой общественности”.

Обвинение, построенное на показаниях одного человека, да еще и не свидетеля, а со-обвиняемого, казалось мне не-solidным. Например, Зиновьева говорила, что отправляла по моей просьбе самиздат в Новосибирск. Как можно было доказать или опровергнуть это? Исходя из презумпции невиновности, нельзя было ставить этот эпизод мне в вину. Но следователи и судьи исходили из противоположной

презумпции. Кроме того, понятно, что две моих прежних судимости в их глазах были верным „доказательством” моей виновности. Безуспешно я просил допросить своих новосибирских знакомых, давал следователям их адреса — им это было не интересно, с них было достаточно показаний Зиновьевой. А в обвинительном заключении они писали, что самиздат отправлялся в Новосибирск „неустановленному лицу”.

Итак, в октябре 1970 года в Калуге состоялся суд по нашему делу. Здесь, в узком коридоре суда я впервые увидел академика Сахарова и поразился простоте и скромности этого великого человека. Это был первый политический процесс, на который он пришел, и суд в какой-то степени считался с его присутствием. Из всех наших друзей только Сахарова пустили в зал судебного заседания, где все места были заняты калужскими и ленинградскими посланцами КГБ.

Когда прокурор говорил свою громовую обвинительную речь, один из этой „публики” прервал его и обратился к судье: „Товарищ судья, вон тот гражданин (жест в сторону Сахарова) записывает!”

Судья: Товарищ Сахаров! Я вас прошу, прекратите записывать.

Сахаров: Вы полагаете, что нельзя записывать речь государственного обвинителя? Вы мне запрещаете записывать?

Судья: Нет, я не запрещаю, я прошу вас.

Прокурор продолжал свою речь, но через несколько минут судья прервал его и снова обратился к Сахарову:

„Товарищ Сахаров! Я прошу вас не записывать... Ведь то, что вы записываете сейчас здесь, потом появится в реакционной печати на Западе”.

Сахаров ответил: „Это меня как-то не волнует”.

И в третий раз судья сказал, что он сам лично очень просит Сахарова не записывать. Только после этой настоятельной просьбы Сахаров перестал записывать.

В зале суда было душно, и окна второго этажа, где проходил суд, были открыты. Во дворе суда стояли наши

друзья, и громкая речь прокурора доносилась из окон и до них. Вдруг в зал зашел офицер охраны, подошел к судье и стал шептать ему что-то на ухо. Я сидел на скамье подсудимых напротив судей и услышал, как судья ответил склонившемуся к нему офицеру: „... машину!”

Офицер торопливо ушел, и через минуту во дворе заработал двигатель автомашины — „воронка”, в котором привезли из тюрьмы Пименова. 50 лет назад и 30 лет назад они расстреливали людей под шум работающих моторов. Теперь они глушили не „Голос Америки”, а голос их собственного прокурора.

Это были счастливые дни для меня, дни, когда я познакомился с замечательными людьми, с лучшими людьми страны. В течение нескольких дней перед судом и во время суда я встречался не только с Сахаровым, но и с его будущей женой, с Чалидзе, с Ковалевым, Твердохлебовым, Буковским, Гастевым... До этого процесса я почти никого не знал из „диссидентов” и, очевидно, не будь процесса, не был бы с ними знаком. Они помогли мне найти адвоката в Москве, а Чалидзе вызвался защищать меня, если бы с этим адвокатом не удалось договориться. У нас совершенно не было денег, не на что было даже ехать на суд, и была пущена „шапка по кругу”, и первым, кто положил в нее свой трояк, был Эрнст Орловский. Тельников при этом вспомнил, что Орловский был первым 13 лет назад, кто собирал деньги для помощи политзаключенным.

Орловский был вызван на этот процесс в качестве свидетеля Пименова и свидетельствовал, что чешский документ *2000 слов*, переведенный им с чешского на русский, распространялся в СССР совершенно легально — Союзпечатью, ибо был напечатан в *Литерарних листах*, газете, на которую была подписка. После этого нельзя было обвинять Пименова в распространении *2000 слов*. Тем не менее, уже после нашего суда, какой-то инструктор Ленинградского обкома партии, выступая в математическом институте, где работал Пименов, заявил, что это ничего не значит, что распространение *2000 слов* все равно считается преступлением.

Итак, не зная никого из „диссидентов“, живя в провинции, я плохо представлял себе так называемое „демократическое движение“. Я слышал по западному радио 2-3 наиболее часто упоминаемых фамилии, но мне казалось, что после арестов Литвинова, Богораз, Горбаневской в Москве уже никого не осталось, разве что Якир. Один Якир, и никакого там „движения“, думал я, сидя в Курске. Но, побывав в нескольких домах Москвы, встретившись с разными людьми, я понял, что ошибался. Особенно сильное впечатление произвело посещение одной обыкновенной юридической консультации на Таганке. Я был со спутником, Иваном Рудаковым. Признав в нем диссидента, к нему подошел незнакомый нам адвокат и спросил у Рудакова: „Как здоровье Марченко?“

Марченко был в то время в лагере. Рудаков ответил что-то, адвокат добавил, что интересуется Марченко только чисто из человеческих побуждений и, продолжая говорить о нем, сказал между прочим: „Завтра ведь день рождения нашего генерала!“

Не надо было уточнять, что речь идет о генерале П. Г. Григоренко. Мы расстались с этим адвокатом, и больше я с ним не виделся.

Так я воочию убедился, что „движение“ существует. Другой адвокат сказал мне, что сочувствует демократическому движению. Он видит величайшую заслугу движения в том, что оно сдерживает эту необузданную бесконтрольную власть.

6. ССЫЛКА

22 октября 1970 года мы выслушали приговор: Пименов и я получили по 5 лет ссылки, Зиновьева — 1 год условно. Это был, разумеется, мягкий приговор, и мы должны были быть довольны им: могло быть и хуже! Тут же в зале суда я был взят под стражу. Меня должны были держать в тюрьме, пока не привезут к месту ссылки. Парадокс заключался в том, что ссылка, по закону, считается наказанием, „не связанным с лишением свободы”. И тем не менее, человека, приговоренного к ссылке, сразу же лишают свободы, сажают в тюрьму. Сроки содержания в тюрьме нигде не определены. Правда, законодатель предусматривает засчитывать 1 день, проведенный в тюрьме, за 3 дня ссылки.

Поздним осенним вечером я вошел под конвоем в Калужскую тюрьму. Дежурный офицер, увидев меня, удивился: „Вы к кому?”

Ему тут же разъяснили, что я — новый арестант. И вот, как 13 лет назад в Ленинграде, меня ведут по зарешеченным лестницам, мимо бесконечного ряда дверей в камеру-одиночку. Захлопнулась дверь за мной — и я снова там, где был — когда? Я смотрю на „свою” камеру, и меня охватывает чувство вечности всего этого — будто я никогда и не

выходил отсюда. Вспоминаю свой сон: я вернулся в лагерь, и меня спрашивают: „Сколько времени ты пробыл на свободе?“ Я пробыл 5 лет на свободе, но сейчас мне все это кажется нереальным: семья, театр кукол, учеба в институте... Я смотрю на дверь с „глазком” и „кормушкой”: я вернулся на свою родину! В свой „дом родной”! Свобода была лишь эпизодом...

И еще необычное чувство облегчения: наконец-то! Говорят, у всех преследуемых, у всех, кто каждый день ждет ареста, в первые дни тюрьмы возникает это чувство: свершилось! Теперь не надо больше бояться, не надо слушать шорох машин за окном, тюрьма — твоя вечная мать — приняла тебя в свое мрачное лоно...

Мне было гораздо легче, чем другим арестантам: я знал свой приговор, я знал, что скоро буду на ссылке, ко мне придет жена с сыном, будет трудно, но это все-таки не лагерь. Не ясно только, сколько месяцев мне придется сидеть здесь. Но знать, что едешь не в лагерь, а в ссылку, — большая радость.

Потекла равномерная тюремная жизнь в строгой изоляции. Один день ничем не отличался от другого, и я не видел никого, кроме тюремных надзирателей. Решил последовательно читать и перечитывать Маркса, Энгельса, но в тюремной библиотеке, как ни странно, не оказалось их собрания сочинений. Ко мне пришел замполит тюрьмы и объяснил, что, кроме первого тома *Капитала*, они ничего из „классиков” мне предложить не могут. Как и в Ленинграде, здесь давали 1 книгу на 10 дней, и приходилось выбирать книги потоньше. В камере был всегда полумрак, лампочка слабой мощности еле светила над потолком над самой дверью, и читать можно было, лишь напрягая зрение.

Через 3 месяца меня, наконец, вызвали на этап. Поскольку теперь моя статья 190-1 была „уголовная” („распространение заведомо ложных измышлений”, в отличие от „антисоветской пропаганды”, не считается „государственным преступлением”), то и ехал я с уголовниками. Я вспоминал то счастливое время, когда можно было ехать с „ком-

фортом” одному: отдельно от уголовников в вагоне, отдельно на пересылках. Теперь у меня не было этой привилегии. Впрочем, не было у меня и страха перед ними, наоборот — любопытство. Да и после трех месяцев одиночки очень уж хотелось человеческого общения.

С первыми же встреченными (еще в вагонзаке) уголовниками у меня установились хорошие отношения. Первое, что я отметил, сравнивая их с уголовниками 1958 года, которым я давал „интервью” в свердловской тюрьме, это был их возросший уровень грамотности. Тогда средний образовательный ценз уголовников колебался где-нибудь вокруг 3-4 классов начальной школы. Отражая общий рост образования в стране, уровень нынешних преступников поднялся, и многие из встреченных мною воров, „расхитителей” и хулиганов имели 7-8 классов. Конечно, масса рецидивистов осталась при том же образовании, какое она имела и 10 лет назад. Лишь очень немногие посещали вечерние школы, созданные при лагерях. Часто уголовников принудительно заставляли посещать такие 8-летние школы, а они всячески уклонялись. С другой стороны, если среди учителей бывали молодые женщины, то многие уголовники сами стремились в такие школы: увидеть живую женщину во многих лагерях — редкость. (Впрочем, некоторые долголетние заключенные полагают, что лучше их и не видеть — не „растравлять сердце”).

Я долго беседовал в вагоне с одним грамотным уголовником, рассказывал ему о Сахарове, Солженицыне, „правах человека” — после долгого молчания меня „прорвало”. Он внимательно слушал, задавал вопросы, а потом говорил о своих симпатиях. Сказал, что из всех писателей он больше всех любит Кочетова. Кочетов был в их уголовном лагере на Одессине, выступал перед заключенными, его книги нарасхват в лагерной библиотеке. Дальше — больше, и нашу беседу он закончил ставшим уже стандартным рефреном: „При Сталине больше порядка было”.

Наш вагонзак двигался странным маршрутом: на Восток через Север. Мы ехали из Калуги в Ярославль через Калинин, потому что московская пересылка была открыта только для

московских заключенных. Провинциальных же заключенных „обслуживала” ярославская пересылка. В Ярославль нас везли несколько дней: прицепляли то к одному пригородному поезду, то к другому. То вагон наш долго стоял на каких-нибудь глухих запасных путях. На промежуточных станциях я узнавал все о новых лагерях, тюрьмах, психбольницах в Калужской, Смоленской, Калининской областях. Вот и Калинин, и я мельком увидел перрон вокзала, „вольных” людей, ожидающих своего поезда и не думающих о тех, кого в двух шагах от них везут в неизвестном направлении, навстречу новым тюрьмам, обыскам, „прожаркам”.

Я, как и каждый ссыльный, не знал, куда меня везут. На моем деле был указан конечный пункт, но конвой не имел права говорить мне об этом. Конечно, я предполагал, что это будет Сибирь. Но мог быть и север европейской части, Коми АССР, куда попал Пименов.

Первая пересылка на моем пути — Ярославль. Камеры переполнены людьми. Снова жалею, что в этот раз я прохожу „уголовником”: если бы я был „государственным”, то получил бы одиночку, а тут вот люди лежат и под нарами, и возле параша — места не хватает. Но в тюрьмах, как и в лагерях, уважают рецидивистов и тех, кто давно сидит. Мои спутники говорят в камере, что я был на особом режиме, носил полосатую одежду, и мне находится место на нарах: может, 30 сантиметров в ширину, но все-таки на нарах.

Из Ярославля везут дальше — неизвестно, куда. Запоминаю ночную картину на какой-то пересылке: медосмотр на предмет венерических заболеваний. Этапная партия — человек 40 — проходит мимо столика, за которым сидят две женщины в белых халатах. Заключенные — голые, сразу после бани, один за другим подходят к столику, и одна из женщин с фонариком в руке, направляя луч фонарика в твой пах, говорит механическим голосом одно и то же каждому: „Фамилия! Так. Залупите член! Так. Следующий! Фамилия!” и т. д.

Им надо спешить, у них несколько таких этапов каждый день. И груда наших дел на столе, в которых они делают пометки.

Привозят в Киров. Куда ж теперь дальше? На Северный Урал или в Сибирь? В камерах еще теснее, чем в Ярославле. В основном, здесь молодые люди — „химики”. Так называют тех, кто приговорен к новому виду наказания — „условному лишению свободы с обязательным привлечением к труду”. Сначала их „привлекали” к труду на стройках химической промышленности, поэтому и окрестили „химиками”. Положение их близко к положению ссыльных, но все-таки хуже. За любую провинность „химику” его условное наказание могут сменить на „безусловное” — отправить в лагерь. „Химик” не может, в отличие от ссыльного, выбирать себе работу, менять ее. Если он по образованию инженер, а его поставили на стройке носить кирпичи, то всякие его протесты бесполезны. „Химики” живут в специальных общежитиях, под присмотром офицеров МВД.

Этих молодых „химиков” везли на Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат.

Введение этого нового наказания диктовалось, очевидно, экономическими причинами: срочно нужна была рабочая сила в отдельных районах страны. „Химики” же, как и заключенные вообще, — дешевая рабочая сила, неприхотливая, бесправная, закрепощенная, как рабочий скот. Если в обычных условиях, осваивая новый северный район, приходится строить и современное жилье, и детские сады, и школы, то на всем этом можно было временно сэкономить. „Химики” были удобнее обычных заключенных: не надо было обносить района строек колючей проволокой, строить вышки, запретные зоны, привлекая к этому внимание окружающих. Да и не нужно было держать такого количества охраны с оружием и собаками, которое требует каждый лагерь. „Химики” были смешаны теперь с местным населением, однако бежать не стремились: за побег они попадали в лагерь, как, впрочем, и за неоднократный невыход на работу. Принуждение к труду „на химии” было обоих видов: и экономическое (никакого пособия или питания „химикам” ведь не полагалось), и внеэкономическое (угроза лагерем за любое нарушение трудовой дисциплины).

С самой первой моей встречи с уголовниками в поезде из Калуги на меня обрушиваются их рассказы, воспоминания, исповеди. Оказывается, за то время, когда я был в отрыве от лагеря, в карательной политике (или прежде всего, в самой советской действительности?) появилось новое характерное явление: все чаще и чаще судили „за баб”. „Семейная драма”, „домашнее хулиганство” — вот за что сидело большинство „свежих” уголовников. Раньше это было воровство, бесконечные указы за „хищение”, теперь же многочисленные приговоры, которые мне довелось читать, начинались стандартной формулировкой: „Будучи в состоянии опьянения... из хулиганских побуждений... побил жену”, или разломал всю мебель, или избил соседа, или выбил стекла в окнах любовницы... Наверное, можно было по-другому наказывать этих „домашних хулиганов”, но им, следуя указаниям свыше, все чаще давали „химию”, и уезжали хулиганы строить какие-то комбинаты на Севере и на Востоке, туда, куда по доброй воле они ни за что бы не поехали.

И тут государство использовало пьянство в своих целях.

А количество „семейных драм” в стране действительно росло, но если раньше о них узнавали только по синякам под глазами жены, то теперь среди таких жен возник обычай писать заявления на мужей не только парторгу, но и в милицию. По каждому такому заявлению возбуждалось уголовное дело. И напрасно потом отошедшая от гнева жена просила отдать ей ее заявление обратно и прекратить дело. Однажды возникнув, дело уже не могло прекратиться, и если жена начинала отрицать свои предыдущие показания, то ее саму грозили привлечь за дачу ложных показаний. И ей теперь ничего не оставалось, как носить в тюрьму передачи тому, кого она так неосмотрительно туда посадила. Конечно, это только один из типичных сценариев. Часто семейные отношения рвались сразу же после заявления в милицию. Да и „семейные драмы” были различного накала, иные заканчивались непоправимыми увечьями.

Словом, я был удивлен, когда на Ярославской пересылке все эти „новички” хором уверяли меня, что во всех их стра-

даниях (как и вообще в страданиях всего человечества) виноваты „бабы”. Все они были из разных городов и деревень, но все истории были типичные — что-то там натворил, а „баба” посадила. Когда я начал высмеивать их женоненавистническую позицию, они сказали, что я просто не знаю „баб”, всей их низости и коварства. И опять рассказывали тысячи случаев. А милиция, говорили они мне, целиком на стороне „баб”, верит им на слово. Милиции лишь бы посадить...

Отзвуки этого социального явления до сих пор появляются в советских газетах, потому что „семейные драмы”, как и пьянство, не становятся реже. Вот только судить за это стали вроде меньше, чем тогда: сейчас каждый начальник милиции заинтересован в уменьшении количества „дел”. Нужно создать видимость, что количество преступлений падает, вот милиция и отмахивается от многих „маленьких” дел.

Вскоре мне стали попадаться не только „химики”, но и ссыльные. До 1968 года, когда к ссылке были приговорены Литвинов и Богораз, я вообще ничего о них не слышал. Теперь вот сам ехал в ссылку, по дороге нас таких становилось все больше. Ссыльные, как правило, были алиментщиками: порвав с семьей, они уклонялись от выплаты алиментов на детей. В отличие от героев семейных драм, алиментщики не любили рассказывать о себе, иногда вообще скрывали, за что они сидят. Если не платишь своим собственным детям, то это трудно объяснить извечным коварством женщин. Конечно, большинство оправдывалось тем, что у них новые семьи, денег не хватает, и это звучало убедительно: они ненавидели алименты, как некоторые датчане налоги.

Кировская пересылка была забита заключенными. Однажды в нашу переполненную камеру зашла в сопровождении надзирателей женщина-врач. Очень формально спросила, кто на что жалуется. Тут я не выдержал:

— Как вы, врач, можете спокойно смотреть на эти нечеловеческие условия, в которых мы здесь находимся? О какой санитарии, гигиене можно говорить, если при норме в 20 человек нас здесь, как видите, 50?

— Если завтра, — ответила она мне холодно, — нам прикажут поместить сюда еще 50 человек, мы поместим, и вас здесь будет 100.

Путешествуя в вагонзаках и по пересылкам, мы спали, никогда не раздеваясь: простыней нам не давали. Давали матрацы, но мы не могли расстелить их все: на нарах не было дня них места, и на каждом матраце спало 2-3 человека. Книг не давали совсем. Уголовники делали самодельные карты и играли в них целыми сутками.

Двигаясь по пересылкам на Восток, я заметил: чем дальше от Москвы, тем лучше тюремное питание и тем хуже обращение администрации с заключенными. Чем дальше от Москвы, тем более независимыми феодалами чувствовали себя местные начальники.

Из Тюмени мой путь лежал на север, в Тобольск. В тобольской тюрьме, что расположена в самом центре города, напротив Кремля, на крутом обрыве Иртыша, нам не выдали даже и матрацев. В камере стояло 6 железных коек, нас было 11 человек, и надо было как-то спать на железных прутьях, вдвоем на каждой койке. Мы себя чувствовали ущемленными, тем более, что все мы были ссыльными и вроде бы должны были находиться в более привилегированном положении, чем обычные заключенные. Мы объявили всей камерой голодовку, отвергли завтрак и обед, но перед ужином нам дали-таки матрацы, и мы были рады — мы не очень надеялись на победу.

Уголовники редко прибегают к голодовкам, считая, что от них мало проку, зная на опыте, что начальство реагирует на голодовки чаще всего словами: „Ну и подыхай, ... с тобой!”

Наконец, после томительного сидения в тобольской тюрьме, когда 45-градусный холод давал о себе знать и в нашей камере, когда бесконечно долго тянулись часы без книг и когда мы успели надоесть друг другу, наконец, однажды к тюрьме подкатил автобус, обыкновенный городской автобус, а не привычный воронок, и нас повезли в нем в Уват, присоединив к нам группу ссыльных женщин. И на всю группу был только один конвоир, да и тот без оружия. В тот

день кончилась наша тюрьма, началась наша ссылка.

Уват — поселок в Тюменской области, районный центр в 120 километрах к северу от Тобольска. Здесь 3 или 4 тысячи жителей и, как во всяком районном центре, множество районных организаций. В Увате не было ни фабрик, ни заводов, но зато с давних времен здесь было место ссылки. Уватские жители, как и вообще сибиряки, недовольны тем, что их родные края используются властями для ссылки. „Выходит, мы сами тоже как бы ссыльные, раз наше село — такое место, куда ссылают?” — спрашивают они.

Нас привезли к зданию уватской милиции, и мы, отвыкшие от свободы, боялись даже отойти от этого здания, пока нам не разрешат этого. Нас принял комендант уватской милиции (так называется офицер, ответственный за ссыльных), отдал нам наши документы, и мы... могли идти на все четыре стороны, не выходя, однако, за пределы Увата. Мы должны были искать себе работу сами, мы могли искать себе жилье (каждый должен где-нибудь работать. Где он живет — это мало кого волнует), но милиция не обязана была помогать нам в этом. В тюрьме нас кормили, здесь мы должны были уже искать себе пропитание сами. У большинства из нас не было ни копейки денег.

Неудивительно, что ссыльные, едва выйдя из тюрьмы, тут же начинают воровать: украдут, например, какую-нибудь курицу, есть-то ведь надо. А местные жители считают (не без основания) ссыльных ворами, не любят их. „Ссыльный” в их устах — бранное слово, синоним „вора” или „бродяги”.

Я обратился к коменданту с просьбой одолжить мне 3 рубля, чтобы я мог позвонить жене в Курск, а она выслала бы мне денег. Он только усмехнулся: „Да вы что? Если я каждому буду давать 3 рубля, то у меня и зарплаты не хватит. — И добавил: — Давал когда-то, так ведь не отдают назад”.

Все-таки мне удалось достать 3 рубля у одного из ссыльных, имевших деньги, и, как ни хотелось есть, я потратил их на телефонный разговор с Курском. Притом, и на почте требовали от меня предварительной уплаты за разговор, „ибо,

— говорили они, — ссыльный, бывает, поговорит с Москвой, а платить за разговор у него нечем”.

Первую ночь свободы я провел на узкой лавке почты, голодный, но довольный тем, что мне удалось поговорить с женой. Она с сыном собиралась ехать ко мне, и мне срочно нужно было искать здесь жилье. С жильем в Увате обстояло так, как и в любом другом городе, поселке страны: его не было. То есть можно было в принципе купить дом, но он стоит несколько тысяч, а банки в СССР денег займы не дают. Можно было снимать угол (койку), но это стоит дорого, да и неудобно, когда у тебя семья. Но в Увате, в отличие от крупных городов, почти в центре поселка был совхоз, и у совхоза были свои дома. Совхозы (как и колхозы) часто нуждаются в рабочей силе и предоставляют жилье тому, кто будет работать в совхозе. Но жилье это — ведомственное, и если ты уйдешь из совхоза, то должен освободить этот дом.

Я пришел в контору совхоза и предложил свои услуги. Директор согласился взять меня в качестве подсобного рабочего, предоставлял он мне и жилье — часть дома. Это было совсем нежилое помещение. Года два назад Иртыш сильно вышел из берегов (Уват стоял на берегу Иртыша) и затопил часть домов. Уровень воды в этой квартире до сих пор четко выделялся на стенах — сантиметров 70 от пола. После наводнения никто не жил в этой квартире, она была невообразимо грязной и насквозь промерзшей.

Я никогда до этого не жил в деревне и не представлял себе сельскохозяйственных работ, тем не менее я согласился бы на любую работу, какую бы ни предложил мне директор, — ведь это была единственная возможность получить квартиру. Думал: надо терпеть, на все соглашаться, только бы жить с семьей, иметь крышу над головой. Но, когда бригадир водил меня по совхозу, показывая то совхозные склады, то какую-то ферму, то конюшню, я с тоской смотрел на все это и, ступая за ним след в след среди необозримого снежного поля, думал: Боже! Куда я попал? Как все это чуждо, непонятно мне. Насколько все привычное и родное в тюрьме, настолько все это враждебно мне здесь.

Они сказали: возьми лошадь и привези себе дров. Как будто это так просто! Ни одна лошадь не послушается меня, не говоря уже о том, что я не имею понятия, как их запрягать...

Любой человек, выросший в деревне, быстро сориентировался бы на моем месте, но мне было трудно постигать многие простые вещи.

Вскоре меня определили на хорошую работу: я должен был записывать молоко, надоенное доярками, а потом грузить это молоко на тракторную тележку, затем ехать на молочный завод (здесь же, в Увате), выгружать это молоко, взвешивать его (ставить бидоны с молоком на весы, затем снимать с весов), забирать пустые бидоны. Моя работа была работой грузчика, причем никаких подъемников там, конечно, не было, и бидоны нужно было поднимать на любую высоту вручную. Но, с другой стороны, это была также и конторская работа, так как я должен был правильно фиксировать продукцию и на молочном заводе представлял интересы совхоза. Совхоз боролся за то, чтобы его молоко принималось как можно более высоким сортом и с наивысшим процентом жирности. Завод же старался занизить процент жирности и таким образом создать у себя излишки масла и сливок. Каждый работник завода тащил домой молоко и сливки, было много других, производственных потерь, поэтому каждая десятая процента жирности, украденная у совхоза, оборачивалась для завода килограммами масла.

Коровы не знают выходных, поэтому и доярки работают без выходных. Иногда принимали на работу так называемую подменную доярку, которая должна была замещать по очереди всех доярок, когда те получали выходные. Но обыкновенно эти доярки были ненадежные, и кадровые доярки им не доверяли, предпочитая работать без выходных, чем отдавать свою группу коров в чужие руки. Бывали у нас подменными ссыльные женщины, но их главный интерес был в том, чтобы как можно больше молока выпить на работе и как можно больше утащить домой, детям. Интересно, что среди доярок считалось дурным тоном воровать молоко

с фермы, и они всегда говорили мне, что такая-то „тащит молоко“, что об этом надо сообщить начальству. Все объяснялось просто: у каждой кадровой, постоянной доярки была собственная корова дома, ей не было особой необходимости воровать. Я, разумеется, никому не доносил, но намекал иногда „воровке“, что если уж воровать, то надо более уметь.

Итак, поскольку ферма работала без выходных, без выходных работал и я. Предполагалось, что впоследствии я буду получать отгулы, но начальство не могло найти мне замены. Тот факт, что я не пьянствовал, поднимал меня в их глазах: их устраивала моя устойчивость. Так я и работал каждый день, и в праздники, и в будни. Летом вставал в 5 утра, ложился не раньше 12 ночи. Зато зимой работа отнимала у меня мало времени. Пока доярки доили коров, я что-нибудь читал. Среди доярок, скотников, простого деревенского люда чтение считается пустой тратой времени или блажью. Некоторые полагают, что от длительного чтения можно сойти с ума. Я, во всяком случае, воспринимался доярками как человек странный.

Я, как мог, помогал им защищать их права. Трудовое законодательство сплошь и рядом нарушается в колхозах и совхозах. Если человек работает в выходной день, его труд должен оплачиваться в двойном (в отдельных случаях — в полуторном) размере. Дояркам же платили за выходные дни по обыкновенным ставкам, и, не без моего участия, это положение было исправлено. Да и мне самому за работу в выходные дни стали платить вдвойне. Вообще же люди в сельской местности не очень любят отстаивать свои права. Часто они их даже и не знают, а если и знают, то боятся требовать, идти на конфликт. „Правды все равно не добьешься“, „по-нашему никогда не будет“ — эти высказывания можно часто услышать в России, и рождены они общей атмосферой безнадежности.

Наше окружение состояло из самых простых людей, из тех, кого пропаганда именует „простыми советскими людьми“. Была в Увате интеллигенция — учителя, врачи, но с ней

у нас практически не было связи. Доярки знали, что я — не обычный ссыльный, политический, но это у них не вызывало интереса. Аналогично обстояло дело и с интеллигенцией. Мой приятель-врач, приехавший в Уват, рассказал-таки уватским врачам обо мне: есть, дескать, здесь такой политический ссыльный.

— За что же он сослан? — поинтересовался один врач.

— За то, что считал, что каждый открыто может высказывать свое мнение кому угодно, — ответил мой приятель.

— Но я тоже так считаю! — удивился врач. — Но меня ведь не сажают в тюрьму.

— Разница в том, — сказал мой приятель, — что вы считаете так про себя, а он осмелился сказать об этом вслух.

Суть дела тут схвачена точно: все мы сидели и сидим за то, что явочным порядком реализуем свое естественное право на свободу мнений.

После этого разговора отношение уватских врачей ко мне изменилось, но интерес к общественным проблемам был у них такой же, как и у уватских доярок.

Много нам досаждали пьяницы: знакомые и незнакомые, мужчины и женщины стучались в дом, просили денег взаймы. Одни потом отдавали, другие — нет. Рядом с нашим домом был магазин. Мы знали, что когда водка и вино в магазине кончаются, то в дело идет одеколон. Знали прекрасно и продавцы, что одеколон, покупаемый у них, идет совсем не для гигиенических целей. Знали и не смущались этим: им нужно выполнить план, и их зарплата зависит от суммы выручки.

Однажды наш сосед-пьяница предложил нам купить у него по дешевке дрова. Мы очень нуждались в дровах, но опасались покупать их у него так дешево, как он предлагал. Он все объяснял нам, что дров себе он завтра привезет, а сейчас ему нужны деньги на водку. Дрова мы у него купили, а через час появилась его жена, объявила эту сделку недействительной, забрала эти дрова от нас назад. Но денег назад мы, конечно, не получили. Это было нам уроком: существует твердое мнение в народе, что у пьяницы, трезв он или пьян, ничего без ведома его жены покупать нельзя. Но он нас

уверял, что это его собственные дрова, что жена к ним отношения не имеет (они хотя и жили под одной крышей, но он ей не отдавал своей зарплаты, а платил алименты на детей через бухгалтерию). Часто пьяницы носят по домам на продажу ворованные вещи: мясо, другие продукты, выдавая их за свои, — и поди установи, ворованные они или нет.

В Увате, а потом и в Тобольске я ни разу не сталкивался с антисемитизмом (может быть, потому, что в этих краях никогда не жили евреи?). Но здесь жило много немцев, выселенных во время войны из их республики на Волге. Они прижились здесь, „пустили корни” и не собирались никуда уезжать. Женщины-немки славились своим кулинарным мастерством и работали в уватских столовых. Отношение местного населения к немцам было доброжелательным. Были здесь и чуваши, несколько сел переселенцев. К ним русские относились несколько свысока: если немцев уважали за хозяйственность и основательность, то чуваши считались бедным и отсталым народом. Наиболее образованные из чувашей выписывали из Чебоксар газеты и журналы на чувашском языке, мечтали вернуться на родину. Но для людей, обремененных хозяйством и детьми (а у всех их было много детей), это совсем не просто.

Как только наши друзья в Москве и Ленинграде узнали наш уватский адрес, мы стали получать множество посылок, писем, бандеролей. Нам слали продукты, которых никогда не было в нашем захолустье, да, впрочем, иных не было и в обычных московских магазинах. Француженка Таня Матон покупала для нас (не зная, впрочем, нас лично) тушенку в „Березке”. Такие же закупки делались и для других ссыльных, для заключенных и их семей. Фонда Солженицына тогда еще не было, но вот такой „Красный Крест”, „шапка по кругу” — все это уже было. Для нас эта помощь была большой поддержкой: и материальной, и моральной.

От почты до нашего дома было около 3 километров, и я помню, как одно время я каждый день таскал посылки с одного конца Увата на другой. А то вдруг приходило 2 посылки одновременно, и местные жители не переставали

удивляться, что я каждый день ношу тяжелые деревянные ящики с почты. Не только мы получали посылки, но чтобы каждый день... да еще по две... И я чувствовал на себе их недоуменные взгляды.

Получал я письма от Пименова, который отбывал свою ссылку под Сыктывкарком, в Коми АССР. Он написал мне об „Эмнести Интернейшнл“, о том, что над ним шефствует голландская группа, и он получает письма от них. А надо мной шефствует датская группа. Вскоре, действительно, я получил письмо, написанное по-русски, из Дании, где говорилось, что „8 датчан, живущих возле Копенгагена, желают поклониться вам“. Я догадался, что это и была группа „Эмнести“. У меня завязалась с ними переписка, причем письма, написанное мною по-английски, к ним не доходили, доходили только письма по-русски. Означало ли это, что какой-то цензор в Тюмени или в Тобольске не знал английского языка? В это трудно поверить, но факт остается фактом.

Иногда я думал: „Эмнести“ нашла меня, и трогательно было читать их письма. А что же социалисты на Западе? Левые? „Новые левые“? А социал-демократы со своим Социалистическим Интернационалом? Разве само слово „Интернационал“ не обязывает их к помощи единомышленникам во всех странах мира? Разве не преследуют социалистов и социал-демократов в СССР, Чехословакии, Польше? Разве мы здесь не боремся, в конечном счете, за их — этих западных социалистов и социал-демократов — свободу?

Друзья не только присылали нам письма и посылки, они и приезжали к нам в гости, несмотря на то, что в Уват очень трудно добираться. Летом 1971 года у нас гостили двое московских друзей. Однажды утром пришел участковый милиционер и сказал, что начальник милиции срочно вызывает меня, моего 5-летнего сына и моих гостей к себе. (Жена моя в это время была на работе.) Тут я увидел, что мимо нашего дома прошли еще два офицера милиции. Посоветовавшись, мы решили идти к начальнику милиции. Стоило нам уйти туда, как два милиционера направились к нашим соседям. Один из них был местным пожарником,

второй — пожарником из Тюмени. Пожарник из Тюмени очень уж хотел проверить пожарное состояние нашего чердака и полез туда по лестнице наших соседей (чердак был общий на 3 квартиры). Местный пожарник рассказывал мне впоследствии, что был очень удивлен таким странным поведением своего тюменского коллеги: они ведь объясняли ему, что эти совхозные дома — относительно новые и в пожарном отношении гораздо безопаснее, чем многие другие. Через 15-20 минут пожарник слез с чердака, и руки у него были по локоть в земле: он „проверял потолочное покрытие”. Он помыл руки у соседей, и оба пожарника ушли.

Ничего этого мы не знали, пока находились у здания милиции. Начальник милиции, желавший видеть нас „срочно”, вдруг оказался „занят”. Мы сидели и ждали, понимая, что они просто „тянут время”. Я предполагал, что в нашей квартире идет в это время обыск. Через час начальник принял нас. Оказалось, он хотел попросить моих гостей поставить в паспортах штамп о прописке. Гости сказали, что они завтра уезжают. „Что ж, — сказал начальник, — пусть сразу поставят штамп о прописке и о выписке”. Они так и сделали, и мы вернулись домой. Едва войдя в квартиру, я тут же обнаружил на полу горсточку мела, осыпавшегося с потолка. Меня осенило и я полез на чердак. Через 5 минут я принес оттуда подслушивающее устройство: плоскую коробочку с трубочкой-микрофоном, открытый конец которого и выходил в дырку в потолке, и два проводка от коробочки, ведущих к батарее. Мы рассмотрели внимательно все это, но ни один из нас не был силен в радиотехнике, чтобы определить, записывающее это устройство или передатчик.

Мы решили поставить его на месте, только один проводок оторвать, чтобы устройство не функционировало.

Только я водрузил аппарат на место, снова пачкая руки в земле и кошачьих экскрементах, как увидел тех же двух пожарников. Тюмонец был явно взволнован и сказал мне как хозяину дома: „Я должен проверить работу противопожарного устройства на чердаке вашего дома”. Я попросил

у него документы, и его красное удостоверение работника УПО УМВД действительно свидетельствовало о том, что передо мной капитан пожарной охраны такой-то. Я пустил его на чердак, а мой товарищ из Москвы, стоя на лестнице, не сводил с него глаз. Тут капитан стал жаловаться мне на моего товарища: ему, капитану, надо заниматься делом, а этот человек мешает ему, следит за ним... Мы оставили капитана одного демонтировать его разоблаченный аппарат, а сами занялись своими делами.

Уватский пожарник говорил мне потом, что он так и не мог понять, что случилось, почему его коллеге пришлось дважды лазить на наш чердак. Даже от него факт установки подслушивающей аппаратуры был законспирирован.

После этого случая КГБ, видимо, решило, что следить за мной трудно: в деревне все на виду — КГБ следит за нами, а мы — за КГБ. Да и не было в Увате собственных кагэбешников, надо было или вводить эту штатную единицу, или все время тратиться на командировочные расходы тюменских „товарищей”.

И вот однажды комендант сказал мне, что я могу подать заявление о переводе меня из Увата в город (в Тобольск или в Тюмень) „по состоянию здоровья”. Это было неслыханно, перевод ссыльного с одного места в другое допускался по закону как исключение, с разрешения Министерства внутренних дел! Конечно, им было бы легче следить за мной и моими гостями в городе. Именно это, а не мое здоровье, их интересовало. Я подал требуемое заявление, мне самому тоже хотелось жить в городе. Конечно, опять встанет проблема жилья, о чем я не преминул сказать коменданту. Он успокоил меня: „Тут нашли жилье? И там найдете! Знаете ведь, к какому министерству относиться...”

Я был рад, что покидаю Уват еще и потому, что с начальником милиции Шемякиным у меня были напряженные отношения. Этот самодур использовал свое служебное положение в личных целях: люди, отбывавшие 15-суточные аресты в его КПЗ, делали различные работы в его особняке, он бессовестно эксплуатировал их труд. После моего отъезда

из его КПЗ убежало два несовершеннолетних вора. Милиционеры поймали их и снова посадили в КПЗ. Они снова бежали. Их снова поймали, и Шемякин распорядился подвесить их за наручники к потолку. После такой пытки у одного из молодых людей случилось что-то с руками, и их, говорят, ампутировали. Мать пострадавшего написала в Москву, в дело вмешался местный прокурор, давно уже враждовавший с Шемякиным и искавший случая его свергнуть. Дело получило большую огласку (даже журнал *Советская милиция*, выходящий в Москве, писал о Шемякине, не упоминая, впрочем, о пострадавшем юноше), Шемякина судили, и он получил 5 лет „химии“ за „превышение власти“. Его, однако, никуда не увезли, он в том же Увате работал теперь уже не грозным начальником милиции, а простым слесарем. А в дом, над благоустройством которого трудились бесплатно заключенные, пришел жить новый начальник милиции.

Через неделю-другую мне сообщили, что я могу переезжать в Тобольск. И вот передо мной — город зеленых крыш, прекрасный город на Иртыше! Прекрасным он казался мне после Увата: это была цивилизация после дикости, новое время после средневековья, это была старинная сибирская столица! А что такое Уват? Низкая бесконечная равнина вдоль Иртыша, кругом ни холмика, ни бугорка. И никакой истории, история ничего не помнит об Увате.

Тобольск расположен в двух плоскостях: внизу у Иртыша — деревянный город, множество уходящих к горизонту одно- и двухэтажных домов, построенных еще в прошлом веке, тут же пассажирский порт и рынок. Вверху над Иртышом, на возвышенности, — верхний город, город самых древних зданий, первых каменных зданий в Сибири: архиерейские палаты, Кремль, тюрьма. А дальше — трафаретное здание горкома партии с неизменным Ильичом перед фасадом, городская больница, городское кладбище. А дальше — новостройки.

Уватская милиция дала мне направление в некую строительную организацию, СУ-23, которая и должна была обес-

печить меня жильем и работой. СУ-23 занималось промышленным и гражданским строительством, и в нем бок о бок работали вольные граждане и „химики”. „Химики” заселяли 5-этажное общежитие в верхнем городе, причем один из этажей был отдан семейным — и „химикам”, и вольным. Там всегда стоял детский плач и пахло щами и пеленками.

Меня определили в комнату, где жили 3 „химика”. Люди, за исключением разве что семейных, чувствовали себя здесь как на пересылке: нужно было отбыть определенный срок, год, или два, или три. И никто не думал о каком-то уюте. В комнатах было грязно, окурки бросались на пол, на койки часто падали одетыми и даже в сапогах. В дни зарплаты и аванса все общежитие „гудело”: шла попойка, традиционно заканчивавшаяся драками и вытрезвителями. Зная, что обычно на следующий день после зарплаты наступает похмелье и далеко не каждый испытывает желание идти на работу, начальство СУ-23 выдавало зарплату и аванс по пятницам. В отличие от совхозов и колхозов, где существует 6-дневная рабочая неделя (а порой и 7-дневная), в городах в этом отношении лучше, и в СУ-23 по субботам и воскресеньям, как правило, отдыхали.

В этом большом 5-этажном здании канализация бездействовала, и несколько сот человек бегало в дощатую уборную во дворе. Особенно большие очереди были у этой уборной по утрам. Семейные, у которых были дети, пользовались горшками, и часто можно было видеть молодую мать с горшком в руке, шествующую по общежитию во двор, к уборной. Странно, что в этом доме жили строители самых разных специальностей, а отремонтировать канализацию для самих себя не могли.

На каждом этаже здесь были кухни, где можно было готовить еду, но вода (холодная) далеко не всегда поднималась до верхних этажей, и многие жители делали запасы воды, наполняя пустые кастрюли, бутылки.

Это было новое общежитие, построенное „химиками” для себя, и в официальных документах оно называлось „благоустроенным”.

Предполагалось, что моих сожителей переселят в другие комнаты, а в этой комнате будет жить моя семья. И это было бы неслыханной привилегией для человека, только-только принятого на работу: получить комнату для семьи в общежитии! Другие ждали этого месяцами. Начальник тобольской милиции без обиняков сказал мне, что для них лучше, чтобы я жил в общежитии: легче следить за мной.

Общежитие с его вечным шумом, пьянкой, мелким воровством и очередями в уборную слишком уж напоминало мне уголовный лагерь (да еще эти бесконечные разговоры о том, сколько у кого осталось срока). Мы решили по-купать дом.

Цены на дома в Тобольске растут не меньше, чем в Копенгагене, и самый дешевый из них (не дом, а часть дома) стоил тогда 1800 рублей. Это жилье было, конечно, гораздо хуже нашей уватской квартиры. В той, по крайней мере, было сухо, здесь же, в купленной нами квартирке, окна находились на уровне ног пешеходов, весь дом медленно оседал, уходил в землю. Находился он в нижней части города, там, где когда-то было дно Иртыша.

Разумеется, деньги нам пришлось занимать у наших московских друзей. Мы были рады: как ни плох был этот старый дом, но все лучше, чем в общежитии.

Я работал на стройке с цементом, выгружал его из машин, подносил в носилках к раствору узлу, замешивал вместе с другими рабочими раствор для штукатурки. Работа была тяжелой, но мне нравилась. По крайней мере, рабочий день был нормальный, и обеспечено 2 выходных в неделю.

Советские социологи недавно „открыли”, что важной причиной миграции молодежи из села в город является нормальный рабочий день на городских предприятиях, чего никогда не было в совхозах и колхозах.

Каждый понедельник я как ссыльный должен был являться в милицию для регистрации, и эти несколько часов, пока я отсутствовал, отмечались в табеле как мои рабочие часы: непосредственное мое начальство в СУ-23 хорошо относилось ко мне.

В милиции мне сказали, что я единственный политический ссыльный и вообще единственный ссыльный в Тобольске. Ссыльных здесь не держат, всех их отправляют севернее Тобольска. В Тобольске в то время были только „химики“, и количество их росло: в связи с разработкой тюменской нефти здесь начал сооружаться нефтехимический комплекс.

Как ссыльный я имел здесь немало знаменитых предшественников: в конце 18-го века через Тобольск проследовал ссыльный Радищев, здесь жили ссыльные декабристы, в начале века отбывал здесь ссылку украинский поэт-демократ Грабовский, наконец, после Февральской революции Временное Правительство сослало сюда царскую семью. Эта семья жила здесь в огромном каменном доме, над которым теперь развевается красный флаг: здесь теперь размещается тобольское правительство — райисполком. А царскую семью увезли из Тобольска в Свердловск, где и расстреляли. В музее Тобольска хранятся фотографии царской семьи времен их пребывания в этом городе, но эти фотографии показывают лишь почетным гостям, от простых смертных они скрыты. Между тем, если и существуют в стране монархические настроения, то не среди простых людей. Рядовой житель Тобольска средних лет (а тем более молодой) с трудом может вспомнить имя последнего императора. Куда более актуален для тоболяков вопрос: где можно сдать пустые бутылки? Вот и ходят с мешками и сумками, наполненными пустой посудой, от магазина к магазину: в одном месте выходной, в другом объявление „ушла на базу“, в третьем — нет пустых ящиков...

Эта винпосуда и вино как таковое скоро стали иметь ко мне самое непосредственное отношение. Дело в том, что работа на стройке стала надоедать мне из-за вредной цементной пыли. Бывало, после выгрузки цемента я с ног до головы был покрыт им, я дышал цементом и сплевывал его. Конечно, на стройке имелись специальные маски и респираторы, но я не любил их надевать — очень уж неудобно было в них работать. Еще в 1966 году в Курске у меня обнаружили небольшой очажок в легких — память о сыром спеце — об

особом лагере №10, и теперь я решил искать другую работу. Тем более, я был ведь не „химик”, а ссыльный. Я прочитал в газете, что винному заводу требуется экспедитор, и предложил свои услуги. И меня взяли, хотя я не очень на это надеялся. Директор завода, оказалось, не знал, что я — ссыльный, а я ему об этом не сказал. Но через месяц, когда встал вопрос о моей поездке в командировку в Тюмень, я признался директору, что без разрешения милиции в Тюмень ехать не могу. Он был страшно удивлен: „Ты — ссыльный? Политический? За что? — и показывал меня потом приезжим виноделам как музейную редкость, как достопримечательность его завода: — А у меня тут политический ссыльный работает, вот, знакомьтесь — Борис Борисович”.

Впрочем, он был доволен моей работой, ибо, в отличие от всех моих предшественников, я не пил. А им, как и уватскому совхозу, нужен был трезвый стабильный человек, на которого можно было бы положиться. Тем более, это ведь был не какой-нибудь, а винный завод, и напиться вдрызг здесь не составляло труда, и денег для этого не требовалось.

Меня в Тобольске часто спрашивали: как вообще может работать винзавод? Имея непосредственный доступ к вину, как люди умудряются там работать, а не лежать в беспамятстве возле винных чанов?

Ну, во-первых, большинство рабочих там — женщины. А женщины если и пьют, то меру знают. Во-вторых, никто, в конце концов, не хотел быть уволенным с такого хорошего завода. Пьют обычно в конце смены, перед самым уходом с завода. Грузчики, которые работают во дворе, перед концом рабочего дня приходят в винный цех и выпивают залпом литр-два крепленого вина.

Сухое вино и фруктовые соки завод получает из Болгарии, Кавказа и из Средней Азии. Здесь из этих полуфабрикатов приготавливаются всевозможные „вермуты”, „белое крепкое” и прочие вина, называемые в народе „бормотухой”, „краснухой”, „хрущевкой” и т. д.

Наш завод не отличался в принципе от любого другого

предприятия в городе, разве что продукция его пользовалась необычайной популярностью. Поскольку именно винзавод обеспечивает выручку торговым предприятиям и, таким образом, деньги городскому бюджету, то, в отличие от многих других предприятий, здесь никогда не задерживают зарплату. Строителям могут задержать зарплату на неделю и больше (мотивируя так: „в банке денег нету”), но на винзаводе никогда так не случалось. И поскольку производство вина (в отличие от производства молока в совхозе) — дело всегда прибыльное, то все рабочие винзавода всегда получают ежемесячную премию (10-15 рублей) и ежегодную так называемую „тринадцатую зарплату”, размер которой зависит от стажа работы на данном предприятии. В этом смысле условия работы на винзаводе приближаются по своему уровню к условиям какого-нибудь оборонного предприятия („почтового ящика”), разве только на винзаводе зарплата рабочих, разумеется, ниже.

Зарплата „рабочих и служащих” в среднем по стране в те годы исчислялась официально в 130-140 рублей. Женщины, работающие в цехах нашего завода, получали 120-130 рублей вместе с премией. Рабочие-грузчики, кантовавшие 500-килограммовые бочки с вином, получали 140-150 рублей. Женщины-грузчицы, целый день грузившие вручную ящики с пустыми бутылками (каждый такой ящик весит около 20 килограммов), получали немногим меньше. Я как экспедитор получал 105 рублей, и премия мне не полагалась. Называя эти цифры, я включаю в них и 15-процентную северную надбавку к зарплате, которую получает каждый работающий в этой зоне Тюменской области. Что касается меня лично, то я проиграл в заработке, уйдя со стройки (там я получал 120-130 рублей), но зато не дышал больше цементом.

В моем распоряжении как экспедитора была бригада грузчиков. Я ездил с нею на железнодорожную станцию, там я оформлял все необходимые документы, а они выгружали соки в огромных бочках. Я должен был ежедневно писать наряды на их работу, указывая вес выгруженного ими груза,

расстояние, на которое им приходилось катить эти бочки и т. д. Нормировщик расценивал эти наряды, и теперь это была их зарплата за месяц. Разумеется, грузчики всегда просили меня приписать им вес или расстояние, и мне, конечно, не стоило никакого труда написать 30 тонн вместо 25. Но в бухгалтерии тоже понимали это и следили, чтобы зарплата не превышала определенного уровня. Таким негласным максимумом считалось 180 рублей, и даже если грузчики работали по выходным дням и сверхурочно, сколько бы я ни приписывал им, бухгалтерия так оформляла документы, что больше 180 они все равно не получали. Из этой суммы высчитывался подоходный налог, который был равен 10-15%. Партийцы жаловались на крупные суммы партвзносов, которые также росли пропорционально зарплате.

Я неожиданно обнаружил, что кое-кто может заискивать передо мной и даже давать мне своеобразные взятки. Дело в том, что, как я уже писал, зарплата продавцов магазинов и их премии зависят от выполнения ими плана. А план этот они могут выполнить только за счет продажи вина и водки. Наш завод поставлял в эти магазины вино, и каждый магазин хотел иметь большее влияние на наш отдел сбыта, куда относился и я. Бывали периоды навигации, когда мы вообще не поставляли вино тобольским магазинам — вся наша продукция шла, согласно плану выше, на крайний север (Салехард, Нефтеюганск, Нижневартовск — к геологам, нефтяникам, рыбакам). Тогда за начальником отдела сбыта и — реже — за мной ходили по пятам умоляющие женщины-заведующие тобольских магазинов и причитали: „Иван Александрович! Нечем торговать... Полки пустые... Ну, хотя бы 200 ящиков... Ну, 100... План нечем выполнять... Я вас отблагодарю...” Конечно, из нескольких тысяч ящиков ежедневной продукции можно было сотню-другую отпустить такой плачущей женщине. Каюсь, что и я несколько раз был „отблагодарен”: покупал в их магазинах растворимый кофе (его в этих магазинах, конечно, никто никогда не видел на витринах: все шло начальству, самим продавцам и на такого рода подкуп).

Известно, как советское государство наживается на водке. Не меньшую прибыль дает ему и вино: себестоимость соков и спирта ведь очень низкая. Каждую декаду я отвозил из нашей бухгалтерии в Тобольский горплан справку о перечисленном налоге с оборота. (это налог государства на предприятия, изымающий большую часть прибыли в Госбюджет). Мало было предприятий в Тобольске, которые платили столь высокий налог с оборота. В горплане сразу выхватывали у меня справку и жадно впивались в шестизначные цифры.

Частенько, когда наше вино уходило в баржах на север, а полки тобольских магазинов быстро пустели, к директору нашего завода приезжали отцы города искать выход из положения: магазины не давали выручки, наличных денег не изымалось у населения в нужном количестве, а стало быть, нечем было платить людям зарплату. Нарушалось денежное обращение города. Эти визиты городского начальства должны были подвигнуть нашего директора на нарушение государственного плана (снабжение севера) во имя местных интересов, интересов родного города. Иногда его самого вызывали в горисполком, в горком партии: увещевали, грозили, просили... Но он хорошо знал и то, что в случае несвоевременных поставок вина на север завод будет оштрафован безжалостными потребсоюзами. И никакие ссылки на то, что навигация началась позже обычного срока, или на то, что баржа с вином оказалась зажата льдами, никакого юридического значения иметь не будут.

В первые же дни в Тобольске я увидел вальяжного, почти молодого человека, который появлялся в самых неожиданных местах, наблюдал за мной, но упорно делал вид, что я ему неинтересен. Внешне он очень был похож на Вилли Брандта, только молодого. Вскоре пришлось познакомиться ближе с этим энергичным человеком, и после этого он уже не ходил за мной по пятам, как в первые дни. Это был начальник горотдела КГБ капитан Новосельцев. С того дня, как я стал жителем Тобольска, Новосельцев стал отвечать за меня перед Высшими Силами. Разделял его ответственность

его помощник, молодой лейтенант Галеев (полуказанский, полусибирский татарин). В штате горотдела КГБ была еще одна женщина. На железной дороге также был представитель КГБ. Если их всего было четверо, то, думаю, и это много для города в 30 тысяч жителей.

Был в Тобольске пединститут. Я, еще будучи в Увате, делал попытки поступить туда и доучиться (в Курске я успел кончить 4 курса из 5). Меня охотно брали на заочное отделение, но потом вдруг наотрез отказали. Мне стало ясно: им позвонили из КГБ. Потом ректор пединститута согласился принять меня у себя в кабинете и объяснил, почему они не могут позволить мне учиться. Я пришел туда минут на 10 раньше назначенного срока и в дверях института столкнулся с лейтенантом Галеевым: значит, ректор прежде, чем принять меня, принял его. Галеев инструктировал ректора, как, под каким предлогом отказывать мне в праве на образование.

Город был небольшой, и я сталкивался со „своими” кагебешниками в самых неожиданных местах: то в бане, то на почте... Галеев вызвал меня как-то на допрос по делу Хаустова — Кузина, и я спросил его между прочим, кто он по специальности. Оказалось, физик, радиотехник.

— И вы такую блестящую специальность променяли на это вот средневековое (я показал на лежащие перед ним бумаги), на контроль за мыслями.

Он насупился:

— Не думайте, что мы только вами и занимаемся. Вы ведь знаете, что Тюменская область — край нефти и иностранным разведкам очень хотелось бы проникнуть сюда... Моя работа нужна стране.

Вскоре я понял, что напрасно упрекал Галеева в измене физике. Можно ведь прекрасно сочетать работу в КГБ с радиотехникой. У нас еще в Увате завязалась оживленная переписка с Майей и Павлом Литвиновыми. У Павла вскоре кончалась ссылка, и он по пути в Москву собирался заехать с семьей к нам. Незадолго до его приезда наши соседи по дому случайно обнаружили в подполье, на границе с нашей половиной дома, эбонитовую коробочку, от которой шли

проводки не к батарее, как в Увате, а к источнику переменного тока, к электросети. Все было сделано очень ловко, и мы никогда не узнали бы об этом новом подслушивающем устройстве, если бы не соседский котенок, который нарушил всю эту систему: он полез в подполье делать свои дела, сделав, вероятно, начал загребать землей содеянное, лапки наткнулись на проводок, и котенок стал охотно играть с ним. Но вдруг он заорал на весь дом: его ударило током.

Таким образом, не зря Галеев ел свой хлеб, и его институтские знания по радиотехнике пригодились стране.

В 1973 году Галеев, Новосельцев и подполковник Тюменского УКГБ Мастеровых пришли к нам с обыском по московскому делу Ю. Сихановича. Они все просили меня выдать им *Хронику текущих событий*, которая, предполагали они, должна была храниться у меня. Как и в Курске, у нас опять ничего интересного для них не нашлось. Старый матерый чекист Мастеровых вертел в руках самиздатскую поэму „Листопад в Калуге”, о суде над Пименовым и мною, и все никак не мог решить — криминальная она или нет.

— Возьмите, — сказал я ему, — а то ведь в Москве будут недовольны, что вы у меня ничего не изъяли. Ругать вас Москва будет.

— Что нам Москва, мы сами себе Москва, — сказал Мастеровых с неудовольствием. — Оставьте это себе, — он швырнул мне поэму, — до следующего раза.

Я выходил с чекистами покурить в коридор. Поинтересовался тогда у них, могу ли выехать в Израиль, если захочу. „О конечно, конечно! — заверили они меня. — А куда нам ехать?” спросил с комической тоской Мастеровых. Его глаза под включенными седыми бровями выдавали прирожденный юмор. Заговорили о моей национальности. Я сказал, что у меня лишь четверть еврейской крови.

— Даже небольшое количество еврейской крови, — сказал со знанием дела Мастеровых, — делает ее доминирующей в человеке.

Возможно, он сказал это, чтобы убедить меня в необходимости уехать в Израиль.

— Заходите к нам, — сказал на прощание Мастеровых. — Заходите просто так — посидим, поговорим.

— Просто так не приду, — ответил я. — Только по официальной повестке.

— Напрасно, — сказал Мастеровых. — А то приходите, а? Посидим, поговорим, вспомним какую-нибудь иркутскую историю.

Не сразу, а лишь через несколько месяцев я догадался, на что намекал Мастеровых. Конечно же, он намекал на мою вербовку в иркутском лагере в 1959 году!

По делам службы мне часто приходилось ездить в Тюмень. Каждый раз, поскольку я был ссыльный, мне нужно было идти в милицию и брать там формальное разрешение. Милиция тут же сносилась с КГБ, находившимся в соседнем здании. Один милицейский чин предупредил меня, что в Тюмени будут за мной следить, будут фотографировать, с кем я встречаюсь.

В Тюмени были у меня приятели, и я не считал нужным скрывать эти знакомства. Пусть фотографируют! Я ведь не занимался никакой подпольной деятельностью, не создавал тайных организаций.

Однажды я случайно разговорился с одним из прокуроров Тюменской области. Конечно же, он не знал, кто перед ним, иначе не стал бы рассказывать того, что рассказал. Он видел во мне только экспедитора винного завода, мирного маленького человека. По роду его работы ему пришлось пересматривать старые дела КГБ предвоенных лет. За что только не арестовывали, за что только не расстреливали людей в те годы! И он рассказал мне несколько историй, как будто взятых из *Архипелага* Солженицына.

— Вообще иногда кажется, — сказал прокурор, — что все эти аресты делались по плану: в таком-то районе арестовать столько-то тысяч, в таком-то столько-то.

— Но зато сейчас у КГБ спокойная работа, — сказал я.

— Не совсем уж спокойная. Вот недавно арестовали они в Тюмени одного лектора известного, Ганюшкина Александра Ивановича, не слышали о таком? У него два высших

образования, был лектором-международником, по всей области лекции читал. И вот на одной лекции взял да и заявил, что нужно создавать в СССР другую партию, социалистическую. Сделали у него обыск: нашли машинопись — книгу он об этом писал. Печатала ее машинистка одна, любовница его. А у самого жена и трое детей.

— Сколько ж ему дали?

— Сами понимаете, нормальный человек не будет требовать создания другой партии. Да еще труд об этом писать. Собрали психиатров в Тюмени, психиатры говорят: вменяем! Повезли в Пермь, на зональную экспертизу, там тоже признали нормальным. Повезли в Москву, в институт Сербского, — там уже признали невменяемым.

(Знакомая история, — подумал я.)

— Так а на самом деле, — спросил я прокурора, — он что, сумасшедший действительно?

— Конечно. Он же упорствует в своих взглядах. Ему предлагали покаяться, отказаться. Не захотел. Ну и сиди теперь в Казани.

Все было ясно. В тот же день я достал тюменский телефонный справочник и нашел там: Ганюшкин А. И., ул. Ленина, 34, кв. ...

В ближайшую же поездку в Тюмень я направился к его жене, о которой узнал, что зовут ее Мария Ивановна. Я хотел побольше узнать о судьбе ее мужа, выразить ей свое сочувствие, может быть, помочь материально — все-таки трое детей.

Она встретила меня настороженно: откуда я знаю о ее муже? Дальше — больше. Выяснилось, что она не носила ему передачи, что она не собирается ездить к нему на свидание в Казань.

— Он ненормальный, понимаете?

— Если он ненормальный, то почему первые две экспертизы не признали его таким? — спросил я.

Я стал ей говорить, что это далеко не первый случай, когда здоровых людей за их взгляды объявляют сумасшедшими. Что академик Сахаров и другие борются против

этих злоупотреблений психиатрии. Добавил, что лично знаю Сахарова. Она впилась в меня глазами:

— Как, вы его знаете лично? Но ведь это... поджигатель войны... Он создал водородную бомбу!

— Да, но он создал ее для советского государства! — парировал я. Был сентябрь 1973 года, разгар первой травли Сахарова.

Словом, пришлось мне уйти от нее ни с чем. А потом мои тюменские приятели рассказали мне, что, прежде чем арестовать Ганюшкина и засадить его в сумасшедший дом, КГБ сумел добиться от его жены соответствующего заявления: „Мой муж сошел с ума” и т. д. Так что Мария Ивановна была помощницей его палачей и предательницей.

Позже один московский диссидент рассказывал мне, как он сидел в Казанской спецпсихбольнице с А.И. Ганюшкиным.

— Ничего, хороший мужик. Правда, с приветом (и он помахал ладонью возле лба, что значило, мол, „у него не все дома”).

— Как? — удивился я. — Значит, это правда?

— Ну, так ведь он — марксист! — сказал диссидент.

Для него „марксист” и „с приветом” были понятия синонимные. Так же, как для прокурора из Тюмени не может считаться нормальным человек, обеспеченный и процветающий и отказавшийся вдруг от всего из-за идеи второй партии. И „упорствующий” в этом.

Каждое лето в Тобольске проводятся „Дни советской литературы в Тюменской области”. Съезжаются писатели со всех концов страны и даже из-за границы. Тобольск оживает, тоболяки гордятся, что их город становится в эти дни популярным. Тобольские студентки стремятся заполучить автографы Солоухина, Винокурова, Цыбина и других маститых поэтов. Центр литературного праздника — Тобольский Кремль. Думаю, Солоухину особенно приятно выступать в Тобольске, зная, что здесь провел последние месяцы жизни монарх. Может быть, ему даже в местном музее царские фотографии показывают: Николай Второй пилит дрова,

императрица ухаживает за курами... Солоухин любит Тобольск и с большим пафосом читает здесь свои стихи о России.

И я пришел однажды на этот праздник в Кремль. Было многолюдно. С лотков продавали книги, среди них были и редкие — Евтушенко, Вознесенский. Вдруг перед самым моим носом продан был единственный экземпляр книги Альберта Швейцера! Заиграла торжественная музыка, открывавшая праздник. Это была глинковская увертюра „Слався, слався!” из оперы *Жизнь за царя*. Эта музыка была как бы гимном поэтического праздника в Тобольске.

На трибуне появился секретарь Тобольского горкома партии Геннадий Шмаль. Он говорил с большим воодушевлением о нефти и газе Тюменщины, называл цифры и фамилии, приветствовал дорогих гостей-писателей на Тобольской земле. Этот сравнительно молодой человек теперь работает в Тюменском обкоме партии. Он „вышел в люди” вопреки своей подозрительно звучащей фамилии. Он наполовину (или на четверть) немец, и партия, тем не менее, оказала ему большое доверие, выдвинув в свои руководители: не так уж много у нас немцев (и еще меньше евреев) на таких ответственных постах.

После Шмалья поэты читали свои стихи — о Тюменщине, о нефти, о партии, о России.

А вечером я попал в компанию молодых поэтов и прозаиков, участников этого праздника. Было это в гостинице „Восток”, которая была заполнена приезжими. Мне было интересно послушать, чем живут поэты и писатели, сравнить их с их курскими коллегами. Было там человек десять: писатели из Читы, Тюмени, Москвы, Дагестана. Хоть и считались все они молодыми, но никому здесь не было меньше 30 лет. У каждого уже было издано по одной-две книги, многие были членами Союза Писателей, а тот, кто им не был, страстно мечтал об этом.

Речь шла у них о том, как трудно приходится молодым литераторам: журналы их печатают не охотно, центральные издательства печатают только известных, да и каждое издательство имеет план на несколько лет вперед: попробуй

всунуть туда свою книгу, если у них уже все распланировано.

— Представьте себе, — говорил один переводчик, — вышло очередное Постановление партии и правительства. Молодой грузинский писатель пишет хороший злободневный роман на тему этого Постановления. Грузинское издательство печатает этот роман в лучшем случае через год. Затем я перевожу этот роман на русский язык и несу в московское издательство. Сколько он там пролежит, если это не Чингиз Айтматов и не Расул Гамзатов? Год? Два? Три? За это время Постановление партии и правительства устареет, появятся новые.

Все одобрительно загудели.

— Да, — сказал другой, — советская литература больна, заражена „айтматизацией”. Есть 2-3 известных имени, вокруг них — весь шум. А что делать остальным?

— Есть такой проект, — сказал третий, — создать альманах для молодых. Мы должны поддерживать друг друга, иначе нас задушат...

Весь этот мирный разговор коллег, собратьев по перу, закончился неожиданно драматически. Речь зашла о бригадах армян-строителей, „шабашников”, кочующих по стране и сооружающих скотные дворы, клубы, зерносклады. В Армении им не хватает работы, и вот они ездят повсюду, их можно встретить даже в самых глухих уголках Тюменской области. Кто-то сказал, что они обманывают совхозы, колхозы: берут много денег, а строят плохо, один коровник недавно обвалился, погибли коровы. Кто-то сказал, что „армяшки” надувают русских на рынках, продавая фрукты по высоким ценам. Что тут началось! Среди присутствующих был один армянин-переводчик, и он с жаром кавказца стал защищать армян от клеветы и оскорблений. Конечно, со своей стороны он тоже пустил несколько ядовитых стрел в адрес русских. Российские пйиты не оставались в долгу. Конфликт грозил вылиться в обычную потасовку, и армянин уже засучивал рукава, но народный поэт Дагестана старик Хаппалаев утихомирил всех, и армянин с проклятьями ушел в свой номер.

Какие залежи дикого национализма таились в этих людях,

с виду интеллигентных и, может быть, даже талантливых! Я имею в виду прежде всего русских участников этого скандала, потому что именно они свысока и пренебрежительно отзывались о других нациях.

Тобольск — город двухнациональный: здесь много сибирских татар, потомков хана Кучума, с которым воевал Ермак. Примерно, каждый четвертый житель Тобольска — татарин. В старом городе есть целый татарский район, где воздвигнут памятник Мусе Джалилю. Татары женятся, в основном, на своих и дома говорят по-татарски. Но не существует ни одной татарской газеты, ни театра для татар. Мечеть давно закрыта. Среди секретарей горкома партии и прочего высшего городского начальства нет татар.

Один мой знакомый татарин говорил мне, что никогда не отдаст свою дочь замуж за русского: русские бьют своих жен и пьянствуют. У татар этого нет. Они более предприимчивы и более хозяйственны, чем русские. Если завтра будет разрешена частная инициатива, татары в Тобольске окажутся более способными предпринимателями, чем русские. Они сочувствуют движению крымских татар за возвращение в Крым, но сами из Сибири никуда выезжать не думают, считая Сибирь своей родиной.

Вокруг Тобольска много татарских сел. Юрий Шиханович, гостивший у нас, зашел как-то в Тобольский районный суд. Слушалось дело какого-то молодого татарина из деревни. Прокурор задавал подсудимому вопросы, а тот упорно молчал. Прокурор не выдержал и начал оскорблять запирающегося преступника. Тот молчал. В конце концов выяснилось, что подсудимый просто не понимал по-русски. Пришлось прекратить процесс и искать переводчика.

Я любил ходить по Тобольску и осматривать его достопримечательности. Вот дома декабристов: добротные, двухэтажные, стоят уже более ста лет, и разве можно их сравнить с нашей полуразвалившейся халупой? Или одноэтажный дом, где жил декабрист Свистунов, там теперь детский сад — и сколько же там комнат!

Проходя мимо тобольской тюрьмы, вспоминая дни, про-

веденные в ней, пытался представить, каково там сейчас заключенным. Эта тюрьма — закрытая, т. е. тут отбывают наказание (следственная тюрьма находится в другом месте, в бывшем монастыре). В ней сидит не менее двух тысяч человек. Тюрьмой кормятся несколько сот человек: надзиратели, офицеры, бухгалтерия. Утром и вечером можно видеть на улицах Тобольска пожилых людей в форменных шинелях с сеточками, где лежит их обед (или ужин) — это тюремные надзиратели идут на смену. Я смотрю на них, сосредоточенно спешащих, и вспоминаю их там, в тюрьме, безжалостных и своекорыстных.

Солоухин, читающий стихи о России в Тобольском Кремле, возможно, не знает, что рядом, в нескольких стах метров, в тобольской тюрьме заключенные делают специальные стальные петли для погранзастав. „Нарушитель границы”, коснувшись таких петель, не может из них выбраться: они, как змеи, обвиваются вокруг ног. И, если его теперь схватят, пусть будет благодарен неведомому узнику тобольской тюрьмы.

Как и в романе Солженицына *В круге первом*, заключенные помогают чекистам арестовывать новых людей.

Некоторых, менее опасных заключенных возят из тобольской тюрьмы на станцию разгружать цемент, уголь, какие-нибудь еще грузы для тюрьмы. Впервые в Тобольске я увидел оригинальный способ перевозки заключенных: в кузове грузовой машины установлен приземистый деревянный ящик. Возле ящика сидит конвоир с автоматом и собакой, а в ящике — заключенные. В таком ящике можно только лежать. В таких вот „собачьих будках” и возят людей из тюрьмы на станцию (20 километров в один конец). В 70-х годах 20-го века в стране „осуществленного социализма”.

Я разговаривал частенько с проводниками вагонов, доставлявшими нам вино из южных республик. Их работа трудна и опасна: вино слишком лакомый груз, и им надо быть всегда начеку. С другой стороны, многие из них делают бизнес: везут из своих винсовхозов излишки вина и продают их в пути. Везут и фрукты, овощи — все, что ценится в Сибири.

В купе у одного дагестанца я увидел портрет Сталина.

— Зачем тебе Сталин? — спросил я его.

— Это был настоящий коммунист, — ответил он.

— Но он уничтожил миллионы людей.

— Да, он убирал паразитов, бюрократов, тех, которые сидят теперь на нашей шее! — и патетическим жестом указал на портрет: — Смотри! Ты видишь — на нем простой китель, ни ордена, ни медали... А эти, эти! Нацепили на себя звезд...

В другой раз мне встретились дербентские евреи. Говорили об Израиле, о том, что многие их близкие уехали туда. Они тоже хотят уехать, но вот проблема: из Союза нельзя ведь увезти ни денег, ни драгоценностей. Что делать? В разговоре я коснулся поправки Джексона. Один из них сказал: „Слушай, а не может этот Джексон добиться, чтобы мы могли увозить из Союза деньги?”

Когда в газетах и по телевидению развернулась кампания против Сахарова и Солженицына, среди рабочих нашего завода тоже возникли разговоры об этих людях.

„Видать, правду писал”, — говорили о Солженицыне. А когда его выслали за границу, две работницы нашего завода стали расспрашивать меня, выпустят ли теперь к нему его семью. Чисто по-человечески, по-женски переживали они это событие.

Нужно сказать, что популярность и Сахарова, и Солженицына в народе была в большой степени делом советской пропаганды, клеймившей их на все лады.

Между тем, подошел конец моей ссылки. В целом нам нравилась наша жизнь в Тобольске: своей работой мы были довольны. И можно было бы остаться тут жить и никуда не переезжать. Но хотелось ближе к Москве, к друзьям. А если бы мы остались здесь, то получалось, что ссылка моя и не кончилась? И дом, в котором мы жили, все более ветшал: надо было продавать его людям, способным отремонтировать его.

7. СОВХОЗ „ВАСИЛЬЕВСКИЙ”

Если бы мы знали, как нас встретит Россия (в Сибири европейскую часть СССР часто называют Россией), то, наверное, остались бы в Тобольске. В Сибири вообще и в Тобольске в частности никого не шокировал тот факт, что я был ссылкой. Здесь же, за Уралом, я был явно *persona non grata* только из-за того, что я был ссылкой.

Меня не хотели брать на работу в Смоленской и Калужской областях: мой внешний вид и мой паспорт, из которого видно, что я репрессированный, внушал страх даже председателям колхозов. И если соглашались брать мою жену, то, посмотрев на мои документы, тут же „отрабатывали задний ход”. А ведь она — специалист сельского хозяйства, которых так не хватает в колхозах!

Председатель колхоза им. Кирова под Тарусой намекнула, что ей не нравится моя фамилия.

Впоследствии нам стало известно, что во всех районах, примыкающих к Московской, директором предприятий дано негласное указание не принимать на работу бывших заключенных. Но должны же где-то селиться москвичи, вышедшие из лагеря? Помыкавшись в ближайших к Москве районах, они едут дальше на восток или на запад. В Смолен-

ской области в Гагаринском районе им не дают жить, а в более глухом, Темкинском, позволяют.

Приехали и мы в Темкинский район, в ту деревню, где 10 лет назад жила моя жена и где была наша свадьба.

За 10 лет деревня изменилась: построили новые склады, мастерские, новые дома. Но, как говорил Грибоедов, „дома новы, но предассудки стары...”

Население в совхозе „Васильевский” ежегодно сокращалось: молодые люди уезжали в города. Восьмилетние школы превращались в начальные, потом ликвидировались и начальные. Об уменьшении численности сельского населения в европейской России теперь постоянно пишут советские газеты и журналы. Чтобы сократить этот миграционный поток, и строятся новые дома, клубы, магазины... Но в новых магазинах продуктов гораздо меньше, чем 10 лет назад в старых. Как и повсюду, на полках магазинов водка, вино... В промтоварном отделе не застаивается одеколон, зубной эликсир, лосьон (а газеты все чаще пишут об отравлениях суррогатами алкоголя).

В нашей деревне остро стоит проблема хлеба. Раньше возили хлеб из райцентра. Теперь население райцентра выросло, и местная пекарня не в силах обеспечить хлебом райцентр, не говоря уж о селах. К нам возят хлеб из Гагарина (бывший Гжатск, переименованный в честь первого космонавта, родившегося здесь), это 50 километров от нас. Привозят его 2-3 раза в неделю, порою и реже. Со всей деревни и из окрестных деревенок бегут в магазин люди, выстраиваются в очередь. Совхозное начальство в очереди, конечно, не стоит, им хлеб всегда оставляют, равно как и другие дефицитные товары (пиво, огурцы, колбасу). Чтобы хлеба хватило на всех, продают определенное количество на семью. Но мы часто не могли узнать вовремя, что привезли хлеб, и приходили в магазин поздно. Продавщица (особа привилегированная и близкая к „верхам” в силу своего особого положения), злорадно улыбаясь, говорила: „Не надо было зевать!”

Мы уходили с пустыми руками, удрученные: сами, конечно, виноваты...

Итак, хлеб надо было закупать впрок, но он быстро черствел. Мой коллега, совхозный токарь Феликс Иванович, говорил, бывало, что уедет, непременно уедет из этого совхоза. По двум причинам: во-первых, нечем есть черствый хлеб (он демонстрировал беззубный рот), и во-вторых, очень уж тяжело ходить ему с больными ногами по неизбывной нашей грязи. „В городе, — говорил он, — можно хоть покупать свежий хлеб, ходить в туфлях... А тут круглый год в резиновых сапогах”.

Нам с ним (и всем другим механизаторам, жившим в деревне Васильевское) приходилось каждый день ходить пешком в совхозные мастерские, находящиеся в другой деревне. Путь недлинный, два с половиной километра, но зато большую часть года непроходимый в обычной обуви. По этой дороге не только машины — колесные тракторы порой не проходили. А ведь она вела от центрального отделения совхоза к периферийным, а также к складам, к мастерским, к совхозной заправочной станции. Казалось бы, давно надо было привести в порядок эту дорогу, исходя пусть не из интересов людей, а из интересов производства, которые, как известно, куда выше, чем мелкие интересы отдельного индивидуума. Но то ли средств у совхоза не хватало, то ли руки не доходили... Бездорожье — вообще бич сельской России, и я достаточно настрадался от него еще в бытность администратором Курского театра кукол. Теперь, в Васильевском, я не принимал эту проблему так близко к сердцу и хлюпать по грязи каждый день на работу и обратно, можно сказать, привык. Иной раз и не обязательно идти пешком: едет тракторист на „Беларуси”, можно уместиться в его кабину третьим или даже четвертым. Но намнешь себе все бока и десяток раз ударишься головой о потолок кабины из-за ям и колдобин, так что проклянешь эту „Беларусь” и в другой раз предпочтешь идти пешком.

Итак, в феврале 1975 года мы с женой предстали перед директором совхоза „Васильевский” Бухтарова. Городские люди просят работу в деревне — явление достаточно редкое: это всегда настораживает. Мы сказали, что приехали

из Сибири, что нам там не понравился климат. О моих судимостях, разумеется, ни слова. О моей жене, как о бывшей учительнице в этой деревне, Бухтаров уже слышал. И после нескольких отказов в других городах и деревнях чудо свершилось! Он брал нас на работу и давал квартиру. Люди здесь, как и в других совхозах, были нужны. Допускаю, что он взял бы нас, даже зная, что я был судим, брал же он других бывших заключенных — уголовников. Правда, недели через две, когда он узнал о моих судимостях, он выглядел несколько обескураженным и растерянно спрашивал у меня об их количестве. Как бы там ни было, он взял меня слесарем самого низшего разряда (ибо я никогда до этого не держал гаечного ключа в руках).

Когда я пришел в совхозную мастерскую и увидел своих будущих коллег: слесарей, трактористов, шоферов, — то у меня было навязчивое ощущение, что я вернулся в лагерь. Отборная лагерная матерщина, все одеты в телогрейки, все курят махорку: полная иллюзия лагерной рабочей зоны. Это ощущение было отчасти верным: среди этих людей было несколько бывших уголовников, недавно освободившихся.

Все-таки не они были типичными механизаторами. Бывшие уголовники и здесь были людьми отверженными, аутсайдерами, которых всегда могли заподозрить в воровстве и в нечестности. Основная же масса моих коллег была мирными крестьянами, никогда в жизни не сидевшими в тюрьме. Но манерами, языком, одеждой они все действительно не отличались от эзков. Между тем, среди них было несколько членов КПСС, а двое из механизаторов (членов партии) побывали даже недавно за границей, в Болгарии. Эта поездка снова и снова переживалась ими как чудесный, сказочный сон... Они при каждом удобном случае рассказывали об этом путешествии, припоминали каждую деталь.

Как по-разному воспринимают разные люди одно и то же! Моя знакомая датчанка жаловалась, что в каком-то болгарском отеле не было туалетной бумаги. А эти механизаторы говорили, что таких белоснежных простыней, какие им стелили в отеле Варны, им в жизни не приходилось видеть.

Страшно было ложиться на эти простыни, говорили они.

Все эти люди с некоторым недоумением смотрели на нас с женой, все тот же вопрос возникал у каждого: почему мы переехали из города в деревню? И сложилось у всех мнение, что мы „ссылные“, что нас в эту деревню сослали. Были слухи в совхозе, что я — „политикант“, участник какой-то „еврейской заварухи“.

В уватском совхозе я имел дело с молоком, с погрузкой-разгрузкой его, теперь же надо было знакомиться с совсем иным ремеслом — ремонтом машин, кузнечным делом. Для моих же коллег все это было настолько родным и близким, что они только удивлялись моему незнанию самых элементарных, с их точки зрения, вещей. Мое неумение держать в руках гаечный ключ или бить кувалдой по наковальне порой вызывало в них раздражение.

Медленно, мало-помалу, я все-таки осваивал всю эту премудрость. Зарплата моя в первые месяцы работы была 60 рублей и ниже, т. е. почти в два раза меньше, что я получал в Тобольске. Не раз и не два поминали мы с женой добрым словом Тобольск и сибиряков. Здесь, в смоленской деревне мы оказались как бы на самом низу социальной лестницы: и по своим нищенским доходам, и по отношению к нам, скажем, той же продавщицы. У каждого крестьянина был свой приусадебный участок, своя какая-нибудь скотина, и это придавало им самим некоторое уважение в собственных глазах. Мы же не собирались заводить ни корову, ни даже кур, и поэтому должны были казаться им или непроходимыми лодырями, или „не от мира сего“.

Мы жили в совхозной квартире, просторной, с высокими потолками. Это был огромный графский дом, разрушенный в войну и восстановленный теперь. В трех этажах его располагалась дирекция совхоза, сельсовет, детский сад, интернат, почта, клуб и квартиры. В доме было даже водяное отопление, канализация и холодная вода. Такие дома — все еще редкость в русской деревне. Квартирой нашей мы были довольны.

Наступила осень, кончилась уборка урожая, и я неожидан-

но получил новую работу, которая вначале пугала меня, а потом полюбилась: это была работа кочегара. Я должен был отапливать огромный графский дом. Котлы стояли в подвале дома, отапливались углем. Работа была сменная: сутки я работал, двое суток отдыхал (если кочегаров было трое), или сутки работал — сутки отдыхал (если нас было двое). Я был счастлив: ни от кого не зависел, работа была рутинная, зарплата моя сразу же резко увеличилась: оплата была почасовая, а рабочих часов у меня набиралось много — до 280 и более в месяц. К тому же, ночная работа оплачивается выше. В довершение всего, я ведь обогревал и свою собственную квартиру! Я полюбил свой мрачный подвал, где было всегда сыро, где временами появлялись лягушки и тритоны, но где, наконец, я имел работу по душе. Я предполагал, что другие механизаторы должны завидовать мне. Я спрашивал их об этом, оказалось — напротив, многие утверждали, что ни за что не пошли бы работать кочегарами: угольная пыль, дым, сырой подвал... „Ты заработаешь там туберкулез!”

Часто ко мне в подвал спускались мужики: иногда выпивали (у меня ведь был стакан), иногда просто от нечего делать, поболтать. Смотрели газеты, которые у меня там всегда лежали, рассказывали о событиях дня, жаловались. Наверху, над кочегаркой, был клуб, довольно приличный. Но туда приходили только смотреть кино да сыграть в бильярд. Уюта там не было: бесконечные сощобязательства по стенам, портреты членов Политбюро, Ленин во всех вариациях. А здесь, в подвале, можно было чувствовать себя как дома, курить и выпивать.

Но быстро проходила зима, наступал апрель, а с ним и конец моему счастью. Надо было снова брать с собой гаечные ключи, бутерброд, бутылку с чаем и идти в мастерские. И ждать поздней осени.

Снова падал мой заработок: правда, мой слесарный разряд был теперь повышен, и я получал уже не 60, а 70-80 рублей в месяц. Я мог теперь собирать и ремонтировать самостоятельно некоторые прицепные агрегаты, а если чего не

знал — не боялся спросить опытных слесарей. Но все равно: каждое утро я шел на работу, как на каторгу. Сотни раз в мастерской я посматривал на часы. Время тянулось ужасно медленно. Я заметил любопытную особенность: время тянется медленнее до обеда. А где-то с 3 часов начинает убыстрять свой бег. После 4 часов мои коллеги говорили: „5 минут нашего” или „10 минут нашего” — рабочий день заканчивался в 5. Но чаще всего это было только теоретически, потому что всегда в конце апреля директор издавал приказ об удлинении рабочего дня в связи с весенним севом. Рабочий день удлинялся обычно до 9 часов. Единственный выходной день в неделе тоже отменялся. Таким образом, рабочая неделя становилась 63-часовой. Правда, по выходным дням многие, несмотря на приказ, все-таки на работу не выходили, и их за это было трудно наказать. Но если ты уходил раньше, чем положено по приказу в обычный день, то рисковал получить за это в табеле „прогул”, и выходило, что в этот день ты работал бесплатно.

Приказ директора об удлинении рабочего дня соблюдался с неделю, потом постепенно явочным порядком все снова возвращались к нормальному рабочему дню.

В июне снова издавался приказ об удлинении рабочего дня — теперь уже с сенокошением, а в августе — в связи с уборкой урожая.

Часто рабочих вызывали и уговаривали на сверхурочную работу или поработать в выходной день и платили им в конце рабочего дня натурой — водкой. Против этого всегда восстают жены механизаторов: муж целое воскресенье был на работе (а мог что-нибудь делать по хозяйству дома), для дома денег не заработал, более того, пришел домой пьяный и подчас даже поколотил жену. Мужчины, напротив, охотно идут на такую сверхурочную работу, особенно перед получкой, когда денег на водку нет. Притом выпить в компании, после работы, посидеть рядом с начальством, которое тоже будет тут выпивать. Это всегда привлекательно.

Долго не могли поверить, что я равнодушен к водке. Одни предполагали, что я лечился от алкоголизма и поэтому

не пью (сейчас все чаще посылают алкоголиков на принудительное лечение), другие говорили, что я пью, но „втихую”, дома.

Трезвенность расценивается людьми как странность, а начальством — даже как нелояльность. В газетах описывался случай, как на каком-то заводе затравили одного непьющего и нематерящегося человека, считая, что он — баптист.

В сибирской и смоленской деревне водка заняла место религии. В историческом споре Белинского с Гоголем о роли религии в жизни русского народа истина оказалась на стороне Белинского. Религия не выдержала конкуренции с водкой.

Сейчас много говорят и пишут о религиозном возрождении в России. Это, действительно, есть, но не в народе, а интеллигентской прослойке. Может быть, в других социально-политических условиях это возрождение захватит и народ, но я говорю о том, что есть, я констатирую факт.

Нет в Темкинском районе ни одной церкви — и обходятся без них. Старухам и пожилым женщинам кладбище заменяет храм (они ходят туда по большим праздникам), а культ почитания умерших — все их православие. И эта языческая сторона религии неистребима: старухи умирают, на смену им приходят другие. Сейчас ходят на кладбище старухи, которые перед войной были комсомолками. Но они прекрасно обходятся без священника, хотя и считают себя православными.

В Темкино живет старуха-чародейка. Она лечит людей травами, снадобьями, заговорами. Она, говорят, ясно-видящая. К ней — вместо священника — стекаются паломники из разных областей: просят совета, утешения, исцеления. Такие чародеи живут во многих селах и городках России.

Что касается моих коллег-механизаторов, то не верят они ни в Бога, ни в чародеев, ни — в ленинскую партию. Жизнь их тускла и однообразна, подчинена вечному сельскохозяйственному круговороту: весенний сев — сенокос — жатва — зимнее затишье — и снова сев. Они батрачат на государственных предприятиях, называемых колхозами и совхозами, не считая, разумеется, государственную и колхозную собствен-

ность своей. Свое — это клочок земли под окнами, корова, куры. На своем участке, в своем хозяйстве они не жалеют ни сил, ни времени.

Конечно, кадровый тракторист всегда ухаживает за своим трактором, хоть он и не его, а совхозный. Ведь этот трактор — его рабочий инструмент, и заработок его зависит от состояния этого инструмента. Но молодежь относится к технике наплевательски: сломался один трактор — дадут другой. Сейчас стало много техники в хозяйствах: на одного тракториста приходится порой 2-3 трактора. Запасных частей часто не хватает, и вот выстраиваются ломаные тракторы в ряд: у одного не хватает одного узла, у другого — другого. А мы, слесаря, время от времени ходим к ним и откручиваем то одну деталь, то другую. Главный инженер Сан Саныч вздыхает: надо бы ремонтировать эти тракторы, да где там! Приходится списывать их и просить новые.

Сан Саныч говорит нам иногда, что было бы лучше, если бы у нас была безработица: он выбрал бы лучших слесарей, а таких лодырей, как мы, выгнал бы за ворота. Сразу поднялась бы производительность труда, и мы дорожили бы своим местом. А так мы знаем, что свои 70 рублей все равно получим, вот и закручиваем одну гайку целый час. В его словах есть, безусловно, большая доля истины, и именно здесь лежит ключ к тайне советской полной занятости, к пресловутому „праву на труд”. Четверо делают работу одного и зарплату получают также за одного на четверых.

Но в другой раз Сан Саныч рассуждает по-другому: чтобы обеспечить производительность труда, надо, говорит он, вернуться к сталинским методам: запретить переходить рабочим с предприятия на предприятие, безжалостно карать за опоздания, прогулы, брак.

Колебания Сан Саныча между рыночной экономикой и феодальной, между экономическим привлечением и внеэкономическим принуждением к труду, отражают колебания многих советских хозяйственников. Понимают они, что нынешнее положение вещей ненормальное, но как выйти из него?

Поначалу в Васильевском я удивлялся жесткости отношения администрации к рабочим. Удивлялся тому, что Сан Саныч легко может обозвать всех лодырями и халтурщиками, легко может поставить „прогул” человеку, ушедшему за 10 минут до конца рабочего дня. На тобольском винзаводе ни один рабочий не стерпел бы этого, тут же уволился бы. А здесь разгадка проста: некуда уволиться рабочему — кроме совхоза, негде работать сельскому жителю. Уезжать же в другую местность, имея хозяйство — дом, корову и пр., хлопотно и невыгодно, не каждый на это решается. Вот и приходится терпеть.

Большим счастьем для меня бывали те редкие уикенды, когда я мог выбраться из деревни в Москву. Всего лишь 230 километров от Москвы, а как сложно добираться: 2 километра пешком до автобуса, затем полтора часа езды автобусом до Гагарина, и уже от Гагарина 3 часа езды поездом до Москвы.

И каждый раз, когда я ездил в Москву, моя жена опасалась, что я не вернусь оттуда. Боялась нового ареста.

Ходить по асфальту, а не по густой грязи, ходить в чистой одежде, видеть вокруг себя умные лица, общаться с друзьями — все это было счастьем, которое непонятно москвичам.

Да что там Москва! Даже захудалый наш районный поселок Темкино казался нам после Васильевского очагом цивилизации! Наши крестьяне, выезжая в Темкино, надевают лучшие одежды. И потом долго рассказывают, кого они видели, что продается в магазинах, как выглядят темкинцы.

А уж каждая поездка в Москву или в Смоленск — это целое событие, насыщенное разнообразными переживаниями.

Мы сидим у себя на кухне, обедаем и наблюдаем из своего „третьестажного” окна привычную, знакомую до ужаса картину: скотный двор, доярки носят на себе, „на горбу”, 30-килограммовые мешки с посыпкой (так называют они концентрированные корма), носят метров за 100. Вот поехал старик-ветеринар на лошади. И снова тихо, пустынно, ни души. Жизнь, кажется, не движется, стоит на месте, как вода в лужах возле нашего дома.

Даже плакаты на деревенской улице забывают менять: прошел 25 съезд, а все еще висит улыбающийся рабочий в комбинезоне с развернутым листом „Претворим в жизнь решения 24 съезда КПСС!”

Бывают, однако, чрезвычайные происшествия в деревне: например, умер механизатор — отравился ацетоном (ацетон некоторые пьют вместо водки). Или подросток пытался изнасиловать пожилую доярку. Или кто-то залез ночью в магазин и украл ящик водки... .

Одно происшествие задело меня сильнее прочих. В выходной день снаряжена была посторонняя машина за семенным картофелем в райцентр. Замдиректора пригласил в качестве грузчиков токаря Феликса Ивановича, слесаря Колю Новикова и других. Всего было их человек 7. Погрузили картошку в грузовик, получили тут же за работу деньги, напились как следует и поехали назад с песнями: четверо в кабине, трое наверху, на картошке. Шофер был пьян, крутанул неудачно рулем, машина пошла в кювет, перевернулась. Феликс Иванович и Коля оказались под машиной и под картошкой. И погибли.

Потом был суд над шофером, я присутствовал на этом суде. Шофер получил 4 года „химии”! Его адвокат метал громы и молнии в адрес администрации совхоза, которая наняла „левую” машину, споила рабочих и т. д., и т. д. А замдиректора, на чьей совести и было все это преступление, сидел... в судейском кресле (он у нас народный заседатель). В публике возмущались — впрочем, потихоньку — этой несообразностью: его ругают, и он же судит... В перерыв я подошел к адвокату и сказал об этой странности процесса. Он удивился: „Я не знал, что это — замдиректора!” И все на этом: не хочет адвокат (хоть был он и из другого района) усложнять, „портить отношения”.

Так и не довелось Феликсу Ивановичу уехать из совхоза туда, где можно есть свежий хлеб и пирожки, где можно ходить по улицам в туфлях...

А мне — удалось. Но не совершил ли я некоего предатель-

ства по отношению к тем, кто продолжает там выстаивать очереди за хлебом, и месит ежедневно грязь, и ежедневную отдушину находит в водке? Или к тем, кого оставил на особом режиме? Кто остался сидеть по лагерям и псих-больницам? Кто сидит там, мучительно размышляя над книгами Достоевского, Маркса, Грамши?

Или — наоборот — я должен был оттуда уехать, чтобы рассказывать здесь правду о своей родной стране, правду, которую здесь не очень-то хотят слушать?

Решение уехать из страны мы приняли в августе 1977 года. Много мелких и крупных факторов повлияло на это решение. Нельзя умолчать и об антисемитизме, который мы чувствовали в Смоленской области гораздо сильнее, чем где-либо. Ощутить его довелось, впрочем, в большей степени не мне, а моему 10-летнему сыну, которого в школе дразнили „евреем” (а в Израиле, безусловно, дразнили бы „русским”). „Гитлер был плохой, — разъяснял ему как-то сын председателя сельсовета, — но одно он правильно делал: убивал евреев”.

Жену мою крестьянки жалели за то, что она испортила себе жизнь, „связавшись” со мной, „евреем” и „политикантом”.

Фактор другого рода: вешая как-то гардины, мы обнаружили в потолке отверстие, рядом со стояком парового отопления. А в нем — тоненькую трубочку... Это сразу напомнило мне Уват, „пожарника”, устанавливавшего свое подслушивающее устройство. Я полез на чердак и нашел в шлаке над потолочным перекрытием длинный серебристый провод, присыпанный землей, искусно замаскированный. Он тянулся через весь чердак к слуховому окну. Куда он шел дальше? Я отрезал кусок провода и отвез в Москву. Специалисты сказали: это радиопровод.

Как только я заявил в Смоленском ОВИРе о вызове из Израиля, о своем желании уехать, мне была открыта „зеленая улица”. Даже дали сжатые сроки.

Я отправлял свой багаж — книги — на знаменитой железнодорожной таможне возле Ленинградского вокзала в Москве.

Таможенник был раздражен тем, что у меня было много книг: каждую книгу ему нужно было внимательно просматривать. Рядом молодой улыбающийся негр отправлял куда-то в Танзанию свой багаж: роскошную скандинавскую мебель. Несколько тонн мебели! Он накопил все это в Москве, обучаясь тут в университете. Рабочие-грузчики увивались вокруг негра: от такого можно получить хорошие чаевые. „Мой” таможенник хмуро листал полное собрание сочинений Ленина: „Зачем это вам? Не понимаю! В Израиль едете? А Ленина зачем?” Дошла очередь до Маркса, Плеханова, стенограмм партсъездов. Он все больше раздражался: „Не пойму я вас! Что вы за человек?” Потом — искрой в его сознании: „Вы там хотите против нас книгу написать!”

А рядом — испанский коммунист, много лет проживший в Советском Союзе, отправлял свой багаж, уезжал навсегда в Испанию. С русской женой. Она говорила мне:

— Не знаю, как я буду жить там, на чужой стороне...

Я сказал, улыбаясь:

— Но, уж не хуже, чем здесь.

Она согласилась. Сказала, что муж будет получать пенсию из СССР как старый коммунист, а в Испании пенсию само собой тоже должны платить. Они везли тоже массу мебели и... туалетную бумагу. Зная, что в Москве это дефицит, они предполагали, что ее нет и в Испании.

Я адресовал багаж свой в Данию, хотя надежда попасть туда была очень мала. Все знакомые говорили нам, что Европа закрыта для эмигрантов. Но все это время я переписывался с датской „Эмнести” и даже встречался с ее членами в Москве. Поэтому немного надеялся.

14 октября 1977 года мы прибыли в Вену. Почти сразу же мне позвонил из Парижа Плющ, сказал, между прочим, что некая организация „Манифесто” пригласит меня на свой конгресс в Венеции. Я никогда не слышал раньше об этой организации, но, зная, что Плющ — мой единомышленник, доверял ему. Однако мои венские знакомые сказали мне:

— „Манифесто”? Но это же левая, очень левая организация!

— Что ж, — сказал я, — это мне подходит. Именно с левыми я и хочу говорить.

— Но это же бывшие коммунисты! Россана Россанда была в руководстве итальянской компартии, прежде чем возник „Манифесто”.

— Это мне как раз и интересно!

— Тебе могут не дать визу в Италию! Зайдешь в итальянское посольство, покажешь приглашение от столь левой организации... А кто ты здесь такой? Подозрительный иностранец, беженец!

Я пошел в итальянское посольство в Вене, и все обошлось благополучно: чиновник даже не посмотрел на приглашение, которое я положил на стол.

И вот — бывают же на свете чудеса — после глухой смоленской деревни я с женой и сыном приезжаю в Венецию, и на вокзале нас встречает... кто бы вы думали? — Пеликан, добрый Иржи Пеликан, о котором я столько слышал, но никогда не думал, что придется вот так идти рядом. И разве не сказка, что мы ходим по Венеции, плаваем по ее каналам? Или это не мы, кто-то другой?

Утром мы идем в здание архитектурного факультета Венецианского университета, и тут же я совершенно сбит с толку: красные флаги, серпы и молоты, Ленин, Маркс, Ленин... Боже, куда я попал? Опять в СССР? Да разве не предупреждали меня мои венские знакомые, что я еду к коммунистам? Ну нет, думаю я, все равно буду говорить то, что думаю, понравится ли им это или нет. Раз уж пригласили — пусть слушают... Пока не стащат с трибуны... В тюрьму-то все равно не посадят...

Впрочем, мне нравится и то, что здесь не только бывшие коммунисты, но и нынешние. Разве я мог представить себе, что смогу говорить коммунистам правду в глаза? Да, было однажды, когда подполковник Арбузов предложил мне изложить свое кредо. Но это было наедине, и после этого я вернулся в свою камеру. А тут — пресса, радио, телевидение... Сейчас мне дадут слово. Я собираю бумаги: не забыть ни о чем существенном. Судьбы марксизма в России, госкапитализм, партия „нового типа”...

Я впервые выступаю на Западе. Я вообще, кажется, впервые в жизни выступаю (если не считать театра кукол).

Иду к трибуне, к президиуму с красной скатертью. Не забыть сказать про эту скатерть: споры о госкапитализме, которые здесь ведутся, напоминают мне наши споры в лагере, а от красной скатерти — чувство отвращения, тошноты официальных советских собраний. Она мне как красная тряпка быку.

Я иду к трибуне. Много лет я шел к ней.